

КлД 84(2Р=Рус)6
(184)

Анатолий Лунин

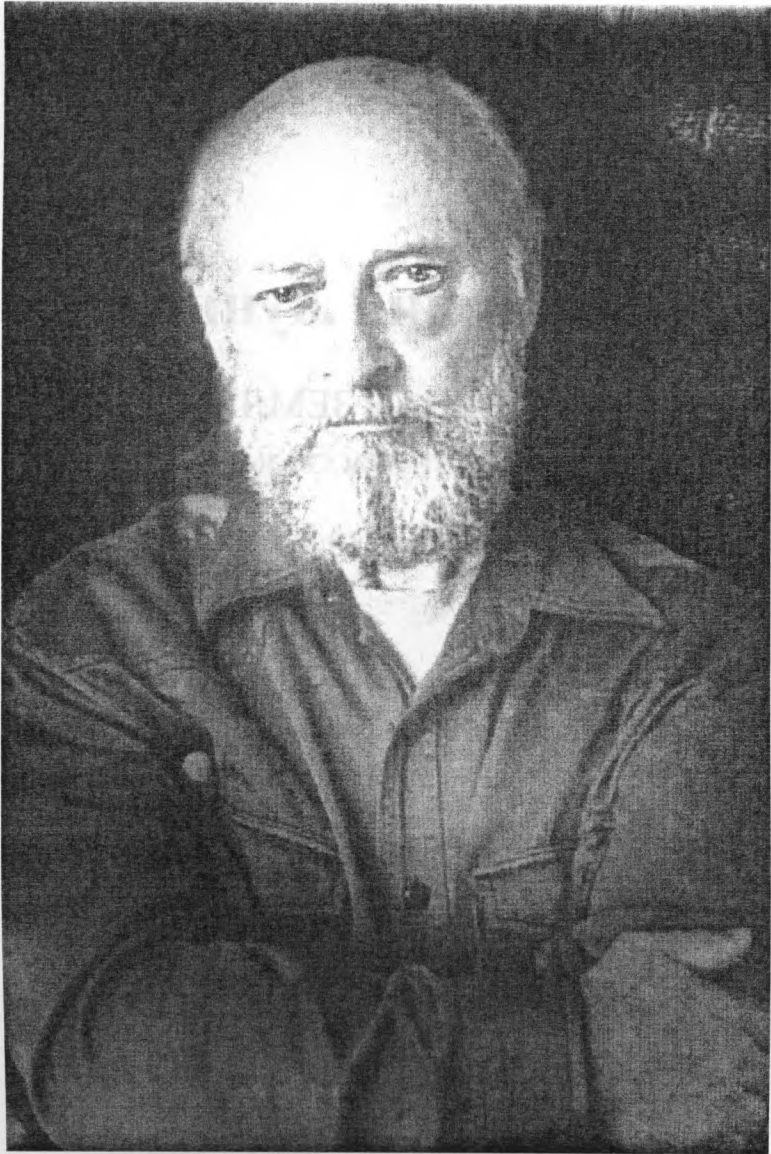
Грешная земля



Анатолий Лунин

ГРЕШНАЯ ЗЕМЛЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Анатолий Лунин

ГРЕШНАЯ ЗЕМЛЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Много-много коротких
цифр и слов
Гидрометеорологический центр
автор этой книги

Лунин
2011

Калининградская
ЦБС

Калининград
2010

Читальный зал

Центральная городская
библиотека им. А. П. Чехова

178658-1

ББК 84(2Р=Рус)6 - 44

К 74, 184

Л 82

Лунин Анатолий Алексеевич

Грешная земля: Повести и рассказы. — Калининград, 2010. — 262 с.

Портр./Б.ц. — 300 экз.

В новую книгу калининградского писателя А. А. Лунина вошли повести и рассказы, созданные в разное время, но связанные тематической общностью – военной судьбой и историей становления нашего региона.

Земной поклон и сердечное спасибо моим друзьям, почитателям и просто отзывчивым людям, чья бескорыстная помощь сделала возможной реализацию этого издательского проекта.

Автор

ISBN 978-5-904895-01-3

© Лунин. А.А., текст

© Черноухов В.И., обложка

© Астапкович Е.В., верстка, дизайн

И СКАЗАЛ ЧЕЛОВЕК...

ПОВЕСТЬ

Человеку нельзя не прорваться
Называется он человек.

Николай Ушаков

Глава первая

ПРИТЧА

Его измочаленные сапоги стучали по бульжному просёлку, стучали все быстрее и резче. Разгорячённый, раскипятившийся, он и не замечал, что вслед за неугомонной мыслью всё ускорял шаг, пока не стал задыхаться, пока старое и не очень крепкое сердце не напомнило о себе. Он остановился у придорожного валуна, присел на него и привычно потянулся за сигаретами.

Здесь, на краю поля, укрытого перелеском от колючих балтийских ветров, он, в очередной раз исшагивая свои владения, любит посидеть, покурить. Он никогда не подъезжает к самому камню, оставляет узик у съезда с шоссе и идёт пешком, как тогда, давно. Очень давно... Это стало у него чем-то вроде ритуала. И на сей раз он не нарушил его. Тем более что в кабине не сиделось, всё в нём клокотало, темпераментная натура понуждала к движению. Он так бы и ускорял шаг, да вот ретивое заспогыкалось.

Нервно выдёргивая из кармана пачку с куревом, он и глядел, и не глядел на поле, не столько глазами, сколько памятью видел на нём каждую складочку, каждый камешек, каждую былинку. Сколько раз он измерил его из конца в конец, чуть не на коленях изъелозил – не счесть. Но по большому счёту, по счёту жизни и смерти, дважды: в последнюю военную зиму и теперь. Тогда перейти это поле означало уцелеть самому и помочь всей дивизии. Сейчас цена иная, цена смысла жизни. И своей, и своих друзей, и генерала Кудинова. Да, наверно, и тех, для кого чужая жизнь не имеет цены, кто ради тщеславия, ради вроде бы научной полемики, играет судьбами других людей. Тогда он перешёл это поле, хоть и было опасно, смертельно опасно. Он прошёл по этой самой дороге, по глухому бульжнику, вдоль жиденького в ту пору перелеска, мимо этого вот валуна. Рискуя собой, он спас тысячи других. А впрочем, вряд ли он тогда это

понимал. Пожалуй, лишь много позже он в полной мере осознал, что генерал нашёл достойный выход. А сегодня, вышагивая по этой дороге, вновь переживая передраги последнего времени, он всё спрашивал себя:

– Кому это нужно – белое называть чёрным? Кому выгодно – старого заслуженного человека, талантливого военачальника изображать солдафонской бездарью, так опозлить, оболгать то, чему он отдал всего себя?

“Застольные вояки”! – вспомнил он формулу Кудинова.

Неприятно заскребло за грудиной, опять учащённо заколошматило успокоившееся было сердце, противный сладковатый привкус появился во рту.

“И таблеток, как на грех, нет с собой”, – озабоченно подумал он и почувствовал, как темнеет в глазах, как жёстко давит ворот рубашки. Он отшвырнул сигарету, попытался расстегнуть верхнюю пуговицу. Но рука дрожала, проклятая пуговица никак не хотела попадать ребром в петлю. Он рванул воротник, пуговица отлетела, но дышать не стало легче. Он ощутил, как валун пополз из-под него.

Здесь, на студёной, мокрой апрельской земле, своего председателя обнаружили возвращавшиеся с обеденной дойки колхозницы.

– Константин Иваныч! – закудахтали они. – Да что же это с тобой, Багряныч?

Односельчане любили его и фамилию Багрянов переименовали на такой вот симпатичный, тёплый лад. У кого-то в подойнике оказалась вода. Побрызгали ему на лицо, приподняли голову, потёрли виски. Константин Иванович открыл глаза, встретился взглядом с наклонившимися над ним встревоженными доярками и устыдился того, что с ним стряслось.

– За фершалом сбегать или как? – спохватились женщины. – Сомлел, сердешный!

– Не хлопчите! – остановил их председатель. И усмехнулся: – Передумал, погожу помирать. Сейчас отдышусь малость и поскочем.

Его и впрямь скоро отпустило, и, поддерживаемый доярками, Багрянов поднялся.

“Это не инфаркт, – поставил он сам себе диагноз. – Это так, стариковские шалости”.

А вслух произнёс:

– На пенсию пора! А то рассыплется ваш Багряныч, как рассыпавшаяся кадушка.

– На пенсию – не на пенсию, а скакать-то полегче надо, – возражали ему. – Да и подлечиться не мешает.

Женщины помогли Константину Ивановичу дойти до машины, но в кабину лезть отказались: все не поместятся.

– Ладно, – сказал Багрянов. – Спасибо, добрые души! – И, всё ещё стыдясь своей слабости, попросил: – Вы... того... дуже-то не распространяйтесь об этом. Идёт?

– Чай, не дети, понимаем, – согласились они. – А отчего это с тобой приключилось?

Отчего приключилось?.. От обиды, несправедливости. За дивизию свою, за генерала Кудинова обидно и больно. Уж сколько раз зарекался Багрянов читать этот журнал, в котором всё шиворот-навыворот, всё по принципу: правда – не правда, лишь бы наоборот. Плунет, бывало, с досады Константин Иванович, буркнет “Мозги набекрень!” (про автора) или “Помойники!” (про редакцию), швырнёт журнал к печке, на растопку, а придёт новый номер – опять заглядывает:

– Ну-ка, кого они нынче грязью поливают?

Заехав домой на обед, Багрянов достал из почтового ящика пачку газет и злополучный журнал. Пока жена грела борщ, он принялся листать его. Он не сразу обратил внимание на ту статью: разухабистый заголовок на военный лад не настраивал. Константин Иванович пролистнул было её, не задерживаясь, да глаз мимо воли зацепился за выпрыгивающие из текста немецкие названия – те самые, что отметили путь их дивизии, места драматических событий. Он вернулся к началу статьи, уже предчувствуя недоброе, подышал на очки, протёр их полотенцем, что жена всякий раз бросает ему на колени во время обеда, уселся поближе к окошку, чтоб не бегло просматривать, а основательно читать, и, чем дальше вчитывался, тем больше цепенел. Неизвестный историк с трудно произносимой фамилией, рассуждая о нравственной ответственности военачальников за жизнь солдат, о праве командира посылать человека на смерть, высмеивал многих генералов за операции в Восточной Пруссии. Он осыпал их сарказмами, унижал снисходительностью, высокомерно поучал. И делал вывод: преступные просчёты, тупая бездарность. Особенно досталось генералу Кудинову, который, по утверждению автора, из-за своей неосмотрительности и невежества потерял дивизию.

Багрянова будто током пронизало, когда он прочитал это. Такое сказать о Прокофий Матвеевиче! Умнейшем, образованнейшем че-

ловеке, у которого дар Божий – быть командиром. Для которого каждый солдат – личность, судьба. Он себя десять раз под огонь подставит, чем солдатом пожертвует.

Свиристелки! Пустобрёхи! Как, оказывается, просто перевернуть всё с ног на голову! Наверно, есть за что критиковать причастных к тем событиям, в том числе и Кудинова. Сейчас, более чем с полувековой высоты, всё виднее. Недочёты и просчёты тоже видны. Но нельзя же не учитывать объективных факторов. Нельзя говорить о дивизии Кудинова, нашей дивизии, в отрыве от других соединений, от других участков фронта. Нельзя, наконец, сбрасывать со счёта действия противника.

Багрянов поймал себя на том, что заговорил сам с собой необычным языком, чуть ли не специальной терминологией оперирует. Ах, да! Это же слова генерала, сказанные им во время их недавней встречи. Значит, запали в душу, своими стали. Отметив это, Константин Иванович продолжал горячиться. Кудинов потерял дивизию? Да он спас её! Вывел из двойного кольца окружения, сохранив знамя, штабные документы, материальную часть, а главное – людей. Потери, правда, были большими. А было иное решение? Во всяком случае, журнальный историк его не назвал.

Разъярённый Багрянов скомкал журнал, скрипнул зубами и, забыв про обед, выскочил из дому. Нырнул в уазик и помчался в поле, к камню. Он нажимал на газ, и двигатель стучал неровно и нервно, в тон его сердцу. А когда остановил машину и остановил мотор, сердце едва тоже не остановилось.

С генералом в его приезд они тоже прошли по этой дороге и посидели на камне. Им было что вспомнить, о чём поговорить. Сорок с лишним лет Багрянов ждал этой встречи. Он, конечно, мог легко найти Кудинова и даже несколько раз порывался написать ему, да стеснялся: рангом не вышел, рядовой. Прокофий Матвеевич сам разыскал его.

– Не сердчай, что так поздно, – извинялся он, освоившись в добротном председательском доме и налегая на чай с мёдом. – Всё некогда да недосуг. Я ж “большой генерал”. Раньше поменьше был – и забот было меньше. А потом ношу на плечи взвалили – о-ёй! Ну, а когда стал не у дел, надо, думаю, искать, а то помру, не повидавшись.

– Ну, туда спешить нечего, – произнёс банально успокоительное Багрянов. – Туда никогда не поздно.

– Так-то оно так, да ведь и невечные мы. А искал я тебя долго.

Куда только не писал, куда только не звонил. Я ж тебя по учёной части числил, среди профессоров обнаружить рассчитывал, а ты вон где...

Генерал помолчал, поглядел в трудно узнаваемое лицо, в выцветавшие глаза битого жизнью и годами человека и не очень верил, что перед ним его бывший молодой солдат. Наверно, он прочитал в его глазах глубокую боль, которую Багрянов неизбежно все эти годы носит в себе, и сказал негромко:

– К ребятам своим возвратился?

И, не дождавшись ответа, Прокофий Матвеевич понимающе покаивал головой:

– Коришь себя... Сам живой, а их нет.

Константин Иванович глубоко затянулся сигаретным дымом. А генерал тронул его за плечо и мягко добавил:

– Не казись! Какая тут твоя вина?

– А их нет... – чуть слышно, скорее себе, чем собеседнику, повторил Багрянов слова Прокофия Матвеевича.

А потом они вышли из дому, и, пока не спеша осматривали село – и старину, и новину, – всё говорили, говорили.

– Я ведь почему ещё приехал? – рассказывал генерал, когда они спускались к речке, потом её пологим берегом шли вправо, к рошице, петушиным гребнем торчавшей на холме. – А потому приехал, что сны одолели.

Кудинов двигался медленно, ступал тяжело, иногда останавливался, вроде бы вокруг оглядеться, а на самом деле – отдышаться. Багрянов полегче, поспрытнее. Хотя тоже не первой молодости и далеко не спортивного склада, но пружинист, к ходьбе привычен, ему идти не в тягость. Однако он деликатно останавливался и сам, говоря:

– Гляньте сюда... А помните, вот здесь?..

Мимо проходили люди, здоровались. Те, кто помоложе, – с любопытством, а кто постарше – с почтением, поднимая картуз или кланяясь. Прокофий Матвеевич глядел по сторонам – и узнавал и не узнавал места давних боёв. Это поле, речка, выгон, перелески – как страницы книги, которая прочитана давным-давно, к которой десятилетиями не прикасались и строчки которой изрядно повыщели, и трудно угадываются буквы в этих строчках: буквы-домишки, буквы-высотки, буквы-дороги.

– Одолели сны, житья никакого, – продолжал он. – Что ни ночь – одни и те же. Я сплю и не сплю, а всё вижу эту речку, этот фольварк. Колет в сердце ожидание боя... Не боя даже, а беды. Всё терзаюсь,

как в кольцо попали, как дивизию вытащить, от разгрома уберечь. И непроходящее чувство вины...

Кудинов долго смотрел в глаза Константина Ивановича, словно давая понять, что чувство вины, о котором сказал, он испытывает именно перед ним. Багрянов понимающе молчал. Его тоже тревожат по ночам видения, и его воспалённая память витает порой в тех днях и событиях. Он слушал и заново переживал трагедию, которую однажды уже пережил. Пережили они оба. И ещё очень многие вместе с ними.

Вечером сельский люд потребовал их обоих в клуб.

– Что ж, – согласился Прокофий Матвеевич, – от народа прятаться негоже. Пойдём.

Усадили их люди за красный стол и утихли, готовые слушать, – и старики, и работный народ, и детвора, что первые ряды заполонила.

– Начнём? – предложил Багрянов.

На трибуну Константин Иванович не пошёл, а подался к краю сцены. Он сколько-то безмолвствовал. Казалось, что он смотрел не в зал, а куда-то в далёкую даль. И не в пространственную даль, а в даль времени, в даль памяти. Было тихо. Каждый думал, как бы не помешать ему увидеть вновь давно пережитое, вернуться туда и взять с собой, провести по тем страшным дорогам их, своих односельчан.

– Что сказать вам, люди? – тихо заговорил Багрянов. – Не люблю войну вспоминать. Больно это. А наверно, надо. Сколько лет мы с вами вместе живём, а что друг о друге знаем? Как работаем, чем дышим – про то знаем. А у кого что за спиной, какие зарубки в памяти? Не всегда знаем, да и не дюже знать хотим. Для молодых война – далёкая история, и, иной раз кажется, чужая история. Не они же воевали! А вот мы с Прокофием Матвеевичем и есть эта самая история. Ребята, что в центре села за оградой лежат, история. Рядом она, оказывается, история.

Константин Иванович поглядел в зал, прервав на секунду свой рассказ. Много молодых. Задумываются они об этом? В руках у него появился сложенный вчетверо листок бумаги. Поначалу казалось, что председатель тезисы себе набросал. А он бережно, пожалуй, даже любовно, развернул этот листок, очень старый, потёршийся на сгибах. Хоть и было тихо, а стало ещё тише, люди словно дышать перестали. Константин Иванович сказал, удивив людей:

– Прочту я вам сказку.

Недоумённый шепоток пробежал по залу.

– Не сказку, может быть, а притчу.

Голос у председателя был глуховатый, прокуренный, полевыми сквозняками продутый. Константин Иванович волновался, покашливал, прочищая горло. И вот какую притчу он прочитал.

...И сказала птица человеку:

– Я добрая и мирная. Я приношу счастье дому, на котором совью гнездо. Пусти меня на крышу – и получишь всё, что пожелаешь.

И сказал человек птице:

– Вот мой дом, вот мой кров. Вей гнездо на радость себе и для отрады душевной мне. А хочу я немного. Полю моему – дождя проливного. горну кузнечному – пламени жаркого. А ещё хочу, чтобы сын мой стал пахарем и не расставался с землёй.

И ответила птица:

– Будет тебе дождь проливной. Будет пламя жаркое. И сын твой навеки с землёй породнится.

И свила птица гнездо. И вывела птенцов многое множество. И когда поднялись они в небо, закрыли солнце и легла чёрная тень на дом человека. Пролетела птица над домом – и пролился дождь. Только был тот дождь не простой, а свинцовый. И запылало пламя жаркое, да не в горне кузнечном, а над крышею дома. И увидел человек, как упал на святую землю травую скошенной его сын-богатырь.

И сказал человек:

– То не добрая мирная птица навестила мой дом, а злой коршун. Пусть же сгорит он в лютном огне, который сам принёс.

И запылало пламя жарче прежнего, поднялось выше неба. Опалило оно крылья коршуна и коршунят его, и упали они в огонь тот великий.

И построил себе человек дом краше прежнего. И свил себе гнездо на его крыше аист – мирная и добрая птица. И принёс он человеку трёх сынов.

И сказал человек сынам своим:

– Тебе землю пахать. Тебе железо ковать. Тебе от злого коршуна дом охранять...

Константин Иванович умолк. Люди, конечно, понимали смысл услышанного, догадывались, что листок в руках у председателя связан с событиями, о которых он собирается рассказать, что это мостик от дня сегодняшнего к далёкой военной поре. И они ждали. Багрянов бережно сложил листок и сказал:

– Написал эту притчу много лет назад восемнадцатилетний сол-

дат, мой друг Севка Тетерников. Написал не где-нибудь, а именно здесь, в этом самом доме, в котором мы сейчас сидим. Мы ходили сегодня с Прокофием Матвеевичем к памятнику, и опять разболелась душа от встречи с молодостью, с фронтовыми друзьями. Это они лежат там, на высотке, в липовой роще.

– Много здесь наша дивизия солдат оставила, – хмуро заметил генерал.

– Из всего нашего взвода, да наверно и батальона, – сказал Багрянов, – в живых остался я один.

– А ты не страдай, – молвил генерал. – Разве тебе было легче?

– Я все-таки живой, – возразил Константин Иванович, возвращаясь к терзавшей его думе. – А их нет. Нет незлобивого, весёлого Перфилова. Нет флегматичного и очень храброго Старчени. Нет Гуреева – нашего старого, мудрого Митрича. А впрочем, какой он старик! Это он тогда нам, мальчишкам, казался старым. А ему и пятидесяти не было. Я словно слышу голоса моих друзей. Слышу, как уговаривает раненых потерпеть санинструктор Елена, первая и единственная любовь моего друга. И вижу, как не очень далеко отсюда, на шоссе, у тщедушного мостика, вынесенный из боя Севка в последний раз взглянул на Елену.

Люди слушали, и постепенно каждое названное Багряновым имя обретало плоть и кровь, переставало быть лишь строчкой на памятнике, а становилось реальным человеком, близким и дорогим не только ему, а и всем жителям села.

– На крыше нашего клуба аистово гнездо, – продолжал председатель. – И это здорово. Это значит мир, благополучие. Тогда здесь был фольварк – юнкерская усадьба. Сейчас мы застроились, а тогда барский дом, вот этот самый дом, и всё, что вокруг него, было несколько в стороне от посёлка. На крыше дома тоже было гнездо. И имение называлось Шторхнест – Аистово Гнездо. Только не было то гнездо мирным, было в нём что-то зловещее, мрачное, пугающее. Может, оттого и зародилась у Севки его притча. И не судите строго его творение, он был совсем мальчишка. Останься жив – может, большой писатель из него бы вырос.

Долго ли говорил Багрянов, никто не заметил. Наверно, долго. А потом стал рассказывать Кудинов. Он не рассказывал даже, а раздумывал о солдатах своей дивизии и их судьбе. О том, какая ниточка связывала их с Багряновым и что означала его реплика “Разве тебе было легче?”

Вечер затянулся, и был уже не вечер, а ночь, когда Багрянов прозвёлся:

– Хватит, народ! Сами устали и гостя замучили.

Стали расходиться. И каждый уносил в душе всё, что услышал сегодня, полную драматизма историю, которая сложилась в сознании по рассказам Багряныча и “большого генерала”.

Глава вторая

АИСТОВО ГНЕЗДО

Так уж вышло, что когда в январе сорок пятого началось наступление в Восточной Пруссии, дивизия Кудинова на этом участке быстро продвигалась вперёд, а его соседи слева и справа затоптались на месте. Кудинов сходу взял какой-то городишко, несколько посёлков, в том числе и этот самый Шторхнест. Дивизия вклинилась в оборону противника и, стремясь выйти на предписанные ей рубежи, вся устремлённая вперёд, позволила немцам нанести контрудар под основание клина и оказалась окружённой.

Кудинов со своим штабом очутился в расположении полка майора Сизых, не имея связи с командованием армии. Кудинов и Сизых вместе с комбатами, не полагаясь только на данные разведки, прощупали всю “свою” территорию, убедились, что кольцо вокруг плотное. Мучительно искали выход и не находили. А время не терпит. Надо найти решение быстрое и неординарное. Дивизия не разбита, она боеспособна.

Солдаты ещё не знали о катастрофе, считали, что просто остановились на отдых, пополнение, перегруппировку. И всё же необъяснимая тревога овладела каждым. Откуда она исходила – Бог весть. Может быть, она порождалась особой требовательностью и суровостью командиров, усиленными нарядами и их частой и придирчивой проверкой. А может, она исходила оттуда, от противника, который в прямое соприкосновение с кудиновцами не входил, которого не было видно, но присутствие которого ощущалось повсюду: то в неожиданном выстреле снайпера, то в перерезанном проводе полковой связи,

то в безуспешных вылазках наших разведчиков, всякий раз натыкавшихся на немецкие заслоны.

Опасность витала в воздухе, нервировала солдат и командиров, которым думалось:

– Уж лучше бы они напали. Уж лучше бой, чем эта неизвестность, это ожидание опасности.

Но немцы не нападали, боя не было, и тревога росла.

Стояла промозглая балтийская зима. Снега почти не было. А тот, что лежал кое-где на полях, луговинах, в кюветах дорог, был чёрен от грязи и гари, изъеден туманами. Чувствовалось недалёкое море, оно дышало прерывисто и холодно, и скрипели и гнулись под порывами ветра деревья.

Взвод лейтенанта Дубровина, вернее, то, что от него осталось, разместился в господском доме, на отшибе от Шторхнеста. Были те редкие в солдатском быту минуты, когда свободные от нарядов бойцы могли заняться личными заботами: починить амуницию, написать письмо (ещё не зная, правда, что послать его некуда), поговорить меж собой о том о сём или попросту подремать впрок. Солдаты сгрудились у камина. По праву старшего по возрасту у огня хозяйничал Гуреев, которого все, кроме лейтенанта, звали Митричем. Он был весь такой домашний, уютный.

Мебели было немного, да и та пострадала: бой здесь был хоть и не долгий, но жаркий. Поэтому солдаты сидели кто на чём. Белорус Михась Старченя, любитель поспать и крупный спец по этой части, облюбовал роскошное старинное бархатное кресло. Чередняк и Перфилов разместились на пуховой перине, которую притащили со второго этажа, из спальни. Костя Багрянов, двадцатилетний, но уже бывалый вояка, сидя на стремянке, шерстил книги на занимавших одну стену полках – в семейной библиотеке владельца имения, чей портрет в генеральской форме висел в простенке. Особняком, в стороне от всех, на принесённом из дровяного сарая швырке сидел молчаливый и как всегда хмурый Степан Муравьёв. Он чистил и без того чистый автомат и общего разговора – и шутейного, и бранного – избегал. А Тетерников, совсем ещё зелёный мальчонка с неожиданно старинным именем Севастьян, восторженный, начитанный, наивный, отчего над ним без конца подтрунивали друзья, особенно Костя, в который уж раз глядел в окно и не переставал удивляться:

– Средневековьем пахнет! Будто рыцарский замок: стрельчатые своды, портреты предков и, должно быть, привидения по ночам.

– С фаустпатронами, – одной репликой перечеркнул эту идиллию Костя.

Севка же не мог унять себя:

– Чёрствый человек! Сухарь! Нет, Костя, здесь в самом деле всё удивительно, небуднично. Тишина, покой и даже аистово гнездо на крыше – символ домашнего мирного очага.

– Не удивлюсь, если оно окажется пулемётным, – продолжал язвить Багрянов.

– А ну тебя! – осерчал Севка. Он отвернулся, достал тетрадку и карандаш и стал писать.

Помкомвзвода сержант Перфилов, весёлый тридцатилетний блондин, бывший актёр, выдал экспромт:

В стихах находил он забвеньё

И, приладив блокнот на колене,

Выводил посвященье:

“Санинструктору Елене”.

Все знали, что Севка сохнет по санинструктору – строгой и серьёзной Елене. Относились к этому по-разному. Одни деликатно щадили первое робкое чувство, другие не прочь были позубоскалить. Потому и над словами Перфилова посмеялись не все. Севка вспыхнул и, готовый расплакаться от обиды, ещё ниже наклонил голову над тетрадкой.

А Семён Чередняк озлился:

– Ты когда нас пополнил? Без году неделя? Окопной копоты не нюхал. А у меня, брат, дорога длинная. И все её станции и полустанки на рёбрах пулями да осколками обозначены. Мне по сторонам глазеть, красотами любоваться некогда. Мне пункт назначения подай!

Чередняк злился часто, и ему было всё равно, на ком сорвать зло. Много боли накопилось у него. Перед войной собрался было жениться, да не успел. Осталась невеста в Ленинграде, там же, где и вся его родня. И живы ли – неизвестно. Вот и скрежещет зубами, вот и дёргает скулой. У Степана Мураёва похожая история, даже более горькая: он потерял всех. Но свою беду он в себе носит, а Семён всё норовит на людях её показать, и не для сочувствия даже, а чтоб яриться ещё пуше. Он конфликтует то с одним, то с другим и всем своим видом дотошно требует: терпи, у меня горе.

– Уймись, парень! – говаривал ему ротный старшина Артюх. – Не у тебя одного болит.

Друзья выходки Семёна сносили, а укоры старшины он пропус-

кал мимо ушей. На этот раз ему под горячую руку подвернулся Севка Тетерников. Севка хотел было ответить резко, но Перфилов погасил конфликт, поменяв тему разговора. Остановившись перед портретом генерала, он воскликнул:

– Не могу равнодушно на его превосходительство смотреть. Так и хочется стать во-фрунт и козырнуть. Уж больно строг. Всем генералам генерал.

– А мне плюнуть в его рожу охота, – опять сердито бросил Чередняк. – Паук какой-то! Митрич, кинь его в огонь, чтоб глаза не паялил.

– Пусть глядит да на ус мотаает, – встрял в разговор вошедший старшина.

– Узнать бы, об чём его мысли, – заговорил склонный к философии Гуреев, ковыряя в камине штыком от немецкой винтовки.

– Поди-кось, обидно: хотел нас завоевать, а вышло насупротив...

– Ты его завоевал, – подначил Перфилов.

– Какой из меня завоеватель! – возразил Митрич. – Моё дело тихое – землю колупать.

Увидев входящего Дубровина, Перфилов хотел было подать команду, но лейтенант остановил его. Артюх попытался растолкать Старченю, но пришёл к выводу:

– Легче Берлин взять, чем Старченю разбудить.

– Пусть спит, до Берлина проснётся, – хотел улыбнуться Дубровин, но улыбка не получилась. И ему мешала всё та же тревога, настороженность, обуявшая всех.

Старшина задержал взгляд на командире взвода. Он как бы вчитывался в его мысли, искал причину написанной на лице лейтенанта озабоченности. Ему хотелось поддержать Дубровина каким-нибудь тёплым словом, дать ему понять, что он видит и понимает его состояние, но с расспросами лезть не собирается. Артюх солидно кашлянул, прочищая глотку перед важной речью, но, поскольку краснобаем не был, в больших грамотеях никогда не числился, то и слова нужного не нашёл, лишь произнёс:

– М-да...

Дубровин уловил биение мысли старшины, оценил его благое побуждение и деликатность, а многозначительное “М-да” расценил как искомое слово.

“Спасибо, старшина, – сказал он про себя. – За понимание и поддержку спасибо!”

Этот секундный выразительный диалог прервал Чередняк:

Калининградская
ЦБС

Центральный городской
библиотека им. А. И. Чека



178658-1

– Разрешите вопрос, товарищ лейтенант!

Дубровин подсел к камину на предложенный ему стул с бархатной, как у кресла Старчени, обивкой и, не дожидаясь вопроса, сказал:

– Отвечаю: придёт время – пойдём дальше.

– Сто раз слышал.

– Потому что сто раз спрашивал.

Дубровин обратился к Косте:

– Что вычитал, профессор? Книги хоть стоящие?

Багрянова за его образованность, тягу к книгам прозвали профессором, хотя по натуре он был глубоко сельским, привязанным к земле человеком.

– Всякие книжки, товарищ лейтенант, – ответил Костя, поднявшись в рост на стремянке и чуть не уткнувшись макушкой в потолок. – Всё больше похвальба разных военных теоретиков.

– Наш гусь не из этой стаи? – спросил Дубровин, кивнув на портрет.

– Он, как видно, птица невысокого полёта.

– Встретиться бы с этой птахой, – сверкнул глазами Чередняк.

– Уж я бы ему пёрышки посчитал. За всё. У меня не один узелок на память завязан. “Аистово гнездо”! Может, это он аист?

И вышел, свирепо саданув массивной дверью.

Стало тихо. Смачно посапывал Старчени. Щёлкал собираемым автоматом Муравьёв. Гуреев ходил в сарай за дровами, свалил их у камина, стряхнул с телогрейки мусор и, бросив несколько поленьев в огонь, покачал головой:

– У генерала, видать, мощна тугая была. Гляжу и диву даюсь. К примеру, скотный двор. Кажись, какая в нём хитрость? По-нашему так: плетень сгородил, назёмом обмазал, соломой покрыл – и ставь корову. А тут не то что дерево или кирпич, а камень. Пушкой не возьмёшь.

– На это и расчёт был, – сказал лейтенант. – Стены – крепость, окна – бойницы, чердак – наблюдательный пункт. Всё просматривается и простреливается. И вся стратегия!

Он замолк и про себя продолжил:

“Сколько нас полегло, пока это “гнездо” взяли! Так что не про коров он думал, когда коровник строил”.

Говорить об этом вслух значило беречь незаживающие душевные солдатские раны, усугублять смятение бойцов. А рост их трево-

ги он ощущал не только по вопрошающим взглядам, но и по менее заметным признакам. Всё время выискивает повод подурачиться, чтобы развлечь и отвлечь товарищей, Перфилов. Нервно листает книжки Багрянов. Нелюдимее прежнего стал Муравьёв. Больше озлобления чувствуется у Чередняка. Лишь по-прежнему невозмутим флегматичный Старченя, да, по-видимому, не осознаёт опасности Тетерников. Чаше стал философствовать Гуреев. Вот и сейчас он охотно ухватился за подброшенную лейтенантом тему:

– Выходит, у немца вся мысль об войне была? Значит, пока я землю пахал да детей нянчил, он мне смерть готовил?

Он нет-нет да и уносится мыслью к родной деревне и, даже говоря о немцах, провёл неожиданную параллель:

– У нас в селе мужик был один... Не знаю, живой ли. Побило у нас многих... Так вот, этот мужик, бывало, как воскресенье – шары зальёт, всё ему нипочём, никого он не боится, на всех кидается, пока на кулак рылом не наткнётся. Намнут ему бока, измутузят до синяков – неделю терпит. А в Христов день опять его рожа кулака требует. Так и германец. Уж до каких синяков бит! А всё неймётся ему.

– Каб яе паралюш разбив, гэту войну! – начал браниться проснувшийся Старченя. – Лепш дома, с бабой воевать.

Он потянулся, встав с кресла, зевнул в полную силу, почесал шетинистую, небритую щёку и полез за кисетом. Прикурил у камина и вздохнул горестно:

– Эх, на деток бы поглядеть.

– Да-а, – согласно закивал головой старшина.

– Иной раз думаю, – продолжал размышлять Гуреев, – чего людям не живётся, не работается? Чего на чужую землю лезут? Чего ищут? Али война кому радость принесла?

Никто поначалу не отозвался. Видно, у каждого солдата о войне схожие мысли. Но тут со своего шестка подал голос Костя Багрянов:

– Конечно, война – штука скверная. Но при всём при том она выявляет главнейшие человеческие качества. Качества и личности, и целого народа. Выявляет психологию нации, национальный характер, если хотите.

– Что ж, из-за этого воевать? – не согласился Севка. – Психология нации и в другом проявится, в чём смысл есть. А в войне какой смысл?

– Насчёт нации не скажу, – включился в диспут старшина, неужи-

данно проявив и речистость, и раздумчивость, – а насчёт солдата – в точку. В бою человек в полную меру раскрывается: как у него поджилки и душа не гнилая ли? Потому что притворяться-то перед кем? Перед смертью? Для неё все равны. И потом, если ты трус. героем не прикинешься. А если герой, трусом притворяться не захочешь.

В иное время Дубровин, может быть, и пресек бы эту схоластическую перепалку, повернул бы солдатский интерес с теории на практику, а сейчас, отметив спокойный, без срывов и взрывов тон спора, подумал:

“Железная выдержка у мужиков. Кроме Чередняка, пожалуй”.

– Ну, хорошо, – завёлся Севка в ответ на непривычно длинную речь старшины. – А если я боюсь умирать, боюсь, что меня убьют? Значит, я трус?

– Значит, трус, – поддразнил его Багрянов.

– Мальцы вы ещё, – остановил их мудрый Гуреев. – Вкуса жизни не познали. Умирать никому не охота. И всегда страшно. Я с первых дён в окопах. Сколько раз, поди, мимо смерти своей прошёл. А не встретился – и слава Богу! Само собой, в кустах не отсиживался. Но и под пулю без ума голову совать ни к чему. Одна она у всякого. И у всякого для своей надобности приспособлена. У нас со старшиной котелки попроще ваших, а ведь, опять же, не в канаве нашли. Землю пахать или, к примеру, слесарить – тоже ведь голова нужна.

– Землю пахать – руки нужны да ноги. Голова – инструмент побочный, – засмеялся Перфилов.

– Много ты знаешь! – возразил Митрич. – Земля – это, брат, в жизни первейшая вещь, первейшее дело... Эх, кабы такой указ вышел, чтоб, значит, войну по боку. Насовсем. Никогда чтоб её не было. Мужики по домам. И все бы эти колёса перестали землю месить да косягами нашими мостить, а стали бы хлебушек растить.

За высокими готическими окнами господского дома хмурился сыльный вечер. Быстро темнело. Рвал голые кусты сирени порывистый ветер, и его посвисты, усиленные раструбом камина, добавляли людям напряжения и беспокойства. Где-то за стеной сгущающейся темени и недалёкого леска залязгали немецкие танки. Они, невидимые, лязгали каждую ночь и каждую ночь, казалось, были всё ближе. А может, и не казалось. Наверно, фашисты собирали силы и затягивали петлю, не предпринимая атак и буквально выматывая душу окружённым, придавленным предгрозовым затишьем бойцам.

Наступившее молчание нарушил возглас Кости, читавшего старый немецкий журнал:

– Братцы, что я нашёл! Речь Адольфа!

Он свалился со стремянки, прямо на Старченю, который, покупив, вновь задремал.

– Лиха ему у бок, твоему Адольфу! – негромко заворчал Михась.
– Было з-за чаго будить!

Багрянов согнул журнал вдоль колонок текста и стал читать:

“В качестве последнего фактора я со всей скромностью...” Слышите? Со всей скромностью! “...я со всей скромностью должен назвать мою собственную личность – я незаменим... Я убеждён в силе моего разума и в моей решимости... Судьба рейха зависит лишь от меня”.

Не каждый день услышишь, чтобы человек так бахвалился да при этом ещё говорил о своей скромности, и солдаты недоумевали.

– Это что же, фельетон, памфлет? – спросил лейтенант.

– Да нет же! – горячо возразил Костя. – Натуральная речь.

И опять донёсся далёкий, но отчётливо слышный гусеничный лязг. Солдаты на какое-то мгновение, даже на малую долю мгновения непроизвольно вскинули головы в ту сторону, откуда пришёл звук, и тут же, словно спохватившись, вернулись к багряновской находке. Инициативу взял в свои руки Перфилов.

– Ну, кто так читает! – возмутился он костинной декламацией.
– Бу-бу-бу... Вот как надо!

Он зацепил в камине сажу, одним мазком провел себе усики, надвинул на один глаз чёлку, стал в подобающую позу и рявкнул:

– “Я со всей скромностью заявляю, что я незаменим. Я велик и гениален. Я почти как бог и даже гениальнее бога. Хайль!”.

Получилось похоже и смешно. Смеялись дружно и искренне, даже Муравьёв усмехнулся. Но солдатское веселье прервала громкая команда Дубровина:

– Встать! Смирно!

И тут произошло событие, которое позже сказалось на судьбе дивизии, решило судьбы многих людей, и в первую очередь – Константина Багрянова. Когда раздалась команда взводного, солдаты дружно повернули головы к входной двери. Там стояли генерал Кудинов и командир полка майор Сизых. Комдив был молод, подтянут и сухощав. Отяжелевший майор, сибирский охотник, правда, уже забывший, когда в последний раз ходил на таёжного зверя, рядом с ним выглядел стариком.

– Чего шумишь? – добродушно заворчал Кудинов на Дубровина. – Немцам доложить хочешь, что генерал прибыл?.. Погреться пустите?

Солдаты загудели, задвигались, освобождая для гостей места поудобнее и поближе к камину. Генерал увидел Перфилова, не успевшего убрать свой примитивный грим.

– По какому случаю вымазался?

Дубровин поспешил на выручку:

– Импровизированный спектакль, товарищ генерал.

А старшина добавил:

– Речь одна тут... Чудная больно.

Генерал взял журнал.

– Кто перевёл? – спросил он.

Все повернулись к Багрянову.

– Он у нас профессор, товарищ генерал, – уважительно представил Костю Перфилов.

– Ну, профессор, переведи и для меня, – с интересом рассматривая Костю, попросил Кудинов.

Костя, тушуяся, ещё раз прочёл речь. На лице генерала появилось на мгновение то же недоумение, что было несколько минут назад у солдат. Он вновь взял в руки журнал, полистал его. Костя тогда и мысли не допускал, что генерал проверяет точность его перевода. Гораздо позже он узнает, что Кудинов в совершенстве владеет немецким.

– Значит, по-немецки кумекаешь? – спросил он Костю. Впрочем больше это походило не на вопрос, а на утверждение.

У Багрянова захолонуло в груди: “Всё, в штаб, в переводчики”. – Чего молчишь, ровно колокол без языка? – подстегнул его майор. – Тебя спрашивают.

– Так точно, товарищ генерал, – неохотно отозвался Багрянов.

– Скрыл? Небось, в штаб не хотел?

– Так точно, товарищ генерал, – совсем упавшим голосом промолвил Багрянов.

– Ну, и правильно! – резюмировал комдив.

– Так точно, товарищ генерал!!! – радостно гаркнул Костя.

– Эка, горластые все, – поморщился Кудинов. – Где научился? В школе?

– Родом я из Поволжья, жил среди немцев, – охотно пояснил Костя. – Ну, и в школе, конечно.

– Парень он с головой, товарищ генерал, – сказал Дубровин. – К науке тягу имеет.

Лейтенант был совсем молодой, почти необстрелянный, недавно с курсов. Взводом командовал третий месяц. Но держался молодцом, спокойно, уверенно, солдат уважал, и они его тоже. О каждом он уже успел много узнать и сейчас говорил о Косте как о давно знакомом человеке.

– К науке, значит? Хорошее дело, – одобрил генерал.

– В народе так молвится, – вставил пословицу Гуреев: – Учёность хлеба не просит, сама кормит.

– А читать всякую дрянь не советую.

Кудинов швырнул журнал в камин и обратился к солдатам:

– Кто мне трубку набьёт?

– Отведайте моей махорочки, товарищ генерал, – предложил Гуреев. – Тамбовская, из дома прислали.

Он протянул генералу кисет, а когда тот заправил трубку, голыми пальцами достал из каминного уголёк. Кудинов затаился, одобрил табак.

– Значит, ты, солдат, тамбовский? – спросил он Митрича. – Стало быть, земляк. Как настроение?

– Ежели по правде, хреновое, товарищ генерал.

– Чего так?

– Непонятно, чего сидим в этом “гнезде”. Прокинуть можно.

– Ждать недолго, – успокоил комдив. – Отдохнём малость и дальше пойдём.

Никто из солдат, конечно, не спрашивал прямо: “Что произошло? Отчего заминка?” Но в их глазах, в тоне разговора Кудинову виделось и слышалось:

– Какая беда приспела? Чем помочь? Мы на всё готовы.

Кудинов видел эти вопросы и эту солдатскую готовность, и солдаты видели, что он видит. Они расспрашивали его о предстоящих боях, он их о настроении, письмах из дому, а каждый думал об одном и том же. Но генерал был спокоен, и это его спокойствие передавалось солдатам: да, опасность есть, но на войне всегда опасно, ещё немного – и вперёд, на Кенигсберг.

– Трудновато идтить-то, – на правах земляка возразил генералу Гуреев. – У немца, ишь, бетон да камень.

– А у нас железо да сталь, – возразил Кудинов. – Неужто устоит немецкий бетон перед русской сталью?

– Хе, – усмехнулся Старченя. – Поможа ему бетон, як хворобе кашель.

Все встали, провожая гостей. У дверей генерал оглянулся и пристально поглядел на Багрянова. У того опять ёкнуло сердце: всё, в писаря!

А у генерала уже зрел план операции, в которой Багрянову отводилась особая роль, о чём он, конечно, и не догадывался. Наутро Костю вызвали в штаб. Он ушёл, едва не плача и повторяя про себя:

– Так и знал...

Но писарем он не стал. И переводчиком при штабе тоже. Дело его ожидало иное...

А перед его уходом смущённо, неловко подошёл к нему Севка:

– Костя, всякое может случиться... Понимаешь? Если что, отдай эту тетрадку ей... Елене... Тут стихи.

– Чудак, – удивился друг. – А может, со мной, а не с тобой случится?

Севка помотал головой:

– В штабе надёжнее... И ещё. Мы с тобой насчёт войны спорили. Я кое-что сочинил. Сказку что ли... Или притчу... Возьми.

Костя не стал возражать. Дескать, мальчишеская блажь. Он сунул тетрадку и сложенный вчетверо листок в свой вещмешок. Просьбу Севки выполнить он не смог, никого из ребят своих, и Елену тоже, он больше никогда не видел. Правда, бумаги севкины сберёг.

Глава третья

ЧЕМУ УЛЫБАЛСЯ УБИТЫЙ

С тех пор, как узнал он, что освободили его родную Смоленщину, но не осталось в живых никого из его близких – ни отца с матерью, ни сестры, ни жены, ни семилетнего сынишки, – оледенело и наглухо закрылось сердце Степана Муравьёва, серо-пороховым цветом тронуло буйную цыганистую шевелюру. Стал Степан молчалив и хмур и одну мысль вынашивал, лелеял: скорей туда, в проклятое логово, и мстить нещадно. И когда шагнули в это логово, будто удесятерилась ненависть солдата.

Однажды молодые бойцы в очередной раз зарассуждали и заспо-

рили о войне, о её смысле и бессмыслии, о человеческой сущности, проявляющейся в бою. Муравьёв слушал-слушал – и неожиданно взорвался:

– Философы! Вон, впереди окоп, а в окопе немец. Не убежит – убью. А там, дальше, дома, в них тоже немцы. Застану – убью. Вот и вся философия!

Был этот взрыв извечно молчаливого настолько неестественным, что все онемели. Командира взвода как раз не удивила вспышка солдата: он знал его историю. И потому Дубровин заговорил спокойно, всматриваясь испытующе в лицо Муравьёва:

- А если в доме дети, женщины, старики?
- Всех подряд, без разбору! – скрипнул зубами Степан.
- За что? – всё так же спокойно спросил лейтенант.
- А моих за что?

Не с таким настроением хотел бы видеть Дубровин своих бойцов за порогом отечества. Видно, слишком много боли в солдатской душе накопилось. Давно тревожит взводного судьба Муравьёва. Он видит, как Степан в каждом бою лезет в самое пекло, под пули и мины. И ни одной царапины.

– Смерти ищешь? – отчитывал его как-то майор Сизых, в очередной раз оказавшийся в расположении их батальона и видевший безрассудную лихость Муравьёва.

- Меня не убьют, товарищ майор.
- Что, замороженный?
- Счёт у меня к ним большой.
- Эх, ты! Видом орёл, а умом тетерев. Пуля, она ж не разбирает.

А Дубровину командир полка приказал:

– Ты поглядывай за ним, лейтенант. Без нужды под пули не пускай.

Вечерело. Придавленные низкой тяжёлой облачностью, быстро уплотнялись сумерки. То дождило, то сыпала крупа. Как всегда, часть дубровинского взвода была в Шторхнесте, а другая в окопе. Наблюдение за противником не прекращалось ни на минуту. В окопе было слякотно. Вместе с тающим снегом в него сползала глина. Солдаты зябко ёжились. Было тихо.

И вдруг тишина разом разлетелась на мелкие осколки. Глухой автоматный треск густо посыпался с немецкой стороны. Все прикикли к брустверу, стараясь понять, что потревожило противника. А тот гневался ещё пуще: пронзительно завизжали мины. В наступающих

сумерках было видно, как к нашим окопам кто-то бежит. Вскрывается в паузах между автоматными очередями и минометным лаем, вновь падает, прижимаемый к земле, и вновь бежит.

– Ложись, ложись! Накроет! – кричали солдаты.

– Ползи, по-пластунски! – советовали они, хотя, конечно, их не было слышно тому, кто оказался возмутителем и без того призрачного спокойствия. И вот в окоп свалилась перепачканная и перепуганная женщина. Немка, как нетрудно было понять по её одежде. Она боязливо глядела на всех и молчала, не в силах отдышаться. Кто знает, как она оказалась на нейтральной полосе. А затем, видимо, напуганная стрельбой, растерялась, утратила ориентировку и забежала к русским.

Женщина вскоре отдышалась и, поняв, где оказалась, быстро-быстро, взволнованно залопотала:

– Дорт... Майн кинд... Малыш... Там.

Она показала в сторону немецких позиций.

– Какой мальчик? – удивился Севка Тетерников.

– Погоди ты, – перебил его Чередняк. И немке: – Говори толком. Ну?

А та рыдала, переводя огромные, круглые от страха глаза с одного на другого.

– Ничего не понять, – растерялся Семён.

– Чего тут понимать? – рассудил Гуреев. – С мальцом она шла. Заплутала, попала под обстрел и потеряла сынишку... Верно я говорю? – спросил он немку.

И она согласно закивала, будто в самом деле поняла, что говорил этот маленький, добрый русский.

Стрельба стихла внезапно, как отрезанная. Занятые немкой, бойцы не сразу увидели, как Муравьёв молча перевалился через бруствер окопа и, наклонившись к самой земле, быстро побежал в немецкую сторону.

– Муравьёв, вернись! – крикнул помкомвзвода Перфилов. – Приказываю!

Но Степана уже плохо было видно в наступившей темноте.

– Тетерников, зови лейтенанта! – приказал Перфилов, и Севка убежал.

– Майн кинд... – повизгивала немка.

– Заткнись ты со своим киндером! – рявкнул на неё Чередняк. – Ни шиша ему не сделается! Посидит до утра.

– Закоченеть может, – заметил Митрич. – Вон непогодь какая!

Пришли Севка и лейтенант. Перфилов попытался было доложить о происшествии, но лейтенант прервал его:

– Знаю... Где он там?

Дубровин глядел в сторону чужих окопов, но ничего не было видно.

– Не найдёт он его. Такая темень, – тревожился Тетерников.

– Найдёт, – успокоил его Гуреев. – Там теперь рёву на всю округу.

Над нейтральной полосой повисла немецкая осветительная ракета. Стал виден Муравьёв. Правда, он тут же упал.

– Вроде несёт. Нашёл, значит, – шепнул Гуреев.

Шквалом огня плеснулись немецкие окопы. Опять противно завизжали мины. Наша сторона ответила огнём.

– Скорей, Муравьёв, скорей, – нетерпеливо приговаривал Тетерников.

– Ползи, Степан, ползи! – подсказывал Гуреев.

Но их и рядом-то не было слышно. Да и что толку, если бы Муравьёв их услышал? Он и без того понимал, что надо делать. Он двигался зигзагами, падал и полз. Но ползти с ребёнком было несподручно. Загорелась ещё одна ракета, осветив Муравьёва с ребёнком на руках уже метрах в тридцати от окопа, своего, спасительного окопа.

– Пригнись, слышишь! – что есть мочи крикнул лейтенант.

Муравьёв нырнул в какую-то ложбинку, выжидая, пока не сгорит ракета. Стало темно, ещё рывок – и он у самого окопа.

– Держи своего киндера! – вроде даже весело сказал он немке. – Живой.

Минуты длился этот кросс, но показался он бесконечным – такое напряжение охватило каждого, столько волнения он доставил всему взводу, таким неожиданным был бросок Муравьёва. Степану осталось перевалиться через бруствер. Он приподнялся немного, чтобы спрыгнуть в окоп, улыбнулся друзьям широко и открыто: мол, всё в порядке! – да так и остался на краю окопа. Осколок ли мины, пулёмётная ли очередь или пуля снайпера достала его в последнее мгновение. Его втащили в окоп уже мёртвым.

Смогло стрельба, и стало тихо и страшно. Немецкая женщина, помимо своей воли ставшая причиной трагедии, прижимая к груди перепуганного насмерть мальчонку лет пяти, съёжилась под суровыми взглядами бойцов.

– Эх, Степан, Степан, удалая головушка! – сокрушённо вздохнул Гуреев. – Не уберёгся.

– Из-за кого погиб! – громыхнул автоматом Чередняк.

– Отставить! – негромко сказал Дубровин.

Он думал о своём. О том, что делать с немкой и её мальчонкой. Как доложить о происшествии, ведь майор обязательно укорит его: “Эх, Дубровин, я же тебя просил!” А ещё он думал о незлобivosti и отходчивости русского солдата.

На какой-то миг прорвалась хмарная пелена, позволив выглянуть наружу крутобокой луне. Она высветила Муравьёва, который сидел, опершись спиной о стенку окна, и смотрел на женщину с ребёнком. Чернявое лицо его освещала добрая белозубая улыбка.

Глава четвёртая

КОЛЬЦО-КОЛЕЧКО

– Вот, дружок, дело какое, – земно, обыденно, вовсе не по-генеральски говорил Кудинов, когда Костю доставили к нему. – Раз уж сам командир дивизии тебе задание даёт, сознавай ответственность. Особую ответственность...

Не столько от этих слов, сколько от их неприказной, домашней интонации, от сосредоточенно-озабоченного вида комдива, оттого, что не было в генеральском блиндаже никого, кроме них двоих, даже адъютанта, от тревожной тишины, непривычно давившей на солдатские уши и души, – от всего этого почувял Багрянов, что дело ему предстоит чрезвычайное. И генерал умышленно нагнетал это его чувство, дабы настроить солдата на нужный лад.

– От тебя сейчас зависит судьба дивизии, – говорил он. – Без преувеличения... Да ты сиди, сиди, не вскакивай. Не спеши козырять, что готов в огонь и в воду. Мне как раз не нужно, чтоб в огонь и в воду.

Прокофий Матвеевич помолчал, походил по низкому, полутёмному блиндажу, вновь не позволив подняться солдату, и остановился перед ним.

– Пойдешь к немцам... Не удивляйся. Мы угодили в кольцо. Не скрою положение наше трудное. Сидеть и ждать подмоги рискованно, можем не дожждаться. Не сегодня завтра противник вдарит. Он стягивает силы, чтобы потуже затянуть на нашей шее петлю. Так вот, пришла пора вылезать из этой петли.

Не всё сказал Косте комдив, не мог сказать всего. Да и зачем солдату ломать голову над проблемами такого масштаба? Не сказал он Косте, к примеру, о том, что скорее ощутил, чем заметил, что в последнее время противник почти незаметно, вроде бы непреднамеренно стал теснить дивизию на запад, в сторону крошечного городка с претенциозным названием Гросс-Альтенбург. С востока, с севера и юга не сильно, но настойчиво давит, а на запад приоткрывает шоссе. Любопытная коллизия! Кудинов ищет ей объяснение и, кажется, находит. Вы хотите заманить нас в ловушку? – размышляет он. – А мы возьмём да и пойдём в неё. Пойдём! Только...

– Немцы знают, что у нас нет связи со своими. Дважды опытные разведчики пытались пройти сквозь кольцо. Не прошли. Немцы ждут нашей очередной попытки. На этом и сыграем. Спектакль должен быть достоверным, чтобы противник не заподозрил подвоха. Поможет твой возраст и знание немецкого. Противник должен взять в плен молодого, неопытного связника, замаскированного под немецкого солдата, и выведать у него задание, с которым он идёт. Понимаешь?

Генерал присматривался к рядовому: сознаёт ли сложность задачи, меру опасности? Не бравировает ли? И напротив – не трусит ли? И, убедившись, что Багрянов оценивает ситуацию спокойно, не гоношится и не паникует, заговорил начистоту:

– Многое будет зависеть от твоей выдержки и находчивости. Ни героя, ни труса изображать из себя не надо. Играй обычного молодого солдата, которому дали ответственное задание только за его знание немецкого. Немного поупирайся и мало-помалу “расколись”. Сообщи, что мы догадались, в какую ловушку нас заманивают, и решились нанести удар в противоположном направлении. Ты идёшь к своим, чтобы предупредить их об этом и чтобы в оговоренное время нам обеспечили огневую поддержку.

Генерал говорил и всматривался в лицо Кости. Оно было невозмутимым. Багрянов молчал и ждал, что ещё скажет генерал. Тот оценил выдержку солдата и откровенно предупредил:

– Могут бить. Могут расстрелять. Если очень страшно, скажи прямо. Заставлять не буду.

В лице Кости ничего не изменилось. Его спокойствие успокоило и Кудинова.

– Ну что ж... Коли так, надевай немецкую форму – и в путь... И вот что имей в виду. Тебя обязательно спросят, как предполагается известить нас, что ты прошёл, что наш план в штабе армии принят. Скажешь: артиллерийский залп вот по этому лесочку. Один залп.

.....

– И я пошёл, – рассказывал Константин Иванович во время встречи в клубе. – Форма оказалась мне в пору, как по заказу шили. Главное, обувка как раз, ноги не бьёт. Высокое начальство, – Багрянов кивнул в сторону генерала, – самолично меня осмотрело, ощупало, всю экипировку проверило. Я вышел как только стемнело. А стемнело, скажу я вам, основательно, в небе ни звёздочки, и туман над самой землёй.

Шёл по той самой дороге, что сейчас во вторую бригаду ведёт. Справа лесок, слева поле и огромный валун на обочине. Теперь на этом поле картошка растёт. А тогда также густо, как кусты картошки, сидели в земле мины. Иду, шмайссер держу наизготовку. Но в бой приказано не вступать. Оружие – это так, для маскировки. Мороза не было уже несколько дней, слякотно, ноги то вязнут, то разъезжаются. Хоть и по булыжникам топаю, но грязи столько, что бахилы в момент сделались неподъёмными. Вымотался – сил нет. Но взмок, безусловно, больше от напряжения и от страха.

Правда, идти пришлось не очень долго, первый же пост меня благополучно сцалал. Допроса с пристрастием я “не выдержал”, военную тайну “выдал”. Вскоре немцы дали залп по лесочку. Про себя думаю: порядок! Наш комдив сейчас, наверно, облегчённо вздохнул...

– Даже “Слава Богу!” сказал, – признался Кудинов. – Не передать, до чего порадовал меня этот залп. Воистину, за всю войну ни один другой так не запомнился, как этот. Ведь это значило, что немцы клюнули на нашу приманку. Они поверили, что мы не хотим идти туда, куда они нас подталкивали, то есть на запад, а будем прорываться на восток, к своим. И мы, конечно, изобразили попытку такого прорыва, а на самом деле пошли на запад. Вот как это было...

СЕВКИН МОСТ

– Городишко-то с гулькин нос. Только что название пышное – Гросс-Альтенбург, – ворчал Кудинов. С группой офицеров он находился на наблюдательном пункте полка Сизых. – Прыщ, а попробуй через него перескочить... Не перескочишь! А надо. Тут кольцу конец. Дальше оперативный простор...

Он словно сам с собой рассуждал, словно забыл о своих спутниках. Впрочем, тут же выяснилось, что не забыл, что всех видел и слышал. И говорил для них, потому что сам ситуацию оценил гораздо раньше.

– Что ты мне карту в нос тычешь? – не сердито напустился он на командира полка. – Я на неё у себя в штабе посмотрелся. Ты подними брови да в натуре погляди.

– Гляжу, товарищ генерал. Гляделки притомились, – в свою очередь заворчал майор.

– А ты ещё посмотри, – настойчиво советовал Кудинов, не отрывая от бинокля глаз. – Редкий пейзаж. Слева крутые высоты, покрытые лесом. Справа заболоченная пойма реки...

– Минные поля вдоль шоссейки, – вздохнув, добавил Сизых, как бы давая понять, что знает здесь каждую кочку и каждую почку.

– И симпатичный мостик впереди, – продолжал генерал. – Не знаешь, майор, какого ляда они его не подорвали?

– Нас вроде приглашают: добро пожаловать! Раз приглашают – значит, и гостинцы приготовили.

– Верно, приглашают, – согласился генерал. – Нам негде пройти, кроме этого шоссе, этого моста и этого Гросс-города.

– Значит, ловушка?

– Выходит, так. Вот куда они нас так настойчиво загоняют. Стоит колонне вытянуться по шоссе, как у неё перед носом взорвут мост. А он, несомненно, заминирован...

– Разведка доложила: заминирован и усиленно охраняется, – подтвердил Сизых.

– Ну вот, – продолжал рассуждать Кудинов, – мы и в мешке. Отличная мишень для артиллерии.

– М-да, – протянул майор. – Ехали прямо, да попали в яму. Эх, кабы мороза, нашего, настоящего, сибирского! По льду проскочили бы.

– Ладно, командиры, – отнял бинокль от глаз Кудинов. – Пойдёмте обсудим операцию.

При этом он довольно потёр руки, чем немало удивил майора и других командиров.

– Чему радуемся, товарищ генерал? – спросил Сизых, когда они вернулись в штаб полка.

– А ты не заметил никаких перемен в поведении противника? Раньше он накапливал силы как раз на этом участке, а сейчас вдруг перебрасывает их на наш восточный фланг. Значит, он получил достоверную информацию о нашем прорыве на восток. И давайте его разочаровывать не будем. Малыми силами инсценируем большой прорыв, а тем временем основные силы пустим сюда, через Гросс-Альтенбург. Если проскочить мост, преследовать нас будет некому. Задача – разминировать мост. К этому времени всё хозяйство должно быть наготове, на колёсах. “Прорыв” на восток и движение на запад начинаем одновременно, как только мост будет разминирован.

Решение было принято простое. Густой ночью штурмовая группа отвлекает охрану, имитируя попытку захватить мост. А в это время сапёры проникают под мост и обезвреживают взрывчатку.

– Полчаса на сборы, – разбудил своих ребят Дубровин. Он отрядил в штурмовую группу к мосту несколько человек, а остальные и сам лейтенант стали в составе батальона готовиться к “прорыву”.

– А чего собираться? – степенно заметил Гуреев. – Солдат всегда наготове.

Он перебрал содержимое вещмешка, прежде чем сдать его в обоз, подержал в руках недавно полученное из дома письмо, другие дорогие ему вещи, словно пообщался и попрощался с семьёй, и произнёс чуть слышно:

– Вот и всё.

Чередняк почему-то занервничал, засуетился, стал переобуваться и неискренне засмеялся:

– Мозоль набил, как первогодок.

“Что это с ним? – подумал Севка. – Испугался что ли? Раньше вроде не трусил.”

Ночь была промозглая, непроницаемо чёрная. Шли молча и беззвучно. В условленный срок сапёры отделились и залегли в левом

кювете. Здесь они и поползут, когда штурмовая группа завяжет бой, отвлекая на себя внимание немцев.

Командир группы, старший лейтенант, словно нечаянно споткнувшись, громыхнул автоматом по асфальту и матюгнулся в полный голос. Сразу же по шоссе полоснул прожекторный луч, и заговорили пулемёты. Готовые к этому, солдаты шустро залегли в правом кювете и открыли ответный огонь.

– Бейте по прожектору! – прозвучала команда. Но прожектор упрямо бегал лучом то слева направо, то справа налево, прощупывая каждую складочку. Так сапёры не пройдут.

Ближе к мосту дорога шла в гору, а кюветы становились глубокими обрывами. Они как стеной прикроют и от прожектора, и от огня. Если сапёры прошмыгнут туда, считай – дело сделано. Чередняку, Перфилову и Тетерникову велели продвинуться по обочине вперёд, тихо, незаметно, а потом устроить побольше гвалту, можно и гранатами, чтобы немцы подумали, что их справа, по обрыву обходят.

Плотно прилипая к размякшей, осклизлой земле, замирая всякий раз, как прожектор зло указывал на них, трое заскользили по кювету. Несколько минут было тихо. А потом оттуда, где тьма и крутой срез дороги скрыли посланных, раздались автоматные очереди, немецкие выкрики, затем взрывы гранат.

– Напоролись, – понял командир группы.

.....

Канавка резко уходила вниз. Стало ещё темнее. Прожекторный луч ходил уже где-то наверху, и они поднялись. Шли медленно, пригибаясь и прислушиваясь. Буквально в двух шагах ничего не было видно, особенно после пробегающего где-то вверху прожекторного луча. И потому они не заметили опасности, которая их поджидала.

Это не была засада. Видимо, небольшую группу послали ударить русским с фланга, если они пойдут на штурм. Чередняк, который шёл впереди, буквально натолкнулся на немца и – не зря он нервничал перед походом – не выдержал. Он шархнул назад, с силой толкнул Севку, того даже развернуло. Немец пустил очередь перед собой, скорее наугад, на слух и не промахнулся. Севка кинулся на него с ножом. Почему с ножом, почему не стрелял – кто знает. Наверно, неосознанно, импульсивно, от необходимости хранить тишину, не вняв ещё, что тишины уже нет.

Немец был здоров. Он перехватил занесённую над ним руку и резким отработанным движением перекинул через себя парнишку. Севка был в непонятном, никогда прежде не испытанном, лихорадочном возбуждении. Всё происходило мгновенно, настолько мгновенно, что, казалось, мысль не успевала за поступками. Тетерников оказался на земле и почувствовал, как в грудь ему упёрся ствол автомата. Но прежде, чем немец нажал на гашетку, Севка левой рукой ударил по стволу, сбил его с себя, и фашист, лишённый опоры, тяжело рухнул на него. Севка увидел его рыжую, конопатую харю, вытаращенные бельмы и услышал отвратительный, тошнотный, хрюкающий звук, который издал немец, напоровшись на севкин нож. А может быть, Севка и не видел и не слышал всего этого. Может быть, это дорисовало его воображение. Ведь длилась схватка секунды. К тому же было темно.

Рядом работал автоматом Перфилов. Севка попытался спихнуть с себя фрица и не смог. Он почувствовал резкую боль в груди и ощутил солоноватый привкус во рту.

“Что это со мной? – подумал он. – Ранен? Немец же не успел выстрелить... Раньше, первой очередью? Почему же я не почувствовал сразу? Наверно, сгоряча... А теперь больно. Что-то давит. Что?.. А, понятно, школьная куча-мала. Вон сколько ребятишек навалилось сверху. Всё загородили, ничего не видно. И давят, давят... А почему молчком? Почему все мальчишки молчат? Так не бывает... Нет, это я, оказывается, нырнул в речку, глубоко-глубоко... Не хватает воздуха, давит грудь. Нужно всплыть, скорей! Воздуху! Не выплыву... Захлёбываюсь.”

Убегали, отстреливаясь, немцы. Перфилов бросил им вслед гранату. Пока длилась перепалка, прожектор, метнувшийся в эту сторону, на какое-то время застыл. По ударам сердца командир группы отсчитывал секунды.

“Ещё, ещё!” – мысленно просил он постоять прожектор, чтобы сапёры успели проскочить опасный участок.

“Прошли”, – решил он и приказал:

– Огонь!

И вновь застрекотали автоматы, вновь заметался прожектор. Противник не мог понять, какими силами его атакуют, и вёл веерный обстрел всего пространства перед мостом. Но сапёры были уже вне огня, за надёжным прикрытием обрыва.

“Они своё дело знают, они управятся быстро”, – говорил себе

старший лейтенант, дожидаясь условленной ракеты и подсчитывая, на сколько хватит боезапаса.

Повалил снег, густой, мокрый, липучий, и стало как будто светлей. Снежинки вихрились, крутились и, казалось, летели по прожекторному лучу, туда, к источнику света. Сцепленные лучом, они создавали сказочную крышу, крышу из света и снега. Но бойцам было не до этого волшебного зрелища.

Вернулся Перфилов. Он притащил на себе Севку. Тот ещё дышал.

– Не прекращать огня! – крикнул старший лейтенант. И обратился к Перфилову: – Рассказывай, что у вас там стряслось.

Сержант доложил, как положено, а потом добавил:

– Семён подкачал... Эх, Чередняк, Чередняк! О покойниках не говорят плохо, но... Не хватило его. Чуть-чуть не хватило. Видно, конец войны почуял. Мол, не дело умирать теперь. Выходит, струсил...

А снег всё валил и валил, не успевая таять, покрывая белой мокрой пеленой асфальт, обочину дороги и тускло освещая разгорячённых солдат. Взлетела зелёная ракета, не такая уж большая и не такая уж яркая в снежной круговерти. А какие мысли всколыхнула она сразу, какие силы привела в движение!

“Молодцы сапёры!” – облегчённо вздохнул командир группы, понимая, что операция закончилась, что он и его ребята своё дело сделали. Жаль только – не все целы.

“К наградам представляю. Всю группу. И сапёров, конечно”, – решил майор.

“Теперь город наш! Теперь дорога открыта!” – заключил генерал.

Неподалёку взревели моторы. Пошли танки. Их гул и гусеничный лязг нарастали с каждым мгновением. Вскоре они смели охрану моста и открыли дорогу пехоте.

Друзья притащили Тетерникова к санитарному обозу. Засуетилась Елена. То теряющий сознание. то приходящий в себя, Севка смотрел на неё тоскливо и горько.

– Не умирай, мальчик! – бормотала Елена, размазывая по щекам слёзы и снежинки. – Не надо!

Она часто-часто дышала в его лицо, пытаясь то ли раздуть гаснущие искорки в его глазах, то ли укротить своё готовое вырваться из груди сердце.

– Не умирай! – повторяла она в отчаянии.

Севка молчал. Он лежал в повозке на обочине дороги. А мимо, туда, к уже не опасному мосту, на хорошей скорости летели танки. Они пронеслись, вздымая снежные вихри. Снег падал на севкино лицо и не таял.

Глава шестая

А В ОТВЕТ ТИШИНА...

Дивизия спешит. Кудинов, сжатый, словно пружина, стиснувший от напряжения зубы, видит её не единым плотным комком, а растянувшейся по шоссе, длинной-предлинной, медленно, невыносимо медленно двигающейся, старательно повторяющей извивы дороги, беспомощной огородной гусеницей. Он смотрит на циферблат своих часов и поражается, с какой скоростью несутся стрелки. Колонна ползёт, время мчится! Он переводит взгляд на небо. Пока, закрытое тучами и густой снежной липучкой, оно не проглядывает ни единой звёздочкой, укрывает колонну от оседлавших попутные высоты вражеских пушек, хоть и немногочисленных, но остервенело злых. А если снег прекратится? А если выглянет луна?

“Быстрей, быстрей!” – мысленно торопит он солдат, не зная, как остановить стрелки часов, как уговорить ночь не торопиться.

А дивизия спешит. Уже на брусчатке городских улиц гремят танки и самоходки. Нещадно стегают взмыленных лошадей обозные ездовые и артиллеристы. Прикрываясь пологом чёрной, в снежную крапинку ночи, бегом стремятся к мосту пехотинцы. Сверху, с лесистых высот, по дороге лупят оставленные, не переброшенные на восточный фланг немецкие пушки и “скрипачи” – шестиствольные миномёты. Дорога заполнена так густо, что, хотя огневая мощь у немцев невелика и бьют они вслепую, редкий снаряд не несёт пагубы.

– Вперёд! Быстрей! – торопят взводные.

За мостом, на улицах Гросс-Альтенбурга жарко ухает и татакает бой: ворвавшиеся в городок головные батальоны сметают гитлеровцев со своего пути. Дорога и городские улицы превратились в бурлящий, разящий огненный поток.

Под колёса виллиса, на котором ехал командир полка Сизых, угодила снаряд. Машину опрокинуло, шофёра убило. Майор, покрывтая от полученных ушибов и дивясь, что его не зацепило осколками и не придавило машиной, хватает выпавший из виллиса автомат и бежит в солдатской гуще в сторону моста. Возраст и комплекция очень скоро дают себя знать. Не только бельё и китель, но, казалось, и шинель насквозь промокли от ручьями текущего пота. Майор задыхается, в горле словно раскалённый шкворень, жгущий и не дающий дышать. Сердце готово лопнуть от натуги. Оно бухает, перекликаясь со взрывами снарядов и мин.

На обочине дороги вспыхивает груда какого-то хлама, снарядные ящики, что ли, не разглядеть. Несколько вражеских пулемётов миглом переносят огонь на освещённый пятячок. Сизых поднимает автомат и наугад, по пулевым трассам, посылает очереди. Точно так же стреляют и солдаты. Попал не попал – выяснять некогда, не до того, все устремлены вперёд, стараясь быстрее проскочить освещённое место. Майор останавливается. Не только бежать, но и просто переставлять ноги нет сил. Двое солдат подхватывают его под руки и почти волоком тащат с собой.

Вот он, мост, наконец! Это не просто переправа, это – разорванное кольцо, это – спасение, освобождение от тяготившего последние дни ощущения опасной неизвестности. По мосту бьют немецкие орудия, но не особенно удачливо, ведь мост не пристрелян. Уже на мосту, посылая очереди в сторону оставшихся позади вражеских позиций, немного отдышавшийся Сизых неожиданно осознает, что автомат его умолк, диск пуст. Видя это, один из его добровольных помощников протягивает ему свой диск.

– А сам как же? – успевает спросить майор.

– Добуду! – отзывается солдат.

Не останавливаясь, Сизых меняет диск, при этом роняет пустой. Искать в темноте, в грязи – бесполезно, да и рискованно – собьют бегущие.

Так они и двигаются дальше втроём, то трусцой, то спорым шагом. Если бы не солдаты, не одолеть майору этот маршрут.

На перекрёстке какое-то мгновение они колеблются: куда дальше? Впереди, в черноте городских кварталов, упреждающе взбрыхивает и свирепо мигает огненным глазом пулемёт, пули цокают по брусчатке, и группа сворачивает вправо, в уходящую вниз узенькую улочку, вслед за горсткой бойцов. Они скатываются в парковый мас-

сив, огибают озерцо и по скользкому склону, перебегая от дерева к дереву, поднимаются вверх. Неподальёку, кроя матом всю вселенную – от впряженных в пушку лошадей до всевышнего, – пытается выбраться из низины орудийный расчёт. Спутники майора подналегают, и лошади, чуя подмогу, тянут пушку в гору. Вот и конец подъёма. Они выходят на площадь и, как на острие кинжала, напарываются на пулемётную струю. Помогают развернуть пушку и вскрикивают радостно: пулемёт накрыт одним снарядом.

Бежать нет сил. Сизых опять задышается. Стоит на тротуаре, чужом, выложенном ромбиками бетонных плиток, опирается спиной о ствол каштана и хватает горячим ртом воздух. Ночь пошла на убыль, начала светлеть восточная кромка неба. Из боковой улочки выкатываются повозки, одна из них с боепитанием. Солдаты подсаживают майора в повозку. Немного погодя, когда сердце застучало чуть ровнее, он дозаряжает диск, жалея, что уронил второй.

Каким чутьём, каким расчётом определяют бойцы нужное направление – не сказать, не объяснить.

– Вперёд, вперёд! – подгоняют они себя, слыша, как отдаляются голоса и подголоски боя. А майор в эти минуты думает не о себе. Он помнит, что там, откуда они уходят все дальше и дальше, остался один из его батальонов. Остался навсегда.

.....

Сизых выставил у хутора за Шторхнестом батальон пехоты и батарею противотанковых орудий. Для немцев они должны были разыграть попытку прорыва, а на деле важно было не пустить врага в погоню за дивизией.

– Мы, однако, как в трубе, – толковал майор остающимся командирам. – С одного конца затычку вышибем, а с этого свою поставить надо. Держитесь, пока дивизия не проскочит.

Артиллеристы поставили пушки поближе к шоссе – в аккуратном садике, придорожных кустах, чтобы стрелять по танкам прямой наводкой. Пехота рассыпалась по кюветам, обосновалась в хозяйственных постройках, в подвале и на нижнем этаже жилого дома. Не успели толком закрепиться, как противник, поняв, что русские, только что сидевшие в мешке, вырвались, бросается следом. Но рельеф местности и собственные минные поля, которые еще недавно были его союзниками, теперь мешают и ему самому. Пройти можно только

по шоссе, а оно надёжно заблокировано. Одну за другой предпринимает он отчаянные атаки. Раскалились – вот-вот засветятся – оружейные стволы у обороняющихся. Батальон, в котором и так далеко не комплект, несёт ощутимые потери. Редуют и артиллерийские расчёты. Обозлётные неудачей, фашисты обрушивают на хутор огонь нескольких батарей. А батальон стоит, пушки одышливо стреляют.

Взводу Дубровина достался особняк над самым берегом реки. Впрочем, какой там взвод! Остатки. Какой особняк! Воспоминание одно. Все размещаются в одной комнате – бывшей комнате. Война рысью прошла по ней, наскоро похозяйничав. Потерявший одну ногу диван, кресло с торчащими из сидения пружинами, опрокинутые стулья, аляповатый комод, пытающийся спрятаться за висящую на одной петле дверь, окна без стёкол, печка зеркального коричневого кафеля, слегка выщербленного, – вот и все её достопримечательности. У пролома располагается с пулемётом, подставив под него кресло и ящики из комода, Старченя; у окна – старшина Артюх с противотанковым ружьём, у других – с автоматами Дубровин и Гуреев. У старшины перевязана голова, у Гуреева кисть руки. Уже несколько часов они держат оборону. Ночь доживает последние минуты. Догорает неподалёку сарай, освещавший подходы к позициям батальона и мешавший немцам скрытно приблизиться к ним.

Дубровин снимает каску, вытирает пот.

– Ещё одну отбили, – говорит он. – Какая же это по счёту?

– Ежели считать по дыркам на ватнике, десятая, – отзывается Гуреев.

– Нет, брат, двенадцатая, – возражает Артюх.

– Интересно, фриц суеверный? Рискнёт на тринадцатую? – размышляет Дубровин.

– Видать, не суеверный, – отвечает Гуреев. – Опять лезет.

– Давай, подходи ближе... – У Старчени руки затекли на гашетках пулемета. Кажется, он не дышит, выжидая нужный момент. И вот этот момент наступает: – Вось тебе подарунок! Ага, залегли?

К нему обращается Артюх:

– Закурим, Михась?

– Закурышь тут чорта лысого! – бранится тот. – Изнов иду, кабыны смолы напились!

Он вновь даёт очередь, другую. Не прекращают огня автоматчики.

– Присмирели. Надолго ли? – опускает автомат Гуреев и передаёт кисет с махоркой старшине: – Покури.

Артюх слепил самокрутку и буквально смакует её. А Старченя полусидит-полулежит, привалившись спиной к стене.

– Что, Михась, притомился? – спрашивает его Гуреев, но тот молчит. – Заснул? Ну-ну... А у меня рука болит, спасу нет! Как теперь в колхоз заявиться? Какой ты без руки работник?

– После войны отремонтируешь, – успокаивает его Артюх, а сам осторожно трогает Старченю за плечо. Тот не шевелится. – Убили, гады!.. Товарищ лейтенант, Старченю убили!

В это время Старченя, как ни в чём не бывало, всхрапывает смачно и переворачивается на бок. В иной обстановке это вызвало бы подначки и смех товарищей. Но сейчас не до смеха. Старшина взрывается:

– Ты что, издеваешься? По тебе панихиду правят, а ты дрыхнешь!

– И не спав я зусим, трасцу мне у бок, – оправдывается Михась. – Гэта у мяне такая хвароба.

– Немец тебя сейчас вылечит, – пообещал старшина.

– Всем отдыхать! – роняет лейтенант, а сам остаётся у окна.

– На лиха ж будили? – опять недоволен Старченя.

Глядя, как Дубровин неумело перевязывает себе руку, Гуреев предложил:

– Давайте помогу, товарищ лейтенант. Никак всурьёз зацепило?

– Обожгло малость, – отмахивается взводный.

Коротким оказывается перекур, недолгой обманчивая тишина. Солдаты слышат нарастающий гул моторов, лязг гусениц и вновь припадают к окнам и проломам. Правей, над дорогой, по танкам бьют артиллеристы, бьют редко, похоже двумя пушками. Видимо, это все, что осталось от батареи. Лязг гусениц всё ближе. Значит, танк прорвался. Значит, смял последние пушки. Нет, одна ещё стреляет. Танк наползает на позиции батальона. Светает, и гремящая металлическая коробка хорошо видна. Она движется медленно, уставившись жутким оком орудийного ствола в самую душу каждого солдата. Словно демонстрируя свою неуязвимость, пытаясь психологически подавить обороняющихся, танк размеренно и нагло приближается к дому. Старшина, заскрипев зубами, стреляет из противотанкового ружья, норовя угодить в гусеницу или смотровую щель. А танк все идёт, и, кажется, сейчас рухнут стены, остатки стен, содрогающиеся от его тяжёлой поступи. Танк, не стреляя выходит на прямую наводку. Да что на прямую наводку! Он хочет расстрелять засевших в

доме в упор, раскатать их гусеницами. Цепенеет от этого зрелища старшина.

– Ну и прёт! – еле слышно выдыхает Митрич.

– Зараз я ему нюхалку набью, – как-то буднично, обыденно говорит Старченя.

Он сбрасывает шинель, поправляет каску, подтягивает штаны и с противотанковыми гранатами в обеих руках ныряет в пролом.

– Михась, ты что, спятил? – кричит ему вслед Артюх. – Раздавит!

– Прикроем его, полоснём по амбразурам, – приказывает Дубровин.

Зачастили автоматы. Да что от этого танку! Как горохом об стену. В кирпичной пыли, поднятой танком, плохо видно Старченю. Он рывком перебегает к дороге и шмыгает за дерево. Неотступно глядят бойцы за этим неравным поединком. Каждый словно подгоняет Старченю: ну, давай, давай! И вот – взрыв, скрежет разорванной, сползающей на брусчатку гусеницы, а затем тишина.

– Даёт Михась! – восхищается Артюх.

– Как бы его сейчас из танка не накрыли, – беспокоится лейтенант, видя, как стальной хобот “тигра” поворачивается в ту сторону, откуда бросили гранату. Но Старчени там уже нет. Пока не осела поднятая взрывом гранаты пыль и гарь, он быстро возвращается к своим. Дубровин молча хлопает его по плечу. Старченя надевает шинель и садится на прежнее место, спиной к стене.

Подбитый танк снова поворачивает башню к стреляющим окнам и выливает на них пушечный и пулемётный огонь. Рушится кусок стены, вылетают остатки оконной рамы, с подоконника падает чудом уцелевший горшок с цветком. Все отскакивают от окон, затаиваются в простенках. Лишь Старченя по-прежнему недвижим. Обстрел длится недолго и стихает.

– Все целы? – спрашивает взводный. – За танком смотреть! Чтоб не вылезли. Старченя, к пулемёту!

Но тот не отвечает.

– Опять уснул. Как он ухитряется в таком аду? – поражается Артюх. – Невероятный человек! Ему дай волю – век бы не просыпался. Ну, сейчас я его от хворобы вылечу.

Старшина дотягивается до Старчени, чтобы пощекотать его. Но Михась недвижим. Артюх смотрит на свою руку, она в крови.

– Михась, ты что? Михась! – тормошит он Старченю, словно ещё не веря, что тот убит.

– По местам! – звучит команда взводного. – Танки!

На фоне посветлевшего неба вырисовались ещё две уродливые громадины. Они ползут без нашего оружейного аккомпанемента.

“Значит, батареи больше нет, – понимает Дубровин. – Значит, мы последний рубеж.”

Гуреев ползёт к пулемёту, пытается стрелять, но он безнадёжно исковеркан тем же взрывом, который убил Старченю. Митрич возвращается на своё место. Снова хватается за противотанковое ружьё старшина. Танки идут не так нагло, как первый. К тому же этот, подбитый, загоразивает им дорогу. Они уже издали начинают стрелять. Ожил и подбитый.

– Не дрейфь, гвардейцы! – подбадривает бойцов Дубровин.

– Нас всего трое, – сознаёт драматизм положения Гуреев.

– Нас батальон, – не соглашается лейтенант. – Что ж тебе полк, чтобы оборонять один дом?

– Патронов-то кот наплакал, – продолжал жаловаться Митрич.

– Кот может плакать, а нам некогда. Боезапасу у нас на десять минут. Десять минут и будем драться. Приготовились!..

.....

А дивизия стремительно катится всё дальше и дальше. Она прошла по тылам противника и теперь приближается к линии фронта, к тому месту, где, по расчёту Кудинова, должна встретиться с основными силами армии. Несколько часов длился этот бешеный кросс. Наступило утро.

И в это время навстречу пробивающимся накатывается канонада. Радостная, ликующая, спасительная! Это бьёт армейская – своя! – артиллерия, квадрат за квадратом накрывая позиции противника, пробивая в них проходы. Значит, сейчас встречным штурмом будет разорвана последняя преграда.

– Вот и всё! – почти не веря самому себе, по-мальчишески восторженно кричит Сизых.

– Ура! – вторят ему солдаты.

– Спасена дивизия! Но какую ценой! – хмурится генерал Кудинов.

А мысли майора рвутся назад, к Аистову Гнезду, к придорожному хутору, к оставшимся там заградителям. Ему даже кажется, что он слышит отзвуки далёкого боя.

– Как они держатся, однако, не понять. Тяжко тебе, Дубровин?
– мысленно спрашивает Сизых своего любимца, абсолютно уверенный, что он ещё держится. И будто слышит голос лейтенанта:

– Тяжко, товарищ майор. Нас осталось двое. Только что убит старшина. От батальона отрезаны. Да его и нет, батальона.

– Сколько атак отбили?

– Не считаем.

– Чем же ты отбиваешься, чертяка? Верно, ничего не осталось из оружия и боезапаса?

– Кое-что есть. Пулемёт, разбитый снарядом. Три противотанковых гранаты. Лимонок чуть больше. Автоматы есть. А патроны на исходе. Да и стрелять некому. Мы оба ранены. На нас идут танки. Нас обстреливают напрямую...

И вдруг всё обрывается. Сизых слышит резкую, как удар, тишину. Что, откатились немцы, не одолели Дубровина?.. Опомнившись, он понимает, что тишина здесь, а не там, что наши прекратили обстрел, приглашая кудиновцев к последнему рывку.

– Держись, Дубровин! Держись, гвардеец! – неслышно шепчет майор.

А в ответ тишина.

Глава седьмая

ГЕНЕРАЛ КИРПИЧНОГО ЦВЕТА

– Это случайность! – упрямо доказывал Кудинову пленный немецкий генерал, уже немолодой, но подтянутый, сухопарый. Передряги, в которых он побывал, конечно, поубавили ему лоска. Кирпичная пыль, четвёртый день висевшая над Кёнигсбергом, плотно въелась в его мундир, погасила зеркальный блеск сапог. Держался он с апломбом, разговаривал с Кудиновым свысока. – Случайность, генерал! Согласно законам войны, согласно военной науке, согласно военной истории, наконец, такое окружение немислимо. То есть, теоретически, конечно, кольцо вокруг Кёнигсберга могло сомкнуться...

– А оно сомкнулось и практически, – прервал его Кудинов.

– Но при этом должны были пострадать плотность и глубина вашего фронта, нацеленного на Берлин.

– Не пострадали.

Со времени прорыва из окружения Кудинов не сильно изменился. Резкая вертикальная складка прочертила его лоб – след тягостных раздумий о военных перипетиях, о солдатских судьбах. Да ещё, пожалуй, стал он сдержаннее. И сейчас говорил, не повышая голоса, на дерзкие реплики своего оппонента не сердился, отвечал лукаво и иронично.

А переводчиком, своего рода секундantom в этой генеральской дуэли был Костя Багрянов. В плену он пробыл недолго. Ему повезло. В ходе одной из операций была освобождена группа наших пленных, среди которых оказался и он. Для него это было, без преувеличения, возвращением с того света. И генерал не рассчитывал увидеть Багрянова живым.. Ведь он посылал его на верную гибель. И теперь, словно заглаживая эту свою невольную вину, он оберегал молодого солдата. Поначалу Кудинов, помня нежелание Кости идти “в писаря”, всего лишь два вызывал его в подмогу штабным переводчикам, когда у тех работы было невпроворот, а потом, к великому смятению Багрянова, и вовсе оставил его при штабе.

И вот он присутствует на допросе немецкого генерала. Впрочем, это был даже не допрос, а поединок двух военачальников, представляющих не только две разные школы военного искусства, но и два непохожих уклада жизни. Багрянов впервые видел такого важного пленного и робел почему-то больше перед ним, чем перед своим командиром. Он терялся, не зная, как передать и передавать ли надменный тон его речи. А потом спохватился: ведь Кудинов знает немецкий. К тому же тональность не требует перевода, Прокофий Матвеевич её уловит и без него.

– Вы просто не знаете военной науки, игнорируете правила ведения боя... – В голосе пленного звучало и раздражение, и обида.

– Тем огорчительнее вам, – поддразнил его Прокофий Матвеевич.

– Проиграли бой, оказались в плену вместе со своим штабом. И у кого? У не знающих военной науки русских.

– Чепуха! Ваш прорыв к моему штабу – случайность. Это вовсе не значит, что бой проигран. Его продолжают мои солдаты.

– Вы проиграли не только бой. Вы проиграли войну.

– Не говорите “гоп”... – неожиданно по-русски сказал немец. – Так, кажется, по-вашему?

В ответ Кудинов сказал по-немецки:

– Слава Богу, кое-чему восточный поход вас научил. Надеюсь, не только этому. – И опять перешёл на русский: – Скажите откровенно, вам снова захочется в драку?

Костя растерялся: переводить, не переводить? Ведь “собеседники” и без него понимали друг друга.

– Захочется? – переспросил комдив.

– Если успею, – ответил пленный. – А не успею я, будут воевать другие. Пока живы люди, войны неизбежны. Это в крови человека. Война – естественное состояние человечества. Она ему – как спортивно-гигиенический комплекс.

Кудинов усмехнулся:

– Естественное, с точки зрения Клаузевица... Или ваш кумир Мольтке?

– Полноте, – снисходительно ухмыльнулся немецкий генерал. – Цитаты, имена, ссылки на авторитеты – отнюдь не свидетельство эрудиции. Что вы, русские, можете знать о немецких военных доктринах? У нас любой ефрейтор даст вам сто очков вперёд.

– Раболопие немецких генералов перед ефрейтором общеизвестно, – парировал Кудинов.

Его слова обидели немца. Он нахохлился пуще прежнего, принял ещё более важный вид и вновь заговорил о невежестве русских военачальников, которые, конечно, даже не слышали о таких терминах, как “косая атака”, “объективный угол”...

– К чему экзамены, генерал? – одёрнул Прокофий Матвеевич чванливого вояку. – Лучший экзаменатор – бой. Он проэкзаменовал и вас, и нас. И оценка не в вашу пользу. Свидетельство тому – тот “объективный угол”, в котором вы сейчас сидите. Вместе с дорогим вашему сердцу Бюловом.

Костя и прежде восторгался эрудицией Кудинова, его интеллигентностью. А теперь он увидел его полемический задор, самообладание. И пуще прежнего влюбился в него. Даже готов был простить ему своё штабное положение.

– Бюлов – шарлатан, – поморщился немец.

– До вас это сказал, по крайней мере, ещё один человек.

– Кто же? – съязвил противник. – Сталин?

– Нет, Клаузевиц... Что, у вас и с ним натянутые отношения? – усмехнулся Кудинов, видя, как вновь поморщился генерал вермахта. – Его идеи – не ваши идеи? В том числе и идея “абсолютной войны”?

– Она безнадежно устарела.

– А идея “тотальной войны” нова? Ведьма та же, только рожа в саже.

Переводчик не нашёл немецкого эквивалента пословицы и перевёл её буквально. Пленный опешил:

– Как, как?

Костя попытался разъяснить смысл пословицы, но Кудинов перебил его:

– Это не военный термин... Так вот, лицуете старьё, генерал. Кстати, разве Мольтке отказался от идеи “абсолютной войны”? И разве определение войны как “биологического насилия”, на которое вы так усердно напираете, он украл не у Клаузевица?.. Плаггиатор ваш Мольтке.

– Вы не верите в немецкую военную науку?

– Я не верю в принципы, незыблемые на все времена.

Кудинов напомнил пленному, что немецкие военные теоретики пытались изобрести ключ к победе, рецепт победы, пригодный на любой случай жизни. И фридрихова “косая атака”, и четырёхступенчатая схема Виллизена, и пресловутые “Канны” Шлиффена – всё это отмычки, с помощью которых пруссачество лезло в чужие квартиры.

– Уж не учились ли вы в одной из наших академий? – схибно спросил немецкий генерал.

– Упаси Бог! – воскликнул советский комдив. – У нас свои есть.

Пленный сидел на предложенном ему стуле. Сидел, закинув ногу на ногу и положив на колено ладони с переплетёнными пальцами. Сидел прямой, как столб, не касаясь спинки стула. Он вещал, а не говорил. А комдив не мог отрешиться от ощущения, что слушает граммофон с ограниченным набором пластинок. Ни одной собственной мысли. Всё расписано и разложено по полочкам: от великого Фридриха до великого Адольфа. Об этом он и сказал вслух, добавив при этом:

– Неужели за всё время ни одного сомнения, раздумья?

– Я солдат. А солдат стреляет, а не думает.

– Старый добрый прусский принцип: не рассуждать!

– Напрасно иронизируете. Армия – бессловесный инструмент в руках богом избранных вождей.

– Так это у вас. А у нас и вождей не боги избирают, и солдаты не только стреляют. Наш солдат на голову выше. На ту самую голову, в целесообразности которой вы сомневаетесь.

– Больше того, я убеждён в её нецелесообразности. Голова – самое уязвимое место солдата. Попавшие в неё пуля и идея одинаково смертельны. Немецкий солдат знает одно: всякий русский – его враг.

– Старики, женщины, дети тоже?

– Старик – вчерашний солдат, ребёнок – завтрашний солдат, женщина – машина, производящая солдат.

– Русский солдат Степан Муравьёв погиб, спасая немецкого мальчишку. Хотя вы убили у Степана его сына, жену, родителей.

– Это сентиментальная барышня, а не солдат.

– Спорить с вами – утомительное и бесперспективное занятие!

– Кудинов в досаде встал, швырнув на стол карандаш, который по привычке вертел в руках. Следом, не торопясь, очень чинно встал и пленный. – Вы, немцы, признаёте один аргумент – силу. Так вот там, за стенами, заканчивают спор пушки. На головы ваших солдат падают наши аргументы. Очень веские аргументы!

Может быть, поединок двух военачальников на этом и завершился бы, но вошёл адъютант и что-то сообщил комдиву, наклонившись к самому его уху. Тот отмахнулся было, но адъютант настаивал и вслух сказал:

– Любопытный экземпляр.

– Любопытный, говоришь? – сдался Прокофий Матвеевич. – Ну, давай!..

Ввели пленного офицера, небритого, неряшливого, в красном от кирпичной пыли, потрёпанном мундире, без головного убора.

– Хорош вояка! – подивился русский генерал. – Ну, и что вы мне можете сообщить?

– Я хочу спать, – проговорил офицер, глядя перед собой невидящими, полубезумными глазами.

– Важная новость! – саркастически заметил Кудинов.

– Я не спал сто лет, – продолжал пленный, не слыша реплики русского генерала. – В аду спать невозможно. А Кёнигсберг стал адом. Города больше нет. Ничего нет!

– Вы не офицер, вы тряпка! – брызгая слюной, рывкнул немецкий генерал.

Офицер на секунду опешил, увидев своего генерала в русском плену, а затем засмеялся ему в лицо.

– Так точно, экселенц! Слушаюсь, мой генерал! – паясничал он.

Багрянов едва успевал переводить их перепалку, за которой с любопытством следил Кудинов.

– Стыдитесь! В каком вы виде! – забыв о благопристойности, буквально орал генерал.

– Что вам не нравится, экселенц? Дыры на моём мундире? Так они от пуль и осколков... А-а, понимаю, вам не нравится цвет мундира – красный... Ха-ха! Красный офицер вермахта...

Было непривычно видеть у приученного к порядку, выдрессированного немецкого офицера дерзкое непочтение к субординации. Это, конечно, оттого, что он был явно не в себе: то впадал почти в бредовое состояние, то вновь обретал ясность мысли. “Да, любопытный экземпляр! – согласился Кудинов. – Вот каково им в осаждённом Кёнигсберге!”

– Да, у меня красный мундир, – продолжал дерзить офицер. – А вы посмотрите на свой, генерал. Он тоже красный. Вы красный генерал вермахта! Сейчас каждый немец в Кёнигсберге красный, потому что воздух красный. От кирпичной пыли, от развалин наших домов, господин генерал... Вы видели, как небо падает на землю, а земля убегает из-под ног? А я видел. Всё перемешалось. И не поймёшь, чего больше на улицах – камня или металла. Или наших трупов. Я видел свой труп. Я наступил на него, и он взорвался, как бомба... День и ночь на нас падают бомбы и снаряды. И день не отличишь от ночи. Днём темно от дыма и пепла, ночью светло от пожаров. Я тоже сгорел дотла. Я вышел из блиндажа и не узнал города. Я не знал куда идти. Кёнигсберг погиб! Все гибнет, все рушится. От осколков снарядов, от воя бомб негде укрыться. А вы укрылись здесь?.. Спрятались?

– Молчать! – остервенело закричал генерал.

– Я всю свою жизнь молчал, – закричал в ответ офицер. – Я свято верил. Нас учили, что наша война – бунт религии против безбожия, бунт христианских рыцарей, идеальных людей против грязной, невежественной черни, против варваров. Все, кроме нас, – животные, скоты, трусы. Стоит уничтожить их жилища, их детей и жён – и они обращены в рабов. Я жёг их дома, убивал их детей и жён! Почему же они не стали рабами? Почему, генерал?.. А теперь я в плену у красных. Я красный. Красный христианский рыцарь!

– Ты предатель, а не рыцарь! Тебя ждёт виселица! – продолжал кричать генерал.

– Это вы предали Германию, бездарные генералы и бездарные политики! – не уступал офицер. – А я готов уничтожить Германию, чтобы ею не управляли коммунисты... А виселица-то будет двухмес-

тная, экселенц, – тихо засмеялся младший по чину. – Вы ведь тоже в плену у красных. Генерал кирпичного цвета!

Он сказал эту фразу с расстановкой, со зловещим присвистом, вкладывая в неё весь сарказм, на какой был способен.

“И впрямь, – подумал Кудинов, – оба они кирпичного цвета”.

– Избавьте меня от этого фарса, – обратился к нему немецкий генерал. А когда офицера увели, сказал: – К чему этот спектакль? Надеюсь, на примере одного шизофреника вы не будете убеждать меня в деморализации германской армии?

– Не буду, – подтвердил хозяин положения, – вы со мной не согласитесь всё равно, а сам я давно убеждён в деградации вашей армии. Да, армия, воюющая не за правое дело, деградирует. Вот и ваша тоже. И в этом одна из причин её гибели.

– Мы не погубили, – хорохорился пленный. – Моя временная неудача ровным счётом ничего не доказывает. Я должен был энергичнее контратаковать. Группа прорыва промедлила.

– И сколько же было в группе прорыва?

– Всего один полк с небольшим числом танков.

– А держал вас батальон, да и тот не пополнялся с начала наступления.

– Тем более, это случайность. Я в плену, но моя дивизия боеспособна. Она отбросит вас, и – кто знает! – не пришлось бы нам поменяться ролями.

Русский генерал засмеялся:

– Мы с вами уже один раз менялись ролями. Под Гросс-Альтенбургом. Помнится, мне тогда удалось вырваться из вашего кольца. Похоже, наше колечко покрепче...

– Ерунда! Моя дивизия...

– Я приказал построить вашу дивизию вместе с артиллерией и обозами. Вы можете лично вести её в тыловой лагерь.

Немец оторопел и долго молчал.

– Моя дивизия в плену? – наконец спросил он. И не было в его фигуре ни подтянутости, ни чопорности. Он постарел сразу на несколько лет. И беспомощно опустил плечи, когда услышал:

– Ваша дивизия разбита., в плену её остатки.

– Это случайность... – как заводной, повторял пленный, и казалось, что он сам не слышит своего голоса.

– Товарищ генерал, – появился адъютант, получено сообщение: Ляш капитулировал!

Не дожидаясь приказа, Костя перевёл это сообщение для немца, причём выкрикнул его с возможно большим энтузиазмом.

– Немыслимо! – окончательно сник немецкий генерал. – Такая крепость... Немыслимо!

– Мыслимо, мыслимо, генерал! – возразил ему Кудинов.

Глава восьмая

И СКАЗАЛ ЧЕЛОВЕК...

Когда, поднятый доярками, Константин Иванович окончательно пришёл в себя и уселся в уазик, он решил: надо срочно позвонить в Москву, узнать, как там Прокофий Матвеевич, не наделала ли бед злополучная статья. Примчался в правление, заказал телефон и стал ждать. Ждал долго, много курил и наконец услышал:

– Нет Прокофия Матвеевича.

Не успел он уточнить, что значит нет, не успел испугаться кольнувшей сознание догадки, как женский голос (видимо, жена) повторил ту же фразу, дополнив её всё объяснившим словом:

– Нет больше Прокофия Матвеевича.

Багрянов не помнил, какие слова утешения говорил и говорил ли их вообще. Помнит только, что бранил зловерный журнал и его бессовестных авторов.

– Ответить им он уже не сможет, – сказали из Москвы.

“Лететь немедленно!” – решил он и через полчаса нёсся в аэропорт.

Сидя в кабине рядом с шофёром, в непривычной для себя роли пассажира, Константин Иванович без конца повторял кудиновскую фразу: “Застольные вояки”! Не без участия таких вот беспринципных писак уходят из жизни старые солдаты.

Багрянов вспомнил, как в последний день гостевания Прокофий Матвеевич потребовал провезти его по маршруту своей дивизии, выходящей из окружения. И они поехали.

– Значит, не подался в науку? – спрашивал Кудинов. – Тебе спокойнее. А меня некоторые теоретики, пороку не нюхавшие, войну, как лягушку, препарирующие, одолевают упрёками: мол, долго топ-

тались у прусских ворот. В октябре пересекли границу, в январе стали наступать, а Кёнигсберг штурмовали вообще лишь в апреле. Я человек резкий и, как всякий старик, категоричный. Я таким теоретикам прямиком режу: это не научный подход!

– Ну, это, наверно, слишком, – спорил Багрянов.

– Ничего не слишком, – стоял на своём генерал. – Этим умникам понадобилось полсотни с гаком лет для такого заключения. У нас же были часы, в лучшем случае – дни. Нас можно ругать за детали. А по большому счёту, операция проходила как надо.

– Если бы вы сейчас...

– В основном, я действовал бы так же. И, думаю, командование фронта тоже... Я уж не говорю об усталости войск, необходимости пополниться и переформироваться. Не говорю о том, что немцы, и без того вояки справные, на своей территории утроили старание. Как они нас здесь прижали, вспомни... Ну вот. Речь о том, что нельзя вырывать одну операцию из общего хода войны. Каково её место в общей стратегии? Как она вяжется с боями главного направления? Так ведь?

– Так, – согласился Багрянов и тут же возразил: – А разве не было ошибок, просчётов?

Генерал не ответил, отвлёкся на красивый пейзаж за окном, а затем заворчал, возвращаясь к прерванной теме:

– “Надо было так, не надо было этак...” Сейчас, с высоты лет рассуждать просто. А вы бы попробовали сами, господа рассудисты!

– Знаете, Прокофий Матвеевич, я, может быть, не такой брюзга, как ваши оппоненты, но иногда ловлю себя на крамольной мысли. Знаю, что она крамольная, нелепая, а ведь не отмахнёшься... В ваших руках, в руках военачальников, были судьбы многих тысяч людей. По вашему приказу мы шли на смерть...

– Хочешь спросить, не болит ли у меня душа? Не гложет ли совесть? Нет, душа не болит, совесть не гложет. Солдата всегда жалел, но с каждым убитым себя не хоронил. Во имя чего мы посылали вас на смерть и умирали сами?

– Во имя жизни, пожалуй.

– Вот именно! Каждая смерть – это спасённые жизни. Много жизней! Вот что давало нам право посылать вас на смерть... Застольные вояки – я их по-другому не называю, за письменными столами воюют – так вот, они твердят: надо было сходу! Конечно, можно было сходу. Только стоило бы это дороже. И неизвестно, чем бы закончилось. И хоть поётся “Мы за ценой не постоим”, мы всегда думали о

цене. Да и уместен ли здесь торгашеский принцип? Ведь о жизни и смерти речь!

– И всё же, разве не было ошибок? – опять спросил Константин Иванович.

– Были. И особенно больно, когда из-за этого гибли люди... А можно было без ошибок? Можно было предвидеть всё до малейших мелочей?.. Молчишь? Сейчас легко обличать и упрекать. Вот и ты упрекаешь.

– Упаси Бог! – искренне обиделся Константин Иванович. – И в мыслях не было.

– Было! В тоне твоём чую некий укор. Ты упрекаешь меня в жестокости. Да, мы были жестоки. И я был жесток. Время было жестокое. Так диктовало оно, так диктовала война. Здесь погиб ваш батальон. Но если бы не погиб он, погибли бы другие и погибло бы много больше. Судьба дивизии была поставлена на карту... Понимаю, за этим разговором твои собственные терзания. Тебе горько оттого, что ты не был с ребятами в их последнем бою.

– Я один остался в живых...

– И чувствуешь себя виноватым перед погибшими. Тебе было не легче. Я послал тебя в самое пекло. Послал на верную смерть. И что ты остался цел, до сих пор чудом считаю. Не было у тебя шансов уцелеть. Так что не терзайся!

– Но вы-то терзаетесь? Вы словно оправдываетесь передо мной?

Генерал вздохнул и, помолчав, сказал:

– Терзаюсь. Ведь какая коллизия возникла! Не пошли я тебя с этим заданием – ты бы погиб вместе со всеми. И я бы не терзался. Это война! Неизбежные жертвы! А послал на смерть – спас. Радоваться бы, а я терзаюсь. Умом-то понимаю, что не виноват перед тобой, а душа твердит: виноват! Считаю, потому и приехал.

– Нет, не виноваты, Прокофий Матвеевич. И если есть у меня право снять с вас эту болячку, делаю это.

Прокофий Матвеевич хлопнул его по плечу, то ли принимая нравственный дар, то ли говоря: изменить ничего нельзя; что было – то было.

.....

Объясняя, горячась, доказывая, стуча себя в грудь, он долго выпрашивал билет до Москвы. Убедил, уговорил. Правда, не на ближайший рейс, а на следующий. Так что времени у него было много.

Константин Иванович поднялся в зал ожидания. “Посижу у телевизора”, – рассудил он. Но телевизор не работал. Народу было не густо. Багрянов прошёл вперёд, уединился и стал обдумывать, какие слова скажет на панихиде. Неплохую, как ему казалось, речь выстроил. А потом спохватился. Ведь хоронить-то будут “большого генерала”, и люди будут большие. Дадут ли ему слово? Скорее всего, не дадут. Да и речи, наверно, будут казённые, важные, а Прокофий Матвеевич достоин слов живых, искренних.

“Цветы достану ли? – подумал он. И сам себя успокоил: – Москва всё же! Люди подскажут, где чего взять.”

А может быть, не на официальной панихиде, а потом, на поминках слово попросить? Там проще. Впрочем, ведь и на поминки придут те же люди. Пожалуй, лучше не оставаться на поминки. Кто он такой? Что за друг генералу? Да, лучше сразу уехать.

Константин Иванович и не заметил, как задремал, убаюканный своими мыслями и монотонным гудением аэровокзала. И вдруг не то во сне, не то наяву услышал насмешливый девичий голосок:

– Нет, Севка, и это не понравилось!

– Ладно, прочту ещё одно, – отозвался второй голос, с намёком на бас.

– Что ты! Что ты! Не надо больше. Весь аэропорт переполошишь. Вон уже дети плакать стали.

Константин Иванович обернулся. Зал опустел. Кроме него и этой парочки никого не было. Парень с девушкой сидели в дальнем углу, не обращая внимания на одинокого старика. Как нетрудно было догадаться, парень читал своей избраннице стихи. А она, счастливая своей молодостью, любовью, весенним вечером, негромко хохотала без умолку и поддразнивала его.

– Слушай, Лена, почему ты надо мной смеёшься? – обижался парень.

– Потому что ты смешной, – заливалась она. – В наше время так стихи не пишут. Старомодно! Прошлый век!.. Значит, кто любит – готов для любимой на всё. Да? А ты?

– И я.

– На всё готов? На всё, на всё?.. Тогда, знаешь что, принеси мороженого...

Парень нехотя поднялся и подался в сторону кафе. И когда уже спустился вниз, она свесилась через перила и выразительным шёпотом произнесла:

– Севка, слышишь? Мне нравятся твои стихи. Очень!

И убежала по другой лестнице.

Багрянов слушал поражённый. Жизнь повторяется, да? Мёртвые возвращаются? Ведь это же они, его незабвенные друзья, его Севка и Елена из далёкого сорок пятого – и эта восторженная хохотушка, и её белобрысый, с хохолком на макушке кавалер. Они? Севка Тетерников и санинструктор Елена? Скорее всего, Багрянов именно сейчас, сию минуту, подсознательно перенёс на их облик черты тех двоих. Да ещё магия имён! А может быть, этот юный поэт и его поклонница и не называли имён? Скорее всего, не называли. На них, и опять подсознательно, и опять сиюминутно, он перенёс имена тех, таких далёких и таких близких Севки и Елены.

За стеклянными стенами аэровокзала темнело. Пора, подумал Багрянов, не опоздать бы. Внизу – было слышно – плакал ребёнок, и добрый голос матери ворковал над ним, утешая. Ребёнок перестал плакать и, недолго помолчав, залопотал о чём-то своём, очень серьёзном и очень важном. И пуще прежнего заворковала мать:

– Да кто это там заговорил? Это наш большущий человек заговорил. И что он такое сказал, наш человек?

Мать и дитя, играя, говорили о сокровенном. Они прекрасно понимали друг друга – знающая земные беды и радости мать и ещё ничего, даже слов человеческих, не знающий малыш.

Константин Иванович слушал их счастливый щебет, и в памяти тревожно звучало севкино:

– И сказал человек...

КРЕСТНИК

ПОВЕСТЬ

Шёл солдат из войны много лет,
Шёл из мрака на милый рассвет,
Шёл... Как будто он не был убит,
Не был в землю сырую зарыт.

Владимир Герасимов

Он вышел из леса чуть дальше той самой прогалинки, которая обычно выводила его на дорогу. Не рассчитал, старею, укорил он себя, тяжело одолев кювет и направляясь по обочине шоссе сперва к роднику – напиться и отдохнуть, а потом к памятнику, где всегда оставлял машину. Он устал, и корзинка с грибами казалась ему тяжелой.

Всё утро бродил он по заветным местам, безошибочно, почти нюхом определяя, где какой гриб искать. Встречались грибники, у которых было по полкошёлки, не больше, причём самого непереносимого разногрибья: сыроежки, свинушки, подорешники... Удивлялись, как это ему удаётся набить корзину отборными крепышами: подберёзовиками да подосиновиками, а из-под них и белые хвастливо оказывают свои поджаристые шляпки и могучные, красивого коричневатого-жёлтого оттенка стволы. Он не говорил: ножки. Стволы – крепче, по-военному. Его радовали удивлённые ахи и охи незнакомых людей, в сердце шевелилось что-то вроде гордости – умею, могу!

Лес мало знать, его чувствовать надо, считает он. Этому не научишь. Это либо от Бога, либо от опыта. И потому, когда его спрашивают: “Где это вы столько насшибали?”, – он поводит рукой в разные стороны: “Выходит, что тут, в лесу”. Он не жадничает, не таит грибных мест, но убеждён, что у каждого должны быть свои делянки, каждый находит их сам. Не умешь? Ходи почаще в лес, научишься. Это от опыта, сказал он вслух. Спыхватившись, что говорит сам с собой, смутился и повторил мысленно: от опыта. И добавил, усмехнувшись: то есть от старости.

Он чаще стал задумываться о возрасте, ощущать его неожиданной одышкой, сердцебиением, неприятной потребностью остановиться, передохнуть. Хотя ходил всё ещё много. И нынче, конечно, километров двадцать одолел. Старость его не тревожит. Потому, во-первых, что пришла она незаметно, он ощущал себя таким же, как бывало, только потяжелее стал, да вот одышка, да память подводит.

А во-вторых, он воспринимает приход старости как неизбежность. К этому его приучил Михаил, его дружок.

– Шо такое есть старость? – философствовал, бывало, Мишка.
– Это есть наивысшая форма развития молодости.

– И конечная, – мрачно реагировал друг на Мишкину шутку.

– От то ж, шо не конечная, – перечил Михаил. – Конечная – то будеть смертушка...

– Придёт и она, не задержится.

– Ну и хай приходить, не дюже боязно. Походили мы с тобою по свету, много чего повидали. Зараз хай другие поглядять. Уступаю место...

Такой он был, Мишка. Он и в войну смерти не боялся. Не то что Захар. Нет, Захар тоже был не трус. Девчонку, дочку приёмную, второй раз осиротить не хотел...

Метров пятьсот отстучали старые его кирзачи по асфальту, пока привели старика к вожделенному месту. Он спустился с дорожного полотна в затенённую, сыроватую ложбину. Там не очень резво выбегал из земной глуби благодатный ручеёк. Старик поставил на землю кошёлку, где поверх грибов лежал на папоротниковой подстилке букет лесных цветов, крикнув, опустился на скамейку, снял с головы выгоревшую кепку, извлёк из кармана комканый носовой платок и отёр лысину.

Сразу пить холодную воду нельзя, надо просохнуть, отдышаться. А то, не ровён час, и захворать можно, а главное – удовольствия никакого. Испить родниковой водицы – всё равно что у батюшки, в церкви причаститься, говаривал Михаил. Друг унаследовал от Михаила любовь к пословицам, знал их великое множество, народных и Мишкиных, добавляя к ним свои речения, не больно заботясь об авторском праве и не зная точно, вспомнил или придумал он ту или иную пословицу.

Солнце поднялось уже высоко и, пробивая густую августовскую листву, грело ему темя, спину под чёрным недорогим пиджаком. Он быстро отдыхал, ощущая, как возвращаются небогатые стариковские силы. Потом встал, снова крикнув, и подошёл к источнику. Не наклонился, не присел на корточки, а стал на колени и низко опустился всем телом, будто перед иконой поклоны отвешивал.

– Шоб водицы напиться, треба кринице поклониться, – любит он повторять придуманный Мишкой афоризм. Михаил был южанином, и до конца дней сохранил протяжный, “гэкающий” говор.

Старик тянул ладони к роднику, набирал полные пригоршни и неторопливо глотал. Глотал то, что почитал самым вкусным, самым целебным на свете. Напившись, встал с колен, отёр губы наждачной шершавости ладонью, отряхнул сор с пузырящихся на коленках штанов, надел кепку, нацепил на руку корзину с добычей и неспешно зашагал к своему старенькому “Москвичу”.

Несколько машин стояло рядом с его таратайкой, люди осматривали памятник, имитирующий подбитый танк, цветы положили. Всё по-доброму, все путём! – отметил он про себя. А когда видит, что фотографируются у памятника, он злится. Потому что не ради памяти приехали, а ради себя. Запечатлеться подле чужого подвига, чужой смерти.

Как все старики, он ворчлив и категоричен. Если что-то не по нёму, режет прямиком, отчитывает, не выбирая слов, обижает людей, считает, что делает замечание, воспитывает. Иные сносят его брань молча, другие “заходятся”, нет-нет да и возникают скандалы, после которых он долго не может прийти в себя и возмущается: “Вот она, теперешняя молодёжь! Ничего святого. Ни во что не верят. Нет, мы были не такие”.

Конечно, он, его друзья Мишка и Захар, всё их поколение были не такие, но они не думали о том, что и про них говорили когда-то: “Вот она, нынешняя молодёжь!.. Мы были не такие”.

Он уселся в “Москвич”, ёкнувший и осевший на левый бок под его немалым весом, погонял стартёр, почертыхался, пока запустил одышливый движок, прогрел его, сдал назад, чтобы развернуться, перекрыл дорогу тем, кто ехал со стороны Главного порта. Те закрипели тормозами и засигналили, а он невозмутимо буркнул: “Переживёте!” – и потихоньку покатил в сторону Большого города. Его обгоняли и глядели назад кто возмущённо, кто насмешливо, а он и не старался выжимать много из своей “лошадки”, зная, что резвосты у неё не больше, чем у него самого.

Миновал один поворот, другой. Вот слева от дороги сидят бабушки. У каждой на подстилке и в вёдрах с водой цветы. Здесь, у входа на кладбище, он остановился. Надо обязательно заехать к Мишке, сказал он себе ещё рано утром. Цветов у бабок он не покупал, собирал сам в лесу. Михаил любил лесные цветы, знал их по именам, толковывал и ему, но он не запоминал. Зачем? Цветы – да и всё! Какая разница, как они называются. А сейчас пожалел, что не запомнил: знал бы, что собирать, и Мишке было бы приятно.

Он запер дверцу машины на ключ. Бабки не зазывали его, как других, видя, что букет у него есть. Он прошёл в глубину кладбища, дивясь, как быстро растёт этот своеобразный город. Давно ли оно называлось новым, а уже перенаселено.

Михаила не стало нынешним летом. Друг хлопотал о местечке на старом кладбище, в городе, но не выхлопотал. Рангом Мишка не вышел. Солдат! Выходит, и моё место тут где-нибудь, без обиды, без горечи думал он. Это, наверно, тоже от Мишки, что твердил ему:

– Ты шо, вечно жить запланувал? Не будеть такого! Всяк у свой час приходить и уходить. Помнишь, как Захар сказал тогда?.. От то-то ж! У каждого своя точка.

Он помнил, как погиб Захар, помнил его слова, сказанные перед смертью, обычную бесхитростную фразу, которая теперь обретала определённую символику. Да, верно, у каждого своя точка. Успеешь ты свою жизнь дописать или нет, а всё равно – точка будет поставлена.

Похоронив Михаила, он остался совсем один. Жена умерла много лет назад, дети разъехались по белу свету. Изредка пишут, зовут к себе, но он ценит свою независимость и обузой им быть не хочет. Управляется сам. Не всегда обстиран и сыт, но на жизнь не ропщет. Солдату не привыкать!

Когда был чуть-чуть помоложе, пытался найти себе вдовушку. Вычитал брачное объявление, в котором посулы были умереннее, чем в других, соблазнился и пошёл на свиданку. Дама оказалась далёкой от нарисованного ею в объявлении облика. К тому же сразу зафыркала и закапризничала: он пришёл без цветов. Конечно, промашка с его стороны вышла, в чём он честно сознался. Да ведь не за цветами она пришла. А когда на его привычку ходить руки за спину она поморщилась: “Господи, как арестант”, – он молча повернулся и, не попросившись, убыл восвосяси, сказав претендентке на его руку (про себя, конечно): “Кубышка! Что вверх, что виришь – метр с четвертью”.

Больше он искать подругу через объявления не отваживался, помня, что бегущие от одиночества красавицы на запросы тароваты, а на ласку скуповаты. Такую он тогда сочинил пословицу, имея в виду под словом ласка не любовные забавы, а взаимную заботу, в чём больше всего нуждался сам и что намеревался принести своей избраннице. А эгоистичной даме, как видно, нужен был слуга, мальчик на побегушках.

– Цветочки ей подавай! – бранился Мишка, узнав от приятеля эту историю. – У тебя ж в душе букет, а может, и целая клумба. Нет шоб глянуть... А ты молодцом! На провокацию не клюнул. Не бежал позорно, а организованно отступил. Шоб в плен не попасть. Не то танцевал бы коло неё целый век.

– Сколько того веку осталось! – отмахивался он.

– Не кажи! – возражал Михаил. – Мы ще с тобою – ого!..

Старик прошёл в самый конец ряда, где над песчаным холмиком стояла традиционная дощатая пирамидка с жестяной звездой. Фотографию Михаила он сам приладил, в аккуратной рамочке, чтоб дождём не мочило.

– Уж ты, Миша, не серчай! – молвил он покойному другу. – На оградку да на памятник моя пенсия не потянет. Да и не в камне память, а в душе.

У Михаила никого не было, кроме него. Так они и жили, заботясь друг о друге, изредка поругиваясь, но не зло, не обидно, быстро мирясь. А теперь ни поговорить не с кем, ни посоветоваться, ни поцапаться.

Он отделил от букета половину, положил на могилу и сказал:

– А это, Миша, тому завезу. Нашему крестнику... И к Захару заеду. Пора, понимаешь, побывать. От тебя поклон передам.

Он посидел у могилы друга на скамейке, которую сам сколотил, поговорил с Михаилом где вслух, где мысленно. На одиночество своё пожаловался, повздыхал:

– Думаешь, почитают нашего брата? Выходит, что не очень...

И тут же спохватился:

– Нет, обижаться грех! И пенсию вовремя дают, и открытки к празднику присылают. А только обидно бывает. Знаешь, кто мы с тобой? Нет, не ветераны, не солдаты. Мы с тобой мероприятия. Мы придём, с молодёжью погутарим, а кто-то в тетрадочке птичку поставит: мероприятие было. Да-а...

Сколько он так просидел и проговорил с Михаилом – кто знает. Время не засекал, на часы не глядел. Отвёл душу, наговорился, почувствовал облегчение и встал со скамьи.

– Ты что ж, старый, букет назад несёшь? Совсем из ума выжил? Аль могилку не нашёл? – накинулась на него одна из торговок цветами.

Ссориться у такого места он считал святотатством, а вступать в объяснения с беспардонной бабой тем более было ни к чему, и он

молча прошёл к своему лимузину. На этот раз не успевший остыть двигатель завёлся сразу, и “Москвич”, поскрипывая и позвякивая, покатился дальше.

Надо было выбраться на соседнее шоссе, и он решил сократить дорогу. Свернул направо, потом за зелёным массивом ещё раз направо и, миновав двухъярусный мост, поехал не к вокзалу, а в сторону порта. И опять прав оказался Михаил, сказавший в своё время: “Не выгадывай – прогадаешь!” Он прогадал: сначала один, потом второй переезд оказались закрыты. Пришлось ждать, пока тепловоз неторопко толкал туда-сюда рефрижераторные вагоны с океанской рыбой.

Он посмотрел на часы и удивился. Оказывается, время давно уже перевалило за полдень, а он и не заметил. Пора бы пообедать. Ладно, сказал он себе, есть где перекусить. Иногда по пути он останавливался в маленьком городке и заглядывал в тамошнюю столовую. Ему нравился её простой, без претензий интерьер и такое же простое меню.

Но нынче столовая огорчила его. День был рыбный, а рыба невкусная, и он начал раздражаться. Отчитал поварику, но та его лихо отбрила:

– Кормись дома! Марципанами.

То ли оттого, что не знал, что такое марципаны, то ли оттого, что терялся перед хамством, он не нашёл ответных едкостей-колкостей, махнул рукой досадливо и направился к выходу. Здесь, у буфета, гомонили парни, толпившиеся за пивом.

– Не на базаре! – рыкнул он на них. – Можно бы чуть-чуть и потише.

– Не замай! Уронить можем, – пригрозил один, обидевшийся.

– Ну, чего ты! – толкнул того в бок другой, необидчивый. И пригласил: – Иди к нам, отец! Пивом угостим.

Старик и угрозе, и приглашению не придавал значения и долго, уже сидя в машине, бухтел:

– Ничего святого! Одни бутылки на уме.

На выезде из городка не очень давно построили и видом, и размером впечатляющий мемориал. Здесь и похоронен их с Мишкой крестник.

Оставив машину на обочине шоссе, он проследовал к тому месту мемориала, где недавно к длинному списку имён прибавилось ещё одно. Фигурально говоря, они с Михаилом вписали это имя.

С залива принесло прохладу, закивали зелеными шапками берёзы, легкий шелестящий шум пробежал по макушкам близкого леса. Пылевой столб покрутился на дороге, перешагнул изгородь и затерялся в садах и огородах.

“К дождю, не иначе”, – подумал ворчун.

Он положил на плиту вторую половину букета.

“От нас с Мишкой”, – хотелось ему сказать, но он ничего не промолвил, лишь вздохнул до боли сердечной, едва не до слёз, вспомнил, каким непростым был путь этого солдата сюда, к мемориалу, с каким дремучим равнодушием, ледяным холодом пришлось друзьям столкнуться, пока хоронили они своего “крестника”.

Как оно в жизни бывает? Ищешь одно, а находишь другое. Так и тогда вышло: искали они Захара, а нашли этого.

В тот памятный день поехали они с Мишкой к Захару. Это не очень далеко. Вот по этому самому шоссе, за этим городишком надо свернуть на плохо накатанную, ухабистую просёлочную дорогу. Михаилу ничего, а он всякий раз, съезжая на эту дорогу, испытывал острую тревогу за автомобиль: не застрял бы, не заглох бы. Но “Москвич” не подводил, не заглох и в тот раз.

– Ну вот, дотянули, – облегчённо вздохнул он, когда показался старинный серый массивный дом, взятый в полукольцо изрядно запущенным садом.

Рассказывают, что здесь было имение Паулюса, вроде не того, что осрамился под Сталинградом, а его братца или какого-то родича. Так ли это – не важно. Тем более это не имело никакого значения тогда, в сорок пятом, когда за этот “почти дворец” (Мишкины слова) зацепилась их рота. На несколько дней фольварк укрыл солдат от вражеского огня и балтийской промозглости. Впрочем, огня почти не было. Немцы откатились за речушку, бежавшую к заливу и отделявшую барский сад от барских полей, укрылись в недалёком перелеске и притаились. И рота после жарких боёв в Хайлигенбайле получила приказ отдышаться, пополниться и все такое прочее. Это были дни относительной тишины, реального намёка на близкий мир. Правда, намёк этот оказался обманчивым. Ведь именно тогда потеряли они с Михаилом своего друга.

Они миновали остатки некогда роскошных ворот; оставив “Москвич” там, где когда-то стояла их полевая кухня, обогнули дом и вышли к бетонному громоздкому крыльцу, двумя полукружьями сбегавшему к лужайке, с которой открывался вид на поросший бузиной

и крапивой сад, на хилую речушку, булькающую внизу, под осыпающимся обрывом.

Михаил зашагал вдоль берега вправо, к тому месту, где над самой кручей навис не успевший обрушиться мысок, удерживаемый корнями растущей неподалёку молодой берёзы. Михаил ушёл, а он остался на лужайке. На той самой лужайке...

Вот тут оно всё и случилось. И до чего ж нелепо вышло, то ли вспоминал он, то ли рассказывал самому себе ту давнюю историю.

...Помнится, ротный приказал тогда всем побриться и убрать космы, чтобы, говорит, мирное население от нас не шарахалось. У нашего ротного было такое присловье. Скажет что-нибудь и обязательно добавит: “Так?” Совсем не по-военному. И в тот раз, велел побриться, спросил: “Так?” А Мишка ему в ответ:

– Никак нет, товарищ старший лейтенант! От то ж выходить, шо не так.

Мы же совсем молодые были, по двадцать с небольшим. Да и сам старший лейтенант не намного старше, бывший учитель.

– То есть, как это – не так? – удивился он.

– Вы за мирное население зараз сказали, – пояснил Михаил. – А какое ж оно мирное, когда с каждого окошка палить!

– В того, кто палит, и ты пали, а других нечего пугать! – втолковывал командир роты и распорядился: – Постричь его в первую очередь!

Он убыл по своим командирским делам, а Мишка бросил ему вслед:

– Они меня и стриженного спознают. Я ж до них не в гости прыйшов. Войну им возвертаю.

А парикмахером у нас был как раз Захар. Вообще-то он не парикмахер, а овечий стригаль, но старшина изрёк в своё время:

– Какая разница, кого стричь! С ножницами управляешься – и вперёд!

С тех пор и стал Захар парикмахером.

В тот день было тепло, впервые за несколько месяцев солнышко выглянуло, весной запахло, и порешили генеральную стрижку учинить прямо в саду, на лужайке. Вот здесь – чуть правее или чуть левее? – стоял чурбачок, заменявший парикмахерское кресло. Сел тогда Мишка на тот чурбачок, а Захар спрашивает:

– Как стричь велишь?

Будто заправский цирюльник. А сам только и умел наголо.

– Значица, так, – в тон ему заказал Мишка. – Полечку, да шоб с чубом на пилотку.

Одеты мы, правда, были ещё по-зимнему, в ушанках, а не в пилотках. Но это Мишка так, для красного словца.

– Айн момент! Враз сварганим, – пообещал Захар.

Помню смеялись все – животы понадрывали. А Захар, всегда немного хмурый, разошёлся, ну до того разошёлся, будто напоследок за всё разом отвеселиться хотел. Закончил мишкин котелок карнать и осколок зеркала ему суёт:

– Битте-дритте! Как заказывали. Полечко ровное получилось, без единого стебелька. А чуб с собой возьмите, в карманчик. Потом приладите к пилотке.

Знать бы, что дальше будет, не смеялись бы мы так, не дурачились. Да и сказать по правде, когда на войне такой случай выпадет – эдак вот всем вместе пошутковать.

Кончил Захар нас скоблить – и давай нехитрый скарб свой в мешок укладывать. Перетрясал там что-то, и из мешка письмо выпало. Захар его бережно поднял, обдул со всех сторон, улыбнулся как-то по-особенному, нежно, в который раз доставая из конверта тетрадный листок и фотокарточку.

– Письмо вот получил из дому, – похвастался он, ни к кому конкретно вроде не обращаясь и в то же время обращаясь к каждому из нас. – Жена пишет: дочка отличница. Она у нас нынче в первый класс пошла.

И с такой любовью, с такой заботой он это сказал, что заскребло у меня на душе. И наверно, не у меня одного. Каждого, я так думаю, домой потянуло: кого к жене с детишками, кого к матери с отцом. А Мишка ещё не отошёл, как видно, от той шутильной стрижки и решил подразнить Захара.

– Откуда у тебя дочка? – изобразил он глубочайшее недоумение. – Не можеть у тебя быть дочки! Сам же говорил: только-только перед войной оженился.

– Молод ты ещё, – степенно разъяснил Захар, хотя был старше Мишки всего на несколько лет. – Я дочку вместе с матерью взял.

Захар рассказывал это уже не первый раз, но ему было радостно говорить о своей семье, и он говорил. А Михаил, хоть и слышал эту историю, делал вид, будто женитьба Захара для него новость.

– Чужую? – продолжал он поддразнивать друга.

– Какая же она чужая! – не сердился Захар. – Мать её мне родная,

значит и она родная. А мать... Ты не знаешь, какой это человек. Другой такой на всём белом свете нету. Понял? Вот, глянь на карточку.

– Ужотко пять разов глядел. И пять разов твою быль слышал, – засмеялся Михаил. Засмеялся необидно, по-доброму, просто заканчивая игру.

– А это вот почему, милоч. Боязно мне. Всё думаю: не ровён час убьют меня, дочка вдругорядь осиротет. Каково им там будет одним?

Мишка перестал смеяться.

– Не говори так, не кличь беду! – остановил он Захара. – Война уж к концу клонится, нам с тобой до такого момента дожить полагаются, шоб, значить, последний выстрел услышать.

Захар согласился:

– Хорошо бы. Да только и последний кого-нибудь найдёт, в чьей-то жизни точку поставит.

Как в воду Мишка глядел, накликал Захар на себя беду. Только собрался он фотокарточку в конверт сунуть и в вещмешок убрать, а тут ветерком потянуло. Вырвало у него фотографию из рук и понесло на взгорок, к саду. Он за ней, догнал у самого спуска к речке, поднял и толком выпрямиться не успел...

Мы-то все садом прикрыты, а он на голое место вышел и оказался в поле зрения немецкого снайпера. Выстрела мы и не слышали. Лишь увидели, как Захар неестественно перегнулся назад, потом повернулся к нам. Какой-то миг он растерянно глядел на всех, и видели мы, как гасли его глаза, слышали, как потухал голос, прошептавший:

– Вот она, моя точка...

Мы подобрали его, внесли в дом, но он уже не дышал. И стало сразу мрачно, траурно. Солнце, только что веселившееся вместе с нами, опять надолго задвинулось плотной облачной занавесью.

Вот так оно было с Захаром...

– Что это я? – подивился он. – Будто кому рассказываю. Самому себе, что ли?

Углубившись в воспоминания, он и не заметил, что Мишка машет ему рукой, к себе зовёт.

– Ты шо, оглох? – укорил подошедший друг. – Дошуметься не могу. Замечтался?

– Выходит, что так, – признался он.

– Ладночки, – произнёс добродушный Мишка. – Давай опять же порассуждаем...

Сколько раз прошагали они по высокому берегу речушки, прикидывая, где могила Захара. Знали, что где-то здесь, на вскраинке сада, у самого обрыва. А обнаружить не могли. Сравнялся холмик с землёю, да и переменялось всё кругом. А может, давно оползла она вместе с подмытым берегом.

– Помнишь, берёзка была рядом? – говорил Михаил.

– Где она, та берёзка? – в ответ разводил руками друг. – Небось, срубили за столко-то лет. Или погибла. Не её ли пенёк торчит?

– Не, – перечил Михаил. – Кажись, мы тогда вправо подались, чтобы опять снайперу черепки не подставить. Верно? Так, может, там?

И он потащил его к мыску, на котором только что был сам. Тропка шла над самым обрывом. Подмываемая дождевыми стоками и талыми водами, выдуваемая напористыми западными ветрами, береговая кромка постоянно осыпалась, и кое-где тропинке пришлось отступать.

“И этот выступ вот-вот обвалится”, – подумал он.

Двоём они несколько раз с силой надавили на не успевший осыпаться утёс и даже подпрыгнули. Видно, такого толчка мыску и не хватало. Они почувствовали, как земля поползла у них из-под ног. Поползла медленно, так что они успели отскочить в сторону.

Глыба земли, стянутая дерниной и корнями дерева, тяжело переверачиваясь, покатила к речке. Берёза, утратив часть опоры, накренилась к обрыву. Они провозжали взглядом земляной вал, пока он не остановился у говорливой речушки. А потом перевели взгляд на обнажившийся скос. И то, что они увидели, заставило резко и часто забиться их сердца, так резко и часто, что у обоих дыхание перехватило.

– Заха-ар, – выдохнул Мишка, не в силах оторвать глаз от останков того, кто много лет назад был их другом и кого они похоронили своими руками.

– А мне казалось, будто не здесь, будто подальше, вон там где-то, – засомневался друг.

– Да как же ж поменялось всё, не познать! – настаивал Михаил. – Захар! Кому же быть, как не ему. Вот и медаль при нём.

Он аккуратно поднял покрытый налётом кружочек, попытался очистить его. Не очень получилось.

– Чего же нам теперича делать, Захар? – рассуждал Михаил. – Ладноть, чего ни то сообразим.

Не сговариваясь, они вернулись к машине и порулили к местной власти.

– Значит, могилу неизвестного солдата нашли? – выслушав их рассказ и разглядывая медаль, оживилась местная ласть – средних лет, говорливый, упитанный мужичок. – Мы, конечно, не Москва, и кремлевской стены у нас нет, но могилу неизвестного солдата оформим в лучшем виде.

– Это почему же он неизвестный? – не согласился Михаил. – Дружок наш, в одном взводе служили, из одного котелка хлебали. Всё при нём – и фамилия. и имя-отчество. И вот, награда.

– Устроим торжественное захоронение, – пообещала власть. – С музыкой и с речами. А медаль оставьте у нас. Пошлём запрос, как положено. Пусть официально подтвердят, что данная награда принадлежит такому-то. Допишем его фамилию на мраморной доске, раз он известный... Видели, какой мемориал отгрохали?

Мемориал – лучше некуда, и что Захара вознамерились похоронить здесь и надпись сделать – это правильно, это хорошо.

Они оставили свои адреса, Мишкин телефон (у них был один телефон на двоих) и уехали домой. Стали терпеливо ждать, когда придёт ответ на запрос. Не дождавшись ни звонка, ни открытки, поехали к много пообещавшей власти. Власть была такая же оживлённая, заинтересованная, но развела руками. Мол, хотел бы вас порадовать, да нечем, нет пока ответа.

– А с нашим боевым другом как поступили? – спросил Михаил.

– То есть? – не поняла власть. – Дождается.

– Шо значить дожидается? – закипел Михаил.

Словно обухом по голове стариков стукнули. Готовы были заплакать от обиды и уже слова гневливые приготовили, а власть поднялась из-за стола:

– Да вы что, отцы! И подумать стыдно такое! Что ж мы, не люди? В тот же день комиссию организовали, команду дал гроб сделать, останки сюда перевезти. А сказал – дожидается, потому что ответа нет. Надо всё честь по чести. Так ведь? Люди у нас внимательные и заботливые. Что надо, сделаем, организуем по высшему классу. Не сомневайтесь! Надо подождать, согласны?

Отцы молча кивнули и ушли.

– Давай съездим, поглядим, что и как. Тут же близютко, – предложил Михаил, почувствовавший в словах администратора фальшь.

И они поехали.

Какую же нестерпимую боль, какой же великий гнев испытали они, когда увидели, что захаров прах как лежал тогда, так и сейчас лежит, никто сюда не приезжал, никакой комиссии и в помине нет, власть и пальцем не пошевелила после того разговора. А какие слова сказаны!

Снова кинулись старики в “Москвич” и затряслись по ухабам, скорбные и яростные. И кулаком пришлось стукнуть, и матушку вкупе с Господом-Богом помянуть. Побледнел толстячок, переполошился, оправдываться стал:

– Не горячитесь, отцы! Я ж команду дал... Неужто не выполнили? Ну, народ!.. Сейчас же разберёмся. Неувязка вышла. Немедленно меры примем.

Выкликал столяра. Тебе велено было гроб сделать? Велено! По какой причине не выполнил? Ах, досок нет! А язык есть? Сказать не мог? И шофёра распёк, которому поручалось привезти останки солдата. А у того своя отговорка: так гроба же нет!

Власть шумела, руками размахивала, всяческими карами грозила, но веяло от всей этой суеты леденящим равнодушием.

– Не гоношись, пустая твоя душа! – мрачно изрёк Михаил. – Сами зробим.

Отыскали пилораму, без труда уговорили старика-плотника нарезать нужных досок и сколотить гроб.

– Материалу красного дашь? – спросили они у пухляка. И не хотелось просить, а где взять самим?

– Будет материал, обязательно будет! Всё как надо будет. Да только не ваш это товарищ, – сказал тот, словно это снимало с него все обвинения. – Пока вы суетились-кипятились...

– самого тебя прокипятить бы... – процедил сквозь зубы Михаил.

– Пока вы туда-сюда ходили, почтальон был. Ответ поступил на ваш запрос. Официальный ответ, по форме, как полагается.

И он протянул друзьям бумагу. На казённом бланке значились совсем другие, не захаровы, фамилия, имя и отчество, сообщалось, где и когда солдат родился, где и когда призывался, где служил. И погиб он несколькими днями позднее, когда их рота уже покинула фольварк и подалась в сторону Кёнигсберга, а на её место пришла другая часть.

– Вот видите, – сказала осмелевшая власть. – А вы кулаками да матюками... Совсем другой человек, вовсе не ваш, оказывается...

– Никакой не другой, – сердито, как и прежде, отвечал Михаил.
– Наш человек.

– Это конечно. Всё равно герой, и похороним, как подобает.

– Ты похоронишь! – не унимался Мишка. – Ты живых скорее похоронишь. Бюрократ!

– Ругаться-то все мастера, – постарался не обидеться бюрократ. – Дело делать некому... Ладно, проконтролируем, организуем... Напишем к нему на родину, пусть родственники приедут – кто живой.

Точно было слушать этого человека, который вроде бы и интерес проявляет, и за дело болеет, и от просьб не отмахивается. Но только – вроде бы. Потому что безразличен и глух, как придорожный телефонный столб. И такими же равнодушными, а вовсе не внимательными и заботливыми, оказались те, кому он давал поручения. У нас всегда того нет, этого не хватает, а подобным людям и на руку: нет – и не надо, хлопот меньше; им-то что, начальство пусть беспокоится, на то оно и начальство.

– Жалко, не нашли Захара, – сокрушался Михаил. Да и не столько сокрушался, сколько уходил сам и уводил своего друга от тягостных мыслей о бездушии и чёрствости, сколько пытался погасить глубокую сердечную боль. – Ну да шо там! Чего ж горевать! Мы же с тобою неизвестному герою вроде как имя возвратили. Выходить, крестник он нам.

– Выходит, что так, – согласился друг.

...Вот так и появился у них с Михаилом крестник. Захоронение и вправду было торжественным, при великом стечении народа, речах и выбивавшем слезу оркестре. Только Михаил всего этого не видел и не слышал. Он слёг после всех передрыг. Друг рассказал ему, как всё было.

– От то ж добре! – повторял Михаил, слушая рассказ. Он немного оттаял, отмяк, но до конца успокоиться не мог и, помирая, вспомнил жестокое слово:

– Дождается...

А другу наказал:

– Крестника почитай. Он свой. Солдат.

И он почитал. Вот и сейчас, прежде чем ехать к Захару, долго стоял, перебирая в памяти всю свою жизнь, жизнь Мишки и Захара, думал о крестнике и многих безвестных, лежащих в земле. О том, почему бывают и откуда берутся чёрствость и бездушие, почему

пригасает в людях память о прошлом, притупляется боль за пролитую нами великую кровь.

Со стороны залива всё сильнее тянуло прохладой, усилившийся ветер гнал с запада тучи. Всё громче шумели, кивая вершинами, деревья. Надо было ехать туда, к Захару, а то дождь вконец испортит дорогу, а он стоял и стоял, изредка повторяя:

– Почитаю, Миша, почитаю...

РАССКАЗЫ БЫВАЛЫХ ЛЮДЕЙ

Событий вокруг – перебор, кутерьма...

Глеб Горбовский

А над нами всё грозы и грозы,
Льются слёзы, кровавые слёзы.

Юрий Кузнецов

О, кабы жить, глазеть и петь вовеки!

Юрий Лоциц

ТРУБКА

Мы тогда явились к генералу целой толпой. Шумные, бесцеремонные первокурсники, активисты поисковой группы, собиравшей материалы о Восточно-Прусской операции. Но сразу угомонились, присмирели, как только он, помешивая ложкой крепкий, почти черный чай, заговорил – неспешно, негромко и как-то очень буднично.

– Реликвии, говорите? Не люблю, грешный, громких слов. Конечно, много чего с войны осталось. Кое-что музеям раздарил, школам. Хотите реликвиями называть – так и быть, называйте. А для меня это просто дорогие предметы, память о фронтовых дорогах.

Меня часто приглашают и ко мне приходят, как и вы: расскажите, мол, про войну, про геройские дела. Были и геройские дела, были и горькие. Возьму любую вещь – эту, к примеру, или вон ту – и рассказываю. У каждой из них своя история. Так уж выходит, что связана с ними не только моя судьба. За любой из них какие-то фронтовые эпизоды, большие и малые, важные и не очень. И получается, что нет здесь личных вещей. Это всё камешки с нашей общей дороги.

А уж если вы непременно реликвию требуете, что ж, вот это, пожалуй, реликвия. Столько лет храню её, пуще жизни своей храню, как с живой разговариваю... Нет, курить из этой трубки не доводилось. Не для того берегу.

Вот видите, разволновался. Не обращайтесь внимания. Такое свойство у неё, у этой трубки. Лишь гляну – душу скребёт. На войне, знаете, не до эмоций было. Друзей хоронил, семью потерял, сам при смерти был – держался. А теперь, как вспомню... Не обращайтесь внимания! Возраст, знаете ли...

В войну на всякие там чувствования времени не было. Тем более в моём генеральском положении. Дивизия – хозяйство хлопотное: приказы, наступления, связь, снабжение, дислокация. И всякое такое прочее. Где уж было думать о настроении, о переживаниях. А он... Он думал. Не дивизия, не армия – фронт на плечах, а думал.

Ну вот... История у этой трубки такая.

Зимой сорок пятого бои жестокие были. Моя дивизия поначалу неплохо продвигалась, а потом уперлась в небольшой городишко прусский и остановилась. Пытались с ходу взять его – не вышло. Противится немец – и всё. По данным разведки, вроде бы нет здесь у него крепкого узла обороны, а перешагнуть тот рубеж не можем. Я штабистов браню, начальника разведки укоряю, командиров полков извёл, а понять не могу, в чём тут дело. Да я, сказать по правде, хоть и доверял разведке, любил своими глазами на “передок” поглядеть, да не с дивизионного “энпе”, а пониже спуститься.

Короче, добрался я до батальона. Надо вам сказать, курил я в ту пору зверски. Курил трубку, с молодости привык... Теперь-то уж не балуюсь, доктора, знаете ли... А тогда буквально изо рта трубку не вынимал. Иной раз от досады или от заботы просто так, без табака её в рот суну, сосу – и вроде покойнее становится. И в тот раз тоже, держу её в зубах, без огня, конечно. К оптике глазами припал, на позицию противника нацелился. Снежок шёл, не очень густой, но мокрый, хлопья крупные, липкие, мешают глядеть. Чертыхаюсь, под нос себе ворчу, что надо про себя отмечаю. Мол, ясно, что у вас тут за фортификации. С командиром полка и комбатом тихонько словами перебрасываюсь.

Не скажу, чтоб я разгадал противника, секрет его обороны, но кое-что для себя уяснил: здесь убавить, тут прибавить, тут ослабить, а там надавить – и выбьем немца. Так потом и вышло. Но не об этом речь.

Да, гляжу в окуляры, туда-сюда стереотрубу поворачиваю. Пять минут проходит, десять – всё тихо. И вдруг... Хорош был камуфляж у комбата, а почуял неприятель, что следят за ним, из миномётов вдарил. Да так густо, что осколки мимо ушей – вжик, вжик. А один не то что мимо ушей – мимо носа у меня просвистел. От трубки в зубах моих один мундштук остался. Ровненько, как ножичком, срезал.

Командир полка (хороший старик был, погиб в Кёнигсберге) переполошился, скорее в укрытие меня тащит. “Не ранены? – спрашивает, – товарищ генерал?” А я на мундштук гляжу, дивлюсь аккуратному срезу, ещё больше дивлюсь, что осколок меня не задел, а про

себя ругаюсь: “Паучье семя! Какую вещь загубили! Я ж без неё от тоски засохну”.

Ну вот, кончилась операция, взяли мы этот городишко. Недели через две, может, чуть больше, сижу в своём блиндаже, обсуждаю со штабистами, как дальше двигаться. Зима слякотная, промозглая. Шинели на себя набросили, склонились над картами, головы ломаем. Однако настроение у всех доброе. Адьютант мой чай горячий устроил... Хороший у меня был адъютант, лейтенантик. Спокойный такой, толковый. Обычно не видно его и не слышно. А когда нужен – он тут как тут. Ни одного лишнего слова, никаких эмоций. Держался с достоинством, не заискивал. Славный был помощник. Не уберёг я его... Да, много дорогих людей потерял...

Пьём, значит, чай, задачки решаем, шутками перебрасываемся. Загудел телефон. Мой лейтенантик взял трубку, послушал и суёт мне. Дескать, из штаба армии. Сказали мне всего несколько слов – а будто очередью автоматной прошли. Стою у аппарата, трубку опустил, а двинуться или сказать что-нибудь не могу, словно окаменел. До того страшной была весть. Чую, плечи мои к земле клонятся, шинель сползла. Оторопели, видно, и мои штабные, на меня глядячи. Поднялись со своих мест, ко мне с тревогой на лицах тянутся. Я оцепенение с себя кое-как скинул, боль душевную превозмог – и опять к карте:

– На чём мы остановились?

И слышу голос не мой. Мысли путаются. Никак на предстоящую операцию не настроюсь. То, что телефон принёс, постичь не могу. Умолк, то ли ищу потерянную нить наших рассуждений, то ли пытаюсь осознать масштаб случившейся беды. Наконец, переломил себя. Сбивчиво, не очень последовательно изложил свою концепцию. Офицеры, которые только что спорили со мной и между собой, теперь молчат и, похоже, не шибко вникают в ход моих мыслей. Не знаю, хватило бы у меня решимости сказать им страшную правду или нет, а только дальнейшие события подтолкнули меня к этому. Вошёл мой адъютант и доложил, что прибыл связной из штаба фронта. До меня не сразу дошло, кто прибыл и откуда, и я машинально велел:

– Зови!

Вошёл капитан, отрапортовал по форме, положил на стол небольшой, аккуратный свёрток и сказал:

– От командующего.

И опять я не вник в ситуацию, глядел на свёрток, словно не видя его. Связной подождал, что я скажу, не дождался и козырнул:

– Разрешите идти?

– Идите, – отсутствующе ответил я.

Связной повернулся, чтобы идти, и тут я будто очнулся. Ко мне вдруг вернулась способность мыслить, понимать, что происходит, хладнокровно рассуждать.

– Подождите, – говорю. – От кого это?

– От командующего фронтом, товарищ генерал, – повторил офицер.

Я поглядел на него с удивлением, сопоставляя данное ему поручение с тем, что я услышал по телефону.

– Вы когда посланы, капитан? – спросил я его.

– Два часа назад. У меня были и другие поручения, товарищ генерал.

Он, видимо, воспринял мой вопрос как упрёк и пытался объяснить свою задержку. А у меня застучало в висках:

“Два часа назад... Если бы назад! Если бы вернуть эти два часа!”

Но время, как известно, не имеет обратного хода. Я почувствовал себя неловко перед капитаном, которого вовсе не хотел укорять. Как бы извиняясь перед ним, произнёс:

– Я не к тому. Просто, два часа – это не всегда мало. За два часа многое случиться может... К сожалению.

Я буквально выдохнул это “К сожалению”. Комок стал в горле, чувствую – задыхаюсь. Расстегнул ворот кителя, и тут сказалось – само сказалось – то, что я никак не решался сообщить:

– Погиб командующий... Смертельное ранение...

Вновь повскакивали присевшие было офицеры. Посыпались вопросы, восклицания, недоумения. Просили подробностей.

– Нелепейший случай! – сообщил я что знал. – Единственный снаряд... В машине было пять человек, ни у кого ни единой царапины. А его...

Я вдруг поймал себя на мысли, что рассказываю это не офицеру по поручениям, не своим сослуживцам, а просто повторяю вслух новость, в которую не могу, не хочу поверить, повторяю, чтобы убедить себя, чтобы представить себе подробности случившегося, чтобы осознать весь их трагизм и непоправимость.

Попытался было что-то спросить капитан, но лишь оцепенело глотнул воздух.

– Что в пакете, капитан? – спросил я его.

Он ещё раз судорожно глотнул и выдавил из себя:

– Подарок от командующего.

– Мне? – удивился я. – Откройте.

Офицер вскрыл свёрток и извлёк из него трубку – вот эту самую – и коробку с табаком. Представляете себе моё состояние? Это было потрясение, причём такое, какого я никогда ни прежде, ни потом не испытывал. Уж не помню, то ли вслух сказал, то ли подумал:

– Спасибо, Иван Данилович!

До сих пор понять не могу, как он узнал про злополучную историю с моей трубкой, утраченной на батальонном наблюдательном пункте. Было совершенно ясно, что подаренная мне трубка – не просто знак внимания, а назидательный намёк: не лезь под пули! Нас берёт, а себя...

Я отпустил капитана. А он до дверей дошёл, повернулся в растерянности, беззвучно пошевелил губами, но не смог ничего произнести, козырнул и вышел. Даже мой невозмутимый, никогда не терявший самообладания адъютант, растерянно забормотал:

– Товарищ генерал, как же это? Этого же не может быть!

– Молчи, лейтенант, молчи! – чуть слышно ответил я. – Это война. Она рангов не разбирает.

И не сдержался. Припал головой к стенке блиндажа и об одном думаю: не зарыдать бы. Не пристало, тем более при подчинённых. Генералы же вроде не плачут. Сантименты, скажете? Нет! Его все любили. За то мы его любили, что он нас любил. Солдат ли, генерал ли – ему как родной. Оттого я и расчувствовался. Ну, конечно, быстро взял себя в руки. Крякнул по-мужицки, повернулся к своим офицерам. А они стоят вокруг стола и глядят на подарок от командующего, на эту злосчастную трубку. Как на живое существо глядят. И с укоризной, и с болью. Будто её в случившемся винят, будто она эту трагедию учинила, жизнь нашего командующего унесла. Да и по-другому, наверно, смотрели – как на свидетельство его удивительной чуткости, человечности.

И я, как живую, храню её с той поры. Вот и судите: реликвия это или нет...

И генерал потянулся к остывшей чашке с чаем.

Так ли, нет ли рассказывал он – теперь в подробностях не вспомнить, много лет минуло. Может, и не совсем так. И слова, наверно, были другие, и интонации. Не уточнишь, не расспросишь. Уже не у кого. Да ведь память-то не в словах, а в душе.

ГРЕШНАЯ ЗЕМЛЯ

Видит Бог, я растерялся, когда глава нашей сельской администрации Григорий Пантелеевич Веснов сказал мне:

– Отец Роман, надо бы панихиду отслужить по всем убиенным – и нашим, и тем...

Наверно, и большего опыта священник не враз бы в подобных обстоятельствах нашёлся, а я батюшка молодой, здесь первый в моей жизни приход, церковь в этом селе открыли совсем недавно. И вдруг такое...

Приехали к нам немцы, бывшие тутошние. Старик со старушкой. Важные, степенные. Старик прилично по-нашему говорит. Картавит, конечно. Не всегда нужное слово находит. Но всё понимает, и мы его тоже. А старушка воркует лишь по-своему. Видно, почуяли, что близится встреча со Всевышним, и захотелось им перед тем с родными местами проститься.

Два дня Веснов их сопровождал. Все показывал, объяснял. Сводил на старинное немецкое кладбище. Помолились они, цветочки возложили, всплакнули по своим предкам. А потом пожелали на нашем воинском захоронении побывать, у братской могилы наших солдат. Памятник у нас – какой не в каждом городе сыщешь. Показать не стыдно. Но непривычно как-то. Всё-таки они недруги, по войне. Весть о том, что гости понесут цветы к нашему памятнику, полетела по селу. Паства моя зашевелилась. Одни так рассудили: коли немцы букеты понесут, так уж нам сам Господь велел. Другие насторожились: не грешно ли? А дед Сысой, – есть у меня такой суровый, непримиримый прихожанин, – весь передёрнулся. Вижу, руки у него задрожали, за куревом потянулся. Дым глотает, а унять свой гнев не может, ропшет:

– Это что же деется?.. Это как же так? Ворогов к святому месту пустим?.. Они же в меня стреляли. Брата моего меньшого, Ванюшку...

– Не гневи Бога, Сысой Петрович! – говорю ему. – Люди с миром идут, с добром. Они не цветы несут, а своё покаяние. Благому делу противиться грешно.

Говорю так ему, а сам не очень – прости, Господи! – своим словам верю. Бои тут были, рассказывают, тяжкие. Не один раз фронт туда-сюда прокатывался по посёлку. Погибших и с той стороны, и с нашей – не счесть. И, конечно, сами того не сознавая, вину за

гибель сородичей своих, за великую нашу боль мы на этих двух стариков переносили. Получалось, что я не столько деда Сысою, сколько самого себя убеждал. Дед курил, жадно затягивался, и я видел, что успокоиться ему не удаётся. Доказываю ему что-то, втолковываю, а он меня будто не слышит.

– Ты где воевал, Сысой Петрович? – спрашиваю его.

А он ворчит в ответ, не раскрывает душу:

– Где и все, на войне.

– Ты на них досадуешь, они на тебя. А Господь глядит на вас, укорно головой качает и вопрошает: чем же вы друг перед другом виноваты?

По дороге к храму встретил я Григория Пантелеевича и его спутников. Пока мы знакомились, обменивались любезностями, весть о походе к памятнику всё катилась по селу. Те, кого она не достигла, по букетам цветов, что несли с собой Веснов и гости, легко догадывались, куда и зачем они идут. И все, кто не был в поле или на другой работе, потянулись следом. И вскоре у памятника, – а он рядом с церковью, – выстроилось чуть не полсела.

– Слушайте, отец Роман, митинг назревает, – шепнул мне наш глава. И добавил те слова про панихиду.

– А удобно перед гостями? Ведь они не нашей конфессии, – засомневался я.

– Удобно, удобно! – отозвался услышавший наш разговор немец.

Был он крепок, вальяжен, в меру толст, сед и лыс. Жена его выглядела скромнее, сухонькая, маленькая, но чопорная. Хотя держались оба просто, дружелюбно.

Немец-то сказал “Удобно”, а я всё стою и думаю: как быть?

Перечило во мне что-то, противилось. Думаю, это “что-то” было чисто религиозным. Вразуми, Господи, мысленно воззвал я к Богу. И словно озарило меня: нам каяться не в чем, мы сюда не завоевателями пришли, а взыскателями. Они нам войну принесли, страшную, кровавую, многосмертную, а мы всего лишь вернули её туда, откуда она пришла. Не земли этой мы хотели, а мира. И не завоеватели в земле этой лежат и не мстители, а мироборцы. Забывать былого не будем, но и враждовать до скончания века тоже. Павших земля примирила, она не делит их на правых и виноватых. И сказал я Веснову:

– Будь по-вашему!

Тот подозвал шустрого мальчонку и скомандовал:

– А ну, сбегай, вдарь в набат!

Набат – это подвешенный неподалеку от мастерских, – на всякий пожарный случай, – старый лемех.

– Не надо в набат! – остановил я отрока и велел вдарить в большой церковный колокол. Звон полетел во все концы посёлка, и, встревоженная, ещё не знающая, зачем скликают, заспешила к площади и остальная часть паствы. Старики подоставали выходные суконные пиджаки с наградами, а бабки – чистые платки и кофты и степенно зашагали к храму. Отцы и матери вели с собой детей. Заметно опустели клумбы и палисадники у домов, зато на площади цветов стало море разливанное.

Я ушёл готовиться к службе. Пока облачался, мысленно оглядывал площадь перед храмом и братской могилой и испытывал тёплое чувство, зная, что всё идут и идут люди, мои прихожане.

– Пора начинать, – решил Веснов, когда я вернулся. – Время горячее. Не одни старики собрались, многие с работы пришли. Значит, долго митинговать ни к чему.

Оказавшись по воле Господа участником этого симбиоза митинга и богослужения, я впервые в жизни ощутил такое полное единодушие моих верующих, естественное, стихийное, не показное, не организованное. Удивление было написано и на лицах залетевших к нам иностранцев. Прежде мне казалось, что с годами, отдаляясь от военной поры, все мы черствеем, глуше звучит в нас боль о погибших, скорбь об утратах. Как я рассуждал?

На этой земле во всех городах и чуть не в каждом селе стоят памятники. Поставленные в первые послевоенные годы и сооружённые позже, к юбилейным датам, скромные обелиски за традиционной оградкой и впечатляющих размеров и выразительности мемориалы, не становятся ли они привычными деталями нашего быта, такими же обыденными, как дома, дороги, деревья? Ведь в суматохе дел, повседневных хлопотах мы по несколько раз в сутки проходим мимо, не испытывая ни печали, ни волнения, не склоняя головы, не крестясь и даже не замедляя шаг. Разве это не равнодушие, не чёрствость?

А теперь, глядя на своих односельчан, я устыдился этих безгрешных мыслей. Нет, не равнодушие это, не чёрствость! И давайте не будем корить себя за непочтение к памяти павших. Она в нас, она неугасима. В каждом крестном знамении, которым мы себя осеняем, и благодарение Господу, и молитвенный призыв помочь, и память – обязательно память! – об ушедших, об утраченных нами.

Сколько различных мнений высказывается о том, как нам чтить

погибших героев! Из благих побуждений предлагалось, например, учредить дорожный знак, предупреждающий о приближении к памятнику и обязывающий остановиться. Можно, конечно, сделать это обычаем. Можно сделать обычаем, проходя мимо обелиска, обязательно постоять, поклониться, перекреститься. Можно много придумать ритуалов. И всё это будет оправданно, не будет чересчур, не будет слишком.

Только ведь и вот что правда. Каждая церемония впечатляет, западает в душу и отзывается в ней лишь поначалу, пока она вновь, пока потрясает своей необычностью. То, что делается изо дня в день, становится привычным, будничным и теряет свойство будоражить сердца, шевелить умы.

Помню, в одной школе, шефствующей над братской могилой, чтобы шефство это было видно каждый день, расписали, какой класс и когда несёт цветы, убирает территорию. Но память не бывает по графику, по обязанности. Она от нашего осознанного долга, от нашей священной печали, от нашей неизбежной признательности, от душевной потребности. Такую потребность надо воспитывать, но не директивой, не приказом.

Нет, мы не чёрствые! Есть особые дни, когда мы приходим к дорогим могилам и, словно впервые, переживаем боль утрат, не прячем эмоций, не сдерживаем волнения...

Встал Григорий Пантелеевич со скамеечки подле оградки, встали гости.

– Спасибо вам, люди, за ваше доброе сердце, – сказал Веснов и поклонился. – Не думали мы митинг учинять. Ну, коли так вышло, давайте вместе почтим память фронтовиков. Правда, оркестра у нас нет, обойдёмся без музыки.

– Есть музыка! – крикнул сельский гармонист Костя Шевцов и протиснулся со своей хромкой в первый ряд.

– Ну что, отец Роман, примем музыку? – спросил меня глава администрации и, получив моё согласие, пожал руку гармонисту. – Значит, будем считать митинг открытым. Речей долгих говорить не станем.

Слова его звучали негромко, но всё смолкло, всё напряглось в почтительном внимании, всё слушало и глядело.

– Им говорю, – продолжал Веснов, – тем, кто здесь лежит: память о вас всегда с нами. Не корите нас, что не каждый день цветы вам носим. Да ведь не в том память, чтобы без конца вздыхать и слёзы

лить. А в том она, что помним вас поимённо, могилы ваши храним и дело делаем, как вы его делали, как нам завещали. Память наша в том, чтобы быть лучше и чище, не творить худого на виду у вас. Она в нашей совестливости перед вами.

А немец добавил:

– Много лет назад мы отсюда ушли, а вы сюда пришли. Не в укор вам, не в оправдание нам говорю это. Так вышло. Здесь погибло много солдат – и ваших, и наших. Они лежат в одной земле. Пусть это будет для них примирением.

Вот тогда настал мой черёд. Бог свидетель, это был мой звёздный час. Ни до того, ни после не испытывал я такого слияния с людьми и с Богом. Тем более что немец произнёс те же слова, что зрели во мне. Конечно, по полному чину отслужить панихиду я не мог, время не позволяло, но то, что требовалось сказать, сказал. Смысл сказанного был прост: Господь велит жить в мире.

Всплакнули женщины, посуровели мужики. Веснов первым положил цветы к обелиску, и Костя растянул мехи. Он играл сдержанно, строго. Для него тоже это был, без преувеличения, самый важный в жизни момент. Он сознавал это, и суровая, скорбная мелодия витала над площадью.

Старик-немец разделил свой букет напополам и положил одну половину слева от постамента, вторую справа, как бы говоря: тем и другим. Все потянулись с букетами к святому месту, почтительно пропуская ветеранов.

И тут случилось то, чего предвидеть никто не мог. Все мои рассуждения о единении душ, общности состояния рушились. Едва немец положил свою поделённую надвое охапку, как дед Сысой схватил его за руку и потащил к краю кладбища. Тащил бесцеремонно, не обращая внимания на протесты гостя. Остановился и, не отдышавшись, прохрипел:

– Тут он... Иван. Братан...

Опешивший поначалу, немец быстро пришёл в себя. Он показал за ограду:

– А мой Ганс там. В этой же земле.

– Тесно им вместе в этой земле, – всё так же хрипло, всё так же зло рычал Сысой. – Будь она проклята, эта земля!..

Великое святотатство совершил Сысой Петрович. Сказать такое о земле-матушке, земле-кормилице! И разве можно винить землю в том, что люди творят на ней? Нет за ней греха!

Разведя стариков, пригасили конфликт. Горько было сознавать, что так омрачилось святое дело, угодное Богу дело, что не дошли мои слова до души Сыся.

Мало-помалу люди стали расходиться. Ушёл глава сельской власти и увёл гостей. И мне пора было уходить. Я поискал глазами Сыся и увидел его согбенную фигуру с опущенными плечами и обнажённой головой у стелы с перечнем фамилий похороненных. Я подошёл поближе, хотел сказать утешное слово, но весь облик старика выражал такое страдание, что тревожить человека в эту минуту было бы немилосердно. Дед почувствовал моё присутствие, повернулся, поглядел на меня полными горя, но сухими, без слёз глазами и сказал чуть слышно:

– Прости меня, батюшка, Христа ради, старого дурака! Согрешил я, отец Роман!

Он ткнул пальцем в строчку на мраморе:

– Вот... Меньшой наш. Я ему как отец был. Батька-то рано помер.

Чувствуя потребность унять его боль, разделить горе старика, я спросил первое, что пришло на ум:

– Сколько ж ему было?

– Девятнадцать.

Дед надвинул картуз на самые глаза и пошёл неспешно, не оглядываясь, больше обычного сутулый и оттого ставший поменьше ростом. И та самая боль, которая только что прозвучала в его голосе, сквозила теперь в каждом его шаге. Было тревожно немного от всего услышанного, увиденного и сказанного в этот день, и потому жгучая жалость к старику ощущалась мною ещё острее. Я пошёл следом за ним.

О чём думал Сысой, крепко ступая яловыми сапогами по улично-му бульжнику? Наверно, о прошлом, о невозвратно уходящей жизни. Он шагал размеренно, не быстро, а я держался чуть сзади, не догоняя страдальца, чтобы не спугнуть его думы. И в ритм шагам старика бухало моё растревоженное сердце. Он подошёл к храму, по дождал меня и сказал чуть слышно:

– Вот, стало быть, какая оказия...

И опять умолк, низко опустив голову. Потом заговорил:

– После войны, не помню уж в каком году, приехали мы сюда с Палашкой, супружницей моей, Царствие ей небесное, навестить Ванюшку. Поплакали над могилкой. Ну, побыли, пора бы домой возвра-

таться, а во мне будто голос Ванюшкин звучит: останься! Палашка толкует: не жить нам тут, грешная это земля, чужая, беду рожает. А я стою на своём. Так и остались...

Сысой Петрович выговорился, я ни о чём не расспрашивал. Он повернулся было уходить, но остановился и изрёк:

– Чего уж! Грех землю винить. Она всем одинакова. И Ивана приняла, и Палашку, покойницу. И мой предел тут...

Может, и впрямь был у них со старухой разговор про землю, может, она и бранила её. А может, всё перемешалось в памяти Сысоа, и он сегодняшний запал перенёс в былое и свои срамные слова ей приписал. Да и не это важно, а та перемена в настроении деда, которая происходила сейчас. Он продолжал рассуждать:

– И супротивники наши в этой земле лежат. Одна она на всех. Чего ж её делить? И какой на ней грех могёт быть?

Долго я в тот вечер молился – просил у Господа нашего мира и благодати рабу Божию Сысою, умиротворения душе его. А за стенами моей кельи, за домами посёлка колыхалось под ветром жито – такое же справное, как и много лет назад. Земля на добро отвечает добром – что теперь, что в прежние века.

ИЗВЕСТНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Вилен Ряднов приехал в село поглядеть, а потом рассказать в своей газете, как мужики колхоз распускать будут, акционерное общество из него делать. Собрание было долгое, говорливое. Особенно кипятился Савва Кузьмич Иголкин, маленький, сухонький старичок: то к трибуне ковылял, то, вскакивая, с места реплики кидал. А если всё это, как сноп, пряслом перевязать, то речь его, обращенная к приезжему начальству, была такой:

– И что это – туды её в душу! – за власть у нас такая? Сперва силком в колхоз загоняли. Теперича силком разгонять удумали. Сколько можно над мужиком ксперименты учинять, до скольких разов нас через колено гнуть? Не желаем из нашего колхоза “Рассвет” делать эту вашу АО “Закат”.

И ведь настоял на своём: новорождённое акционерное общество обрело такое имя – АО колхоз “Рассвет”. Вроде и по-новому, и колхоз остался.

Вилену дедуля Иголкин до того по душе пришёлся – ядрёной речью, задиристым нравом, непочтением к властям, – что он после собрания насел на него: потолковать бы.

– Отчего не потолковать? – согласился Кузьмич. – Только я на скорую руку разговора не уважаю. Пошли ко мне, за чайком и погуларим.

Пока шли, Савва Кузьмич много чего рассказал. Дом у него просторный. Может, оттого просторный, что семья ужатая – самтретей. Старуха померла давным-давно, оба сына – уже сами деды, в других краях обосновались. А с ним живёт внучка. От непутёвого мужа из города сбёгла, тут с сынишкой прижилась.

Расторопная внучка накрыла на стол и ушла с мальчонкой на свою половину, чтоб мужскому разговору не мешать. А мужики пропустили по стопке, и беседа у них ручейком зажурчала.

– Сколько мне годков, интересуешься? – хитро прищурился дед. – Сотни ещё нету. А близко к тому.

И вдруг спросил:

– А ты из каких мест будешь?.. Тамбовский? Земляк, выходит. Мы тут давно. Сразу после войны по вербовке приехали. Пообвыкли, освоились... Фамилия твоя мне знакомая. Степан Семенович Ряднов тебе не родня случаем?.. Отец? Ну, чудеса, туды её в душу. Не зря молвится: мир тесен. Степан Ряднов – мне личность известная. Ну, и я ему. Мы с ним почти что кровная родня. Одним разом и я его чуток не порешил, и он меня. Такая, вишь ли, история...

Савва Кузьмич полез то ли в маленький сундук, то ли в большой ящик, вытащил из него какие-то пожелтевшие бумаги, газетные вырезки, фотографии, почётные грамоты.

– Вот это вот всё и есть история. Давнишняя... Батяня, поди-кось, рассказывал... Живой он ай нет?.. Ну да, чего уж там... Царствие ему небесное. Где похоронен? Это хорошо, что на родине. Оно, конечно, и в родной земле сыро, а всё теплей, отрадней... Небось, большим начальником был?.. Писателем? Вишь, какая история. Да, помню, большого ума человек был, антилигентный.

Старик умолк ненадолго, пошерстил бумажки, стал подавать гостю одну за другой. Тут были похвальные листы колхозному конюху Савве Иголкину, газетные заметки разных лет про его доблестный труд, фронтовые орденские книжки.

– Вот и выходит, личность я известная, вишь ли. Обчему нашему колхозному делу посчитай, сколько годов отдалено. А теперича

послухай, как с отцом твоим, Степаном Рядновым, дорожки у нас пересеклись.

Не сразу заговорил Кузьмич. Сгрёб в кучу драгоценные свои документы, положил на них жёсткую, костлявую пятерню: мол, вы своё сказали, теперича я скажу.

– Время-то, знаешь, было какое, когда колхозы приспели! Что оно такое, колхозы, каково мужику будет, никто, туды её в душу, не знал. Да и село наше, сказать по правде, по тогдашней правде, с червоточиной было. Кореньки антоновские оставались и нет-нет да и давали ростки. Да-а... Гудит народ: кто за, кто супротив. А эти корешки невыдернутые ходят по селу да потихоньку-помаленьку в свою дуду дудят. Мол, всё будет обчее – и кобылы, и бабы, и амбары, и лапти. А я в ту пору, хоть и совсем ещё молодой был, аккурат в силу входить начал. Первенец у нас с Глафирой только-только на свет появился. Батя, – Царствие ему небесное! – отделил меня. Избу я срубил не весть какую, а всё свой угол. Лошадку справную заимел. Землицы невелик клин колупал, ну да обходился. В середняки выбился.

Ну вот. Разговоры разговорами, а только, вишь ли, приезжает к нам из района, по-теперешнему сказать, уполномоченный. Виду неказистого. Моих годов примерно. Может, чуть постарше. Да-а... Гимнастёрка на нём, как сейчас помню, ношенная-переношенная, штопаная-перештопаная. И, видать, когда ел досыта, сам не помнит: скулы бугром, лопатки торчком. В ремешке, поди-кось, сколько ни то дырок сверх положенного навертел. А боевой, шустрый, по разговору видать – антилигентный.

Собрали, вишь ли, мужиков около сельсовета. Стоим, махру смолим, ждём. Вскакивает приезжий на крыльцо и начинает, знамо дело, речь произносить. Мол, кто лучшей доли хочет, должен в колхоз идтить. Складно говорил – заслухаешься. Голосина у него – чисто ерихонская труба. В таком-то теле и эдакий зык.

Да-а... Шумят мужики. Дескать, не желаем, туды её в душу! – и вся недолга! Нечего нас в рай заманивать, нам ещё на земле пожить охота. И я чегой-то шумлю со всеми вместе, ажно выкрикаю. Ну, в обчем, не туды собрание пошло. А тут, слышу, мне сзади, вишь ли, кой-то в самое ухо зудит: ты, дескать, лошадушку свою в колхоз отведёшь, а Игнашка Калганов соплю на рукаве принесёт – и будет всё обчее.

И забродила во мне дурь, ровно опара в деже. “Не бывать тому! – ору. – Не согласные мы!” И все мужики орут. Уж и совладать с со-

бой не можем. Кто чего орёт, не разобрать. Одначе ктой-то громче всех шумнул: “Бей его!” Мужики колья из плетней повыдергали и к крыльцу подступают. Чует приезжий: дело плохо. Урезонить нас норовит. Да где там! И слушать никто не хочет, туды её в душу! Сиганул он с крыльца, да не больно удачливо, Стояло там ведёрко с дёгтем. Бог весть, кто его там оставил. И угодил уполномоченный – и смех, и грех! – аккурат в это ведёрко. Ну, сапоги, может, и ничего, они от дёгтя мягче делаются, а галифе свои замарал. А главное дело, упал. Мужики за животы взялись, ржут, что твои жеребцы, А я к молодцу ближе всех оказался и, как только он шмякнулся, я – вспомнить страшно! – с колом на него и кинулся. Замахнулся, вдарил, а не попал. Успел он откатиться – ну, вьюн истинный! И кол мой в самый раз по дёготной луже пришёлся, ажник ошмётки во все бока полетели. А один шмат мне, вишь ли, в рожу угодил. Мужики ещё пуще ржут. А меня зло разобрало. Ах, ты, шумлю, мать-перемать! Опять орудием своим замахиваюсь, а супротивник мой в сторонку отскочил, а не бегёт. Говорю, боевой!

Ну, тут народ по-разному: кто меня подзадоривет, кто ему сочувствие высказывает. А шептуны даром время не теряют, опять тому-другому в ухо ду-ду-ду. Вижу, ещё скоко-то мужиков мне на подмогу подтягиваются. В полукружье его взяли, к плетню прижимаем. Ну, сейчас каюк ему! А он через пряслину сиганул в огород и опять стоит. Мы, знамо дело, за ним. Стал он от нас уходить. За гумно отбёг, остановился. Мы к нему. А он наган достал и тихо так молвит: “У меня, говорит, тут семь пуль. Мне, говорит, одной хватит, а вас положу”. Опешили мы. А он такое дело видит и дальше на нас давит: “Ступайте мужики, домой, охолоньте, а утресь погугарим”. Знамо дело, словами он другими обходился, по-книжному. Говорю, антилигент.

Вот, вишь ли, как. Мужики колья побросали – и по домам. А я сызнова ближе всех к нему. И киплю весь – до того распалился, и опять же испужался. Стою, будто к земле-матушке прирос. Он глядит на меня своими глазищами, ровно шурупы в меня ввинчивает. Потом пистоллю свою в карман суёт, достаёт кисет, сигарку крутит, мне махру тянет. Закурил он, как ни в чём не бывало, а мне такие слова говорит: “Дурак ты, говорит, дурак! Ты ж, говорит, орал и колом размахивал, как пьяный, без понятия. С кулацкого голоса захмелел, вот и орал. Это, говорит, не ты меня убить хотел, а классовый враг. Думаешь, испугал ты меня своим дрыном? Не такое видывал.

Иди, говорит, проспись, пораскинь мозгами, кто ты есть. Разве ж ты советской власти враг? Помещик какой или как? Нет, говорит, ты мужик. Стало быть, ейная опора. И тебе другой опоры нету, окромя неё. Потому как вы с ней, говорит, брат с сестрой". Ну, и много ещё чего говорил.

Ведь сколько лет-зим минуло, туды её в душу, сколько воды в речке утекло, а всё перед глазами. И дым от его сигарки по этих пор чую... И впрямь, думаю, чего же это деется? Чуток человека не порешил. И до того мне муторно сделалось – испарина на горбу выступила. Сел я, где стоял. Руки трясутся, никак сигарку не скручу. Кое-как управился. Из его кисета махорки насыпал. Подсел он ко мне, курим. Об житье-бытье разговор ведём. Как звать – спросил. Ну, и себя назвал. Ряднов, говорит. Степан, а по батюшке Семёныч.

Уж не помню, спал я в эту ночь или нет. А только обо всём, вишь ли, передумать успел. И жизнь свою по былинке перебрал. И батя мне с вечера, несмотря что сам я тоже отец, затрещину отвалил. Слов не говорил, а только по лбу постучал: мол, своим умом жить пора.

А на другой, значит, день уполномоченный, то ись батяня твой, опять мужиков собрал и давай в нас словами, ровно камнями, швыряться. Уж так он нас измутил – где нам с кольями супротив него! Тогда влез я рядом с ним на крылечко и говорю: "Хватит, туды её в душу, нас по маковицам стукать! Мужики, говорю, отчего у пчёл работа спора? А оттого, что артелями живут. Пишусь в колхоз!"

Такая она была, история!

Кузьмич замолк. Молчал и Ряднов. Может, вспоминал отца, его книги, сопоставлял с исповедью Иголкина.

Журналисту хотелось записать рассказ старика, чтобы не забыть ни одной детали, но он посчитал, что это неловко. "Утром запишу, – подумал он. – Такое не забудется. А отец в своём романе эту коллизию немножко по-другому изложил".

Савва Кузьмич, словно подводя итог разговору, вздохнул:

– Дивны дела твои, Господи! Отец меня в колхоз загонял, а сын выгонять явился. Туды её в душу, вишь ли...

ЦУ МИР!

Удивительные вещи иногда случаются в жизни, невероятные совпадения, непредсказуемые встречи. Захочешь придумать – фантазии не хватит.

Выйдя на пенсию, я какое-то время подрабатывал в туристическом бюро экскурсоводом, сопровождал группы немецких туристов. Ну, знаете, как это делается – сидишь в автобусе или ведёшь гостей по улице и командуешь: битте, зеен зи линкс, зеен зи рехтс; посмотрите, пожалуйста, налево, посмотрите направо. В группах всё больше старички да старушки, приезжающие поглядеть на бывшую германскую провинцию. Иные жили здесь когда-то, у них зов предков, так сказать. Люди пытливые, дотошные, обо всём расспрашивают, всё знать хотят: что, как да почему? Конечно, я в меру своей осведомлённости рассказывал, от острых вопросов не прятался: чаще отвечал прямым, иной раз отшучивался, но всякий раз на их колкости сам не без едких намёков им вопросики подкидывал. Но не ссорились, понимали друг друга. Разговор по большей части был добрый, сердечный.

В одной такой группе оказался на редкость общительный и добродушный старичок. Впрочем, старичком-то его называть язык не поворачивается. Рослый, крепкий, прямой, хотя возраста, конечно, серьёзного. Мы с ним быстро подружились. Он меня похвалил за мой немецкий, а я его – за его русский. Он совершенно свободно порусски говорил, пословицами щеголял, каламбуры сыпал.

Во время экскурсии не очень-то поговоришь, я ж всё-таки на работе. Так, перекинемся парой фраз – и всё. А после ужина вышли мы с ним в гостиничный парк, уселись на скамеечку, озеро у ног ласково плещется, лебеди лениво плавают. Тишина, время идёт медленно, солнце за летний день разомлело, садиться не хочет, будто повисло на каштановых ветвях. И разговор у нас неторопливый, обо всём и ни о чём.

– Поскольку зовут меня Пауль, а имя моего отца Петер, можете звать меня на русский лад – Павел Петрович, – улыбнулся немец. – А я вас буду на свой манер звать, не Иван Алексеевич, а Йохан-Алекс.

И не спрашивая моего согласия, не дожидаясь, пока я начну расспрашивать, где он русскому языку учился, Павел Петрович рассказал:

– У меня к русским и ко всему русскому особое отношение. До

конца войны ещё года полтора оставалось, когда я попал в плен. Был я тогда молодой, горячий, воевал – уж извините! – не трусил, награды получал. Русских почитал злейшими врагами, свой плен – позором. Лагерь наш был недалеко от Моршанска, мы на реке Цне какой-то гидроузел строили – электростанцию и обводной канал. Удивительное дело: война идет, а Советы для деревни электростанцию строят! Бараки наши на берегу реки стояли, на окраине леса. И мысль у меня одна была: бежать – и на фронт. Не знаю, сколько бродила бы во мне нацистская закваска, если бы не одно обстоятельство. Каждый день мимо нас шла в лес русская детвора – по ягоды, по грибы, по дрова. Казалось бы, мы для них враги. Наверно, у кого-то погибли на войне отец или брат. Им бы ненавидеть нас лютой ненавистью. Камни в нас кидать. А они, обтрёпанные, полуголодные, кидали нам за колючую проволоку из тощих узелков, взятых с собой на целый день, кто варёную картошку, кто огурец, кто луковицу.

Часовыми были молоденькие солдатики, ещё мальчишки. Кто-то крикнет: “Назад! Нельзя!” А другие отворачивались и делали вид, будто ничего не видят. Наши, немецкие солдаты, немецкие мальчики и девочки вели себя по-другому.

Оттого, что повторялась эта картина почти каждый день, и оттого, что вели себя русские дети, так сказать, не по правилам, стал я задумываться. Русские ребяташки, дети моих недругов отдают мне последнее. Сами же голодные! Они не видят во мне врага? Они жалуют меня? Это что, национальная особенность, черта национального характера – доброта, незлобивость, отходчивость? Там, в окопах, этих чувств мы не замечали, там другое дело, там – враг! А тут, мы вроде бы тот же враг, а уже не тот, поверженный. Может, потому к нам отношение иное?

И во мне как будто что-то опрокинулось. Я стал внимательно приглядываться и прислушиваться, по-иному оценивать то, что видел и слышал, что читал. И к тому времени, как закончилась война, я уже носил на рукаве повязку “Антифашист” и прилично говорил по-русски. А после войны ещё больше года там находился.

– А пожар помните, Павел Петрович?

Мой вопрос прозвучал для него поистине как гром в ясную погоду, он потряс его. Немец повернулся ко мне всем корпусом. Что было написано на его лице – не передать словами.

– Да, Павел Петрович, я оттуда, из-под Моршанска. Я из тех ребяташек, что ходили мимо вас в лес по дрова, по грибы и ягоды,

– заговорил я, возвращаясь памятью в далёкое детство, горькое до невозможности детство. – Наши матери, отправляя нас за лесными дарами, наказывали: “Не скупитесь! Может, и наши где-нибудь бедуют. И им люди добрые помогут”. И мы не скупились. Отдавали что было. А что у нас было? Картошка да огурец. Хлеба практически не было. А если и был иногда, то наполовину с картофельными очистками. На него смотреть-то и то было горько. Вы, немцы, его не ели. Вы просили масло да сало. А мы и вкуса их не помнили. Разумеется, вам, пленным, было голодно, но нам – ещё голоднее. А пожар...

– Конечно, помню, – встрепенулся Павел Петрович. Но прежде чем говорить о той страшной беде, свалившейся на наше село, он долго ахал и охал, качал головой в такт повторяемой им русской поговорке “Гора с горой не сходится, а человек с человеком...” Кто бы мог подумать, что через столько лет сойдутся вновь его суровая молодость и моё незавидное детство!

– Да, такого огня я и в войну не видел, – вздохнул он. – Но самое удивительное – та маленькая женщина, что нами управляла. Не управляла даже, а командовала. Ясно всё помню. Когда офицер беспомощно развёл руками, посмотрел на часы и сел в машину, она готова была сама кинуться в пламя. Голоса её я почти не расслышал в рёве огня и в женском визге. Скорее по движению губ понял: она сказала “Цу мир!” И мы все сбегали к ней. Как она чётко распоряжалась! Причём по-немецки. Это бесспорно она остановила огонь...

Пауль говорил горячо, иногда от волнения сбивался на немецкую речь. Солнце, наконец, отцепилось от корявых каштановых сучьев и покатило за горизонт. На лицо моего собеседника легли густые тени, и, может, поэтому, а может быть, от тяжких воспоминаний оно стало мрачным и жёстким. Наверно, и на моей физиономии было такое же сумрачное выражение, потому что и меня мысли понесли далеко назад.

Та маленькая женщина... Что и говорить! Конечно, я прекрасно её помню. Это наша учительница немецкого. Бедовуха горькая.

В сорок шестом, первом послевоенном году, я заканчивал семилетку. Дело близилось к экзаменам. Школа у нас была почти новая, перед самой войной построенная. Естественно, деревянная, с соломенной крышей, с печками под дрова. Но просторная, с большими окнами. Нам, детворе, она очень нравилась. Коридоры длинные, буквой “Г”, побегать на переменах было где.

Нина Михайловна, “та маленькая женщина”, была очень тихой,

мягкой. Мы, мальчишки, это сразу почувствовали и нещадно изводили незлобивую женщину. Став взрослым, как я себя корил за это, сознавая, что она, наверно, не один раз плакала из-за нашей жестокости. Но, как говорится, в тихом омуте... Правда, чертей в ней не обнаружилось, а вот характер, волю она показала. Показала как раз в тот год, в ту страшную огневую бурю. И не только характер и волю, но даже и умение повелевать. Однако это будет чуть позже. А пока мы мучили бедную нашу училку, на уроках творили чёрт-те что. Но – удивительная вещь – в этом шуме и гаме, в этом “чёрт-те что” мы незаметно, потихоньку-помаленьку накапливали приличные языковые запасы. Нина Михайловна не заставляла нас зубрить отдельные слова, грамматические правила, а давала целые фразы, понятия. Обиходные, повторяющиеся, конкретные, они легко западали в память. Для меня, во всяком случае, они стали костяком будущего знания языка.

Возвращались в село фронтовики – наши отцы и старшие братья. И учителя. Вернулся к школьному рулю наш директор. Правда, уходил он на войну Егором Матвеевичем, а вернулся Георгием Матвеевичем. Взрослые говорили, что в госпитале лежал он с каким-то Георгием, интеллигентным мужиком, и сам решил “облагородиться”. Так ли, нет ли – кто его знает. Но мы, ребятишки, считали, что он чудит, и за глаза по-прежнему звали его Егором.

Казалось, жизнь на селе стала налаживаться, входила в былую спокойную колею. И школьная жизнь тоже. А с нашей Ниной Михайловной приключилось горе. Пошёл слух в народе, что она “без памяти втрескалась” в Георгия Матвеевича. Любовь-то сама по себе – какое горе? Тем более что наша учительница – женщина молодая, незамужняя. Да он-то, Егорий наш, был женатым, двое детей у них с супругой подрастало. И нрава он был строгого, никаких романов на стороне не заводил. Она мается, Георгий Матвеевич делает вид, что ничего не видит, а мы, подростки, слушая разговоры взрослых, посмеиваемся... Знать бы, как дело обернётся, мы бы, думаю, были сдержаннее. А беда была совсем рядом. Страшная беда.

В тот злосчастный день, во время урока немецкого, к нам в класс зашёл Георгий Матвеевич, показал нам рукой, чтобы мы не вскакивали, о чём-то пошептался с Ниной Михайловной и вышел. Мы уж хотели было похихикать над этим шепотком: мол, шуры-муры, – да только на лице нашей немки была такая тревога, что нам сделалось не по себе.

Что-то случилось. Пашка Федотов тут же руку поднял:

– Нина Михайловна, можно выйти?

Разговаривать на уроке полагалось только по-немецки. Если кто-то не помнил, как спросить или ответить, Нина Михайловна подсказывала и заставляла несколько раз повторить. И запоминал не один ученик, а весь класс. Пашка забыл об этом, ему не терпелось посмотреть, что там стряслось. Едва Нина Михайловна успела напомнить ему про заведённый порядок, как вновь вошёл директор. Он опять что-то тихо промолвил Нине Михайловне. Мы загудели. Он повернулся к классу, очень серьёзный, даже удручённый, и сказал:

– Идите домой. Только поаккуратнее, лучше огородами и через речку. В селе горит что-то.

Вот оно и прозвучало тревожное слово: горит! Но Георгий Матвеевич постарался его спрятать в шелуху других слов, чтобы нас не испугать. Однако беспокойство враз перекинулось на нас, и мы выходили из школы без обычного шума и гама, придавленные предчувствием надвигающегося несчастья, масштабов которого мы ещё не знали. А они оказались ужасающими. Выйдя из школы, мы буквально остолбенели. По обеим сторонам главной улицы в нашу сторону двигалась лавина огня.

С самого апреля стояла небывалая жара, грозившая катастрофической засухой. Деревянные избёнки, крытые соломой, казалось, только и ждали искры, чтобы вспыхнуть. И нечаянная искра сыскалась. Даже не очень ощутимый ветерок легко перекидывал пламя с крыши на крышу. Крики, визг, гул огня, треск рушившихся стропил и стен. Люди металась между постройками, не в силах противостоять этой жуткой стихии. Чудилось, будто пламя само усиливает ветер, раскручивает его.

Не один десяток изб уже был охвачен пламенем, и оно быстро приближалось к школе. Мои одноклассники и ребята из других классов разбежались кто куда. Одни в обход огня пробежали к своему догоравшему жилью, другие в противоположную сторону, помогать старшим спасать утварь, выносить всё из дома на безопасное место. А мы, несколько сорванцов, чьи избы были на других порядках, в стороне от пожара, двигались по селу, словно отступая под натиском огня. И с неописуемым страхом, и в то же время с любопытством наблюдали мы за происходящим.

Я ахнул, когда увидел, как на школьную крышу поднялся Георгий Матвеевич. Он остановился на самом краю кровли, лицом к огню. Подумалось тогда: вот так же смело, лицом к лицу, он встречался с врагом на войне. Он настоящий герой, наш директор! Неподалёку от

него падали искры, клочья горящей соломы. Он сбивал их половиком, который держал в руках.

И вдруг... Я и сейчас с ужасом вспоминаю, что произошло дальше.

Ветер вырвал из горящей соседней кровли пук пылающей соломы и перебросил его через конёк школьной крыши. Огонь упал далеко за спиной директора, и тот не видел, как вспыхнуло пламя. Мы снизу дружно закричали:

– Егор Матвеевич, сзади!

Было не до церемоний с именем.

– Георгий, – громко крикнула Нина Михайловна и чуть слышно выдохнула: – Матвеевич!

Она показала рукой туда, где уже занялся костёр. Георгий Матвеевич понял, оглянулся и стремительно кинулся в этот очаг. Он бил пламя дерюжкой, а потом прыгнул в огонь и стал топтать его сапогами. На наших глазах рухнула крыша, и в самую гущу вихрящегося, закручивающегося спиралью бешеного жара упал директор.

– Егор-ор! – истошно закричала учительница, обхватив голову руками.

Она долго стояла так, словно окаменев. А над пылающей улицей, над мечущимися в небе голубями, над всеми нами и, наверно, над всей землёй летело её отчаянное “о-о-о”.

Огонь свирепел, и удержу ему не было. Тогда и увидели мы, как прибежали на подмогу немецкие пленные. Они построились цепочкой от реки и передавали из рук в руки ведра с водой. Воду лили не в огонь, бесполезно! Поливали холстины и половики, разложенные на крышах, чтобы не дать зацепиться пламени. Ими пытался командовать юный солдатик с одной лычкой на погоне и с винтовкой на ремне. Но командовать он не умел и как бороться с огнём – не знал. Дело не ладилось.

На большаке появилась легковушка – открытый виллис. Из машины выскочил полковник, проезжавший через село по своим военным надобностям. Он посмотрел на часы, сдвинул под подбородок ремешок фуражки и решительно крикнул:

– Ко мне! Цу мир!

Немцы быстро сгрудились вокруг него. Полковник отдавал чёткие команды, и пленные убегали их выполнять. А полковник всё поглядывал на часы. Видно, очень спешил. Понятно, он своему времени – да что времени, он самому себе – не хозяин. Шофёр, не покидая своего места, повторял:

– Товарищ полковник! Потом не расхлебать!

Офицер расставил людей, что-то объяснил по-немецки, ещё раз, подтянув рукав гимнастерки, взглянул на циферблат и развёл руками: дескать, ничего не поделаешь. Он прыгнул в машину и укатил проулками, огибая горящую улицу.

Много лет после этого, вспоминая ту огненную улицу, я спрашивал себя: не струсил ли полковник? И осуждал его. Поспешный отъезд его был чем-то похож на бегство с поля боя. Каким бы срочным ни было дело, которое звало его в дорогу, простило бы начальство. Ведь причина была сверхважительной. А иногда корю себя: как можно обвинять человека, не зная, куда, зачем, по какому государственной важности делу он едет. А вдруг его опоздание вызвало бы ещё большую беду!

Об этом я думал, как уже сказано, позже. А тогда было не до раздумий. Тогда я ещё раз услышал “Цу мир!” Это произнесла оказавшаяся рядом Нина Михайловна. Я невольно повернул голову в её сторону и не узнал свою учительницу. Она стала будто выше ростом и вдвое старше. Сейчас мне кажется даже, что она поседела в тот день. Но, может быть, только кажется. Может быть, я с годами просто дорисовывал в своём сознании то, чего не видел или не успел запомнить.

Но уж что я запомнил точно, что поразило меня тогда и удивляет поныне, так это превращение нашей Нины Михайловны, такой маленькой и тщедушной, такой тихой и нерешительной, в вулкан, извергающий, словно магму, великую силу, великую волю, великую способность противостоять стихии.

Ее “Цу мир!” прозвучало еле слышно, но с таким накалом, с таким правом повелевать, с такой убеждённости в этом праве, будто она собрала в один комок, в один выдох, в один миг всю данную ей Богом силу, чтобы израсходовать сполна враз, одномоментно, всю до доньшка, без надежды возродить, восполнить её. И чудилось, что эта сила передалась немецкому отряду не командой, не призывом, не звуком голоса, а какими-то неведомыми науке волнами. Немцы скорее почувствовали, чем услышали это “Цу мир!”, и – народ дисциплинированный, организованный – подбежали к ней. И как она быстро поняла, что надо предпринять, как верно сориентировалась! Улица делала небольшой изгиб, ветер тянул уже чуть в сторону, и Нина Михайловна этим воспользовалась. Она показала рукой на крохотную избёнку. Немцы мгновенно поняли её замысел. Несколько человек поднатужились, поднапряглись, поднажали – и хибара ру-

шила. А дальше проулок и пустырь. Теперь огню до следующей постройки не просто дотянуться. И всё же подстраховаться надо. Неожиданный брандмейстер кивнула головой в тот бок, и немцы, оседлав ближние кровли, покрыв их холстинами и принимая снизу вёдра с водой, надёжно отрезали дорогу огню.

Пожар остановился. Однако сгорело полсела, и без того нищего, худосочного, с гибнущими от засухи полями. И мы все носили в себе не просто осознание беды. Было ощущение, было такое состояние, будто вернулись тягостные военные времена, будто война всё ещё тут, не хочет уходить и требует новых жертв. Если не считать потерь имущества, жилья, скота, если не думать об испытанных потрясениях, жертва была лишь одна – наш директор. Бабы без конца повторяли:

– Вот ведь судьба! Войну прошёл – жив остался, а тут...

И крестились:

– Прими, Господи, его душу!

Хоронили нашего Егора – Георгия всем миром. Женщины рыдали в голос.

И его оплакивали – хороший он был человек. И свои невзгоды выплакивали.

А Нина Михайловна из села исчезла. Куда подалась – никто не знает. Слухи разные ходили, но никто её с той поры не видел.

Экзамены мы сдавали на улице, благо лето было сухое. И тем же летом нас с матерью отец, ещё продолжавший армейскую службу, перевёз сюда, на эту, тогда такую непривычную, а потом ставшую родной землю.

Пока я вспоминал, Павел Петрович ни разу не перебил меня. И когда я закончил свою повесть, нашу с ним общую повесть, долго молчал, опустив голову.

Давно стемнело. Легкие озёрные волны качали огни отражённых береговых фонарей, то сплющивая их, то вытягивая. А одна волна, покрупнее, расщепила их на части и унесла на середину озера. И были эти уплывающие огоньки похожи на перелетающие с крыши на крышу искры того далёкого, незабывного пожара.

– Вот и получается, дорогой Йохан-Алекс, – задумчиво промолвил Пауль, – что пожар легче гасить вместе.

Я молча кивнул: конечно, легче. А он добавил:

– И хорошо, когда есть кому позвать: “Цу мир!”

ЗАТМЕНИЕ

Редактор газеты «Рабочая мысль» Григорий Исаевич Пимкин, придя утром на работу и раскрыв свежий номер родного детища, обомлел. Его пухленькие щёки утратили благодостный розовый цвет и стали белыми, как нетронутый лист бумаги. Под ложечкой заныло, засосало, закрутило; потянуло в туалет.

«Как же так?» – хотел спросить Пимкин, но звуки застряли в горле и наружу вышло лишь бульканье и шипенье. Почему-то всплыло в памяти, что сегодня, такого-то числа и месяца пятьдесят такого-то года произойдет солнечное затмение. Об этом и его газета сообщила. Конечно, он посмеивался, когда, бывало, слышал, что затмение не к добру, что когда исчезает солнце – быть беде. Он не верил, будучи подкованным и по идейной, и по научной части, во всякие там старушечьи нелепые байки про светопреставление и в дурные предзнаменования. И, видно, зря! Вот она, нате вам, беда! Да ещё какая!

Накануне Григорий Исаевич лично отобрал из присланного фотохроникой ТАСС пакета два снимка, ярких, выразительных. Вчера, подписывая газету в печать, убедился, что всё на месте, подписи соответствуют изображению. А сегодня, сейчас с не поддающимся описанию ужасом он обнаружил, что текст под фотографией свиноматки-рекордистки гласит, что это великая стройка коммунизма, а панорама строительства гидроэлектростанции на Волге названа свинойей. Вот уж воистину подложили свинью!

Кто связан с газетным делом, знает, как просто происходят самые невероятные ошибки. Стоит поставить не ту букву – всего лишь одну! – и на голове его величества будет уже не корона, а ворона или корова; перепутай букву – опять же только одну! – и руководитель государства окажется не в Соединённых Штатах, а в соединённых штанах. Всё было просто и на этот раз. Печатник, приправляя клише, стараясь добиться максимальной чёткости, нечаянно их перепутал. Но поди докажи, что нечаянно. Да, всё просто, только время было непростое. К тому же Григория Исаевича природа наделила редкой трусостью.

«Всё, конец! – мелькнула мысль в помутившейся голове Пимкина. – Идеологическая диверсия».

Он уже знал, какая формулировка прозвучит, какое обвинение ему предъявят. Столько лет безупречного служения, непорочного,

преданнейшего, столько лет виртуозного священнодействия с печатным словом – и одним махом всё свинье под хвост.

Никому ни слова не говоря, Григорий Исаевич поплёлся домой. Трясушимися, липкими от холодного пота руками он собрал кое-что из харчей, взял мыло, зубную щётку, безопасную бритву, уложил всё это в узелок, присел на красшек дивана и стал ждать. Пальцы нервно проверяли, все ли пуговицы застёгнуты на полувоенном френче “под вождя”, а хромовые сапожки постукивали по половику. Ожидание казалось ему бесконечным. «Что они там, газет не читают, что ли!» – раздражённо думал он о тех, кто неотвратимо должен был появиться.

Шаги он услышал ещё издали и загодя оторвал ягодицы от дивана. Раздался решительный стук в дверь, многократно усиленный биением сердца бедного Пимкина. Вошёл человек в военной форме. Ноги Григория Исаевича обмякли. Вместо того, чтобы выпрямиться и стать во фронт, он бессильно шмякнулся на диван. Лицо его из белого стало жёлтым, а в животе опять появился крутящий момент. Вошедший козырнул и спросил:

– Гражданин Пимкин?

– Тихо-тихо-тихо! – затараторил редактор. – Я всё знаю, я уже готов.

Он снова попытался встать, но не смог. Колени у него вибрировали, и лежавший на них узелок выбивал мелкую дрожь.

– Вот и хорошо! – отозвался военный. – Сейчас составим протокольчик... А супруга ваша?..

– Не надо, не надо, не надо! – опять зачистил Пимкин. – Она на работе. Её не пугайте. Она тут ни при чём. Она ничего не знает.

– Как не знает? – удивился гость. – Она и звонила.

– Куда звонила? – опешил супруг, и в голове его стали выстраиваться картины одна другой страшнее. Он явственно видел, как его дражайшая половина, доказывая свою лояльность, сообщает о “диверсии” мужа в органы. – Она вам звонила?

– Ну да! Нам, в пожарную часть. Говорит, не лады с дымоходом, а к управдому не достучаться. Сейчас обследуем, бумагу составим, вмиг всё сделают. Так что радуйтесь!

Жёлтый цвет на лице Пимкина сменился зелёным, а кручение-верчение из солнечного сплетения опустилось в самый низ живота. Пимкина повело сперва влево, потом вправо, а потом вперёд – и он мягко ткнулся носом в половичок.

– Гляди-ка! – удивился пожарный. – Никак обморок? От радости, не иначе.

Но сомлевший редактор «Рабочей мысли» ничего не слышал и ничего не видел. Не слышал, как растерянно кудахтал подле него пожарный. Не видел, как за окном стало темнеть: начиналось солнечное затмение.

ЧЕРНИЛЬНИЦА

– Здравствуйте, доктор! Очень рад, что приехал такой молодой. С молодыми легче общаться. У молодых хватает терпения выслушать. Мы понимаем, что у вас не один вызов, что где-то другие ждут. Может, им нужнее, чем мне. Только для меня мои болячки самые большие. Мне, сказать по правде, не столько лекарство нужно, сколько внимание, умение выслушать... Ваша фамилия, случайно, не Бодров? Нет? А похожи на моего школьного приятеля, Жорку Бодрова. Может, думаю, сын. Или внук. Ну, извините. Похожи очень...

На что жалуюсь? На что в моём возрасте жалуется? На всё сразу. Тут колет, там свербит, тут дёргает, там стреляет. Один ваш предшественник сострил: “Если после сорока вы проснулись и у вас ничего не болит – значит вы умерли”. Такой вот юмор!.. М-да. Ну а я после сорока уже много раз просыпался. Так что легче сказать, на что не жалуюсь...

Конкретно? Конкретно началось с того, что вчера утром проснулся – после сорока, хе-хе-хе! – потянулся и чихнул. Как на космодроме говорят: продувка. Ну вот, продул верхние дыхательные пути – и караул! Прострелил проклятый радикулит. Неотложку вызывать не стали, жена натёрла меня какой-то гадостью. Я согрелся и уснул. Что пенсионеру делать? Особенно глубокому пенсионеру. Ну вот. Во сне, видно, вспотел, раскрылся – и готово дело, протянуло. Хриплю, сиплю, сморкаюсь, кашляю и глотать больно. Обычный набор...

Нет, доктор, кашель сухой, грудь раздирает. Вот здесь, справа послушайте. Как кашляю, плевро тянет. Чистые лёгкие? Это хорошо. Давление давайте померим на всякий случай. Нет, сейчас не чувствую, а вообще-то гипертоник. Нижняя точка имеет тенденцию... С верхней встретиться норовит. Неприятное, знаете ли, ощущение... Сколько там натюкало? Нормальное, да? Ничего, вот зашевелится

моя ишемия... Господи, конечно, есть! Чего у меня только нет! Полный букет! С детства, сколько себя помню, все болячки за мной хвостом тянулись. Мать, бывало, всплеснёт руками и скажет: “Боже ты мой, Боже! Что ж это за дитё такое! Где б какая хворь ни ходила, а его не минует. Весь в болезнях, как овца в репьях”. А ничего, видите, до солидного возраста дотянул и не хнычу... Точно, это у меня от темперамента. Сангвиник в чистом виде.

Рецептик? Спасибо, доктор! Жена сходит в аптеку. А может, и не надо. У меня тут, в тумбочке своя провизорная палатка. Столько всего скопилось.

До свиданья, доктор! А с радикулитом что делать? Знаю, что у вас мест нет, у вас их вечно нет, да я и не очень к вам рвусь. Хорошо, я этой мазью пока попользуюсь. Нет, простужаться больше не буду... А вы, доктор, по темпераменту, вижу, тоже холерик. Нет, не как я, а как Жорка Бодров... Помню, помню, что не родня, а похожи. Почитаю холериков. Я ведь, по правде сказать, размазня... Доктор, а вы в школе ни в кого чернильницей не швырялись? Извините, это я так, к слову. Да и какие теперь чернильницы!.. Заговорил я вас. Стариковское словесное недержание, знаете ли... До свидания! Рад был познакомиться. Жаль, что вы торопитесь, я бы вам столько всего порассказал. Мы, старики, на свежего человека набрасываемся, как голодный на хлеб. Про Жорку хотите расскажу? Он тоже доктор.

Ух, как дверью хлопнул! Холерик. Не от досады хлопнул, не от раздражения – от темперамента. Ну, и от занятости, деловитости. Они, современные, – рационалисты, каждую минуту считают, в рубли обращают... Не в рубли, в доллары и евро...

Холерик... Да, на Жорку Бодрова похож. Интересно, где он, Жорка. Я же о нём почти ничего не знаю. В медицинский поступил, это точно. Небось, профессор, а то и академик. Такие в гору прут, будь здоров!.. Завидовал я ему? Нет, удивлялся. Удивлялся отношению к нему учителей. Я был примерным и прилежным. Учился легко, схватывал всё на лету. Дисциплины не нарушал.хлопот со мной в школе не было. А относились ко мне учителя... не скажу – плохо. Никак. Равнодушно. А Жорку почитали и, по-моему, побаивались. Это был вулкан, материализованная энергия. На школьную программу ему было плевать. Учил лишь то, что ему хотелось. Преподавателей третирил. А в одного даже чернильницей запустил. В математика, тупейшего и скучнейшего Михаила Макаровича. Чернильница угодила в классную доску, разлетелась осколками, как граната, и оставила на

доске колоритную память о Жорке в виде бесформенного фиолетового, не стираемого и не смываемого пятна. В учителя чернильницей? – наверно, удивились вы. Помню, мы все тогда не то что удивились, опешили.

Вы, конечно, думаете, что был грандиозный скандал, исключение из школы, комсомольское собрание? Нет, грандиозного скандала не было. Был небольшой шумок, который легко погасил жоркин папа, медицинское светило, полковник, начальник госпиталя. Да и, откровенно говоря, директор наш не очень хотел поднимать шум. Уж лучше пятно на доске и на штанах учителя, чем на школе, это раз. А второе – и, пожалуй, главное! – педагогический контингент у нас был – как бы это поделикатнее выразиться? – весьма специфический. Первый послевоенный год – учтите! Бывшая германская земля, толком ещё не обжитая территория. Никаких своих традиций, сформировавшихся коллективов. Учителей не хватало, и брали буквально кого придётся. Математик Михаил Макарович, которого мы звали Му-му – не только за инициалы, но и за неумение говорить, – дай Бог чтоб имел за душой хотя бы церковно-приходскую школу. Чему он мог научить нас, особенно Жорку, развитого, начитанного, башковитого?

А с чернильницей дело было так. Жорка, помню, решил довольно трудную задачу простым, оригинальным и рациональным способом. Учителю порадоваться бы, похвалить ученика. Но Му-му не был в состоянии понять, что задачу можно решить иначе, чем сказано в учебнике, и поставил Жорке двойку. Тот взорвался, сказал что-то резкое. Му-му обозвал его наглецом. И тогда Жорка пустил в ход чернильницу. Вникнув в эти обстоятельства, директор предпочёл пойти навстречу Бодрову-старшему и не раздувать сыр-бор. Му-му ушёл.

Конечно, не все наши учителя были такими, как Му-му, но и таких было немало. И Жорке доставляло несказанную радость изводить их. При этом он был последователен и жесток. Уж невзлюбит кого, – а никчёмных людей он терпеть не мог, – преследовал и мучил жертву безжалостно. И нас вовлекал в эти недетские игры.

Особенно доставалось от него, от всех нас преподавателю географии Евсею Евсеевичу – деду Евсею, по нашей терминологии. Это был маленький, выжатый старикашка, у которого дрожали руки, слезились глаза и вечно капало из носа. Последнее обстоятельство больше всего бесило Жорку. Дед Евсей платком не пользовался, у

него, видно, и не было носовых платков. Он приносил с собой газету, отрывал от неё клочок, сморкался в него и бережно укладывал в карман.

Дети, как известно, жестоки. Хотя мы были не такие уж дети. Как-никак старшесексклассники. Но жестокости нашей тогдашней я сейчас поражаюсь. Не было у нас жалости к деду Евсею, были язвительная насмешливость, пренебрежение, даже отвращение. Эти чувства умело разжигал и поддерживал в нас Жорка Бодров. Он изображал тошнотные позывы, когда видел засаленный, затёртый чуть не до дыр пиджак Евсея Евсеевича и самого скособоченного носителя пиджака. Дед Евсей всякий раз приносил с собой в класс в качестве учебного пособия физическую карту мира и как дополнение к пособию большущий молоток и два ржавых гвоздя, которыми карта крепилась к классной доске, поверх фиолетового жоркина пятна. Может, Жорка и мы вместе с ним и не придавали бы значения карте, если бы учитель пользовался ею, но за всё время его преподавания она ни ему, ни нам ни разу не понадобилась. Впрочем, нам всё же она была нужна. Мы использовали её как мишень для стрельбы жёванной бумагой. У многих из нас были жестяные ручки в виде трубочки, с одного конца которой вставляется патрубок с пером, а с другого – с карандашом. Так вот, если оба патрубка вынуть, то оставшаяся трубка становится прекрасным стреляющим средством. Пожужь бумагу, зарядишь в трубку, резко дунешь в неё – и летит твой снаряд куда хочешь: в затылок впереди сидящего, в окошко, в потолок, в физическую карту мира. Обычно Жорка облюбовывал на карте цель и командовал: “По Гималаям!” или “По Средиземному морю!” По своей территории старались не стрелять, хотя, безусловно, попадали. К концу урока карту покрывали подсохшие бумажные ошметки.

Дед Евсей старался не замечать этой пальбы, не реагировал он и тогда, когда бумажная жвачка – случайно, нет ли – попадала в него. Он был совершенно безобидный и бесхарактерный человек. Даже когда после очередного сморкания в карман Жорка встал, подошёл к учителю и положил перед ним на стол специально приготовленную газету, Евсей Евсеевич ничего не сказал, лишь очень грустно посмотрел на обидчика. Мы дружно фыркнули, пригнув головы к партам.

Евсей Евсеевич пробыл у нас недолго. Жорка доконал-таки его. Не один он, конечно. Общей тягой, так сказать.

В ту пору коммунальные блага были у нас во дворе, в длинном

дошатам сооружении. На переменах туда бегали и ученики, и учителя. Там мы тихонько покуривали, глядели в щель и, как только завидим кого-нибудь из “высшей сферы”, сигарки вниз, в дыры. Такую дыру Жорка и использовал в борьбе с Евсеём.

Надо помнить, в какое время мы жили. Война хоть и кончилась, а словно всё ещё витала над нами. По окраинам города, по берегам речки, в ближнем лесочке валялись не только ржавые винтовки и автоматы. Не были ещё убраны подбитые танки и пушки. А уж мин и снарядов – счёту не было. И разрядить такую штуковину считалось делом обыденным. У каждого из нас дома был целый арсенал, в карманах и портфелях – куча всяких опасных игрушек. И вот на большой перемене Жорка достал из кармана детонатор, подсоединил к нему небольшой – чтоб недолго горел – кусок бикфордова шнура и наказал одному из ребят: “Зырь в щелку! Увидишь деда – скажи”.

Вскоре Евсей Евсеевич показался на ступеньках школьной балюстрады. Бодров вырвал у кого-то сигарку (сам он не курил), запалил от неё шнур и бросил в туалетное очко. “А теперь атас!” – командовал он. Мы перемахнули через школьный забор и припали к щелям. Взрыв был несильным, но эффекта достиг: дед Евсей вышел из уборной в великом смятении, вытирая ладонью многострадальный пиджак и лицо. В этот же день он покинул школу.

Что дед Евсей ушёл, я и сейчас не жалею. Хотя понимаю, что вели мы себя по-хамски. Но извёл Жорка не одного Евсея Евсеевича. Уж кого мне жаль и тогда было, и нынче, полвека с лишним спустя, так это Корнея Ивановича Лирского.

Он пришёл к нам в девятый класс не только преподавателем литературы, но и классным руководителем. Фронтвик, умница, волшебник – каждого из нас насквозь видел. Жорку, конечно, он раскусил сразу. И когда Бодров начинал, бывало, как с другими учителями, фанабериться, Корней Иванович осаживал его спокойным тоном, ироничной репликой.

Помню, однажды вызвал он Жорку к доске, а тот урока не выучил.

– Ну и чем же вам Тургенев не угодил? – спросил учитель.

Он нас на “вы” называл, голоса никогда не повышал и, что самое поразительное, двоек не ставил.

– Не нравится – и всё, – стал в позу Жорка.

– А кто нравится?

– Лермонтов, – не задумываясь, бросил Бодров.

– Прекрасно! – обрадовался Корней Иванович. – Поговорим о Лермонтове. Вы, конечно, помните, что он был в офицерском чине. Может быть, скажете, в каком именно?.. Не знаете? А с Пушкиным он встречался? Тоже не знаете?

– Не знаю. Это не по программе, – откровенно начал дерзить Жорка.

– О любимом поэте можно и сверх программы почитать.

– Не читал! Можете мне двойку поставить.

– В герои и мученики хотите? Нет, дорогой мой! Я поставлю вам не двойку, а пятёрку. Жирную-жирную. Может быть, вам стыдно станет.

И под смех всего класса он вписал в журнал против фамилии Жорки высший балл.

Это означало развенчание идола. Жорка смертельно оскорбился. Публично, на глазах у всех, в присутствии поголовно влюблённых в него одноклассники с него сорвали героический ореол, больше того – его осмеяли. И Корней Иванович Лирский обрёл личного врага. Жорка Бодров искал повод отомстить и дождался случая.

Редколлегия готовила очередной номер стенной газеты класса. С бумагой было трудно, ватманского листа взять было негде. И мы сделали газету на тыльной стороне плаката. А на лицевой стороне в обрамлении красных стягов было изображение главной персоны страны.

Корней Иванович, конечно, обратил на это внимание редакторов, и злополучную газету не вывесили. Но Жорка, как мы узнали позже, накатав “куда надо” донос: мол, с молчаливого согласия классного руководителя было совершено надругательство над портретом вождя. Сами понимаете, чем это грозило. Жорка своего добился: Корней Иванович, которого хоть и потаскали маленько, но не репрессировали, из школы ушёл и из города уехал. Якобы по переводу. Он зашёл в класс проститься, был, как обычно, спокойный, добрый, ироничный. Про всю эту историю ни словом не обмолвился. Только, уходя, долгим взглядом посмотрел на Бодрова, будто сказать хотел: “Далеко пойдёте, молодой человек!”

Таким он был Жорка Бодров. Да что был! И остался, не сомневаюсь, таким: хитрым, злым, коварным. Он, не задумываясь, на любого наступит. А таким в жизни везёт. Им карьеру сделать – что чихнуть. А такие, как я, – тихие, послушные, справедливые, – не пробьются. Иной раз сам себя пытаю: почему Жорку почитали, если не любили,

то побаивались, а меня нет? Теперь я знаю почему. Потому что он был, хоть и гнусной, но всё же личностью, а я размазнёй. Потому что он держал в напряжении класс, школу и заставлял с собой считаться. От меня подвохов не ждали, потому со мной и не считались. Любят незаурядных, пусть даже недостойных, а я никакой.

Вот такие дела, доктор! Жаль, что вы меня слушать не стали. Ну, это ничего. Всё равно, я это всё самому себе рассказываю. Может, я сожаление выплеснул, что никогда ни в кого ничем не запустил. А Жорка... О, он, конечно, далеко пошёл. Думаю, не одну ещё чернильницу раскокал. Не удивлюсь, если великим человеком стал. Учёным, политиком. Вот возьму газету, раскрою, а там портрет: лауреат, депутат, министр Жорка Бодров. Раскроем, доктор? О, портрет! Не его? Нет. Но тоже яркая личность, не размазня. Наверно, с чернильницами дело имел...

Гнусное настроение, доктор. Зря вы поторопились уйти. Депрессию бы мне сняли... Дождик пошёл. Не дождь – так себе, моросейка. Сквознячком потянуло. Знобко. Натяну-ка одеяло как следует. Вот так! Укроюсь с головой. Вздремну маленько. Хорошо-о!

Господи, ну почему я ни в кого ни разу не запустил чернильницей!

ЕРОШКА

Его всю жизнь так и звали, Ерошкой, – и в детстве, и когда за пятьдесят перевалило. Потому, наверно, что был он мал и щупл, незлобив и чудаковат. А может, и потому, что имя-то больно непривычное, старинное, звучит забавно и вроде даже не требует отчества. И какое оно у него, отчество, никто и не знал. Ни в доме, где он жил, ни на работе. А в тот день его первый раз в жизни назвали по имени-отчеству. Хотя в том-то и дело, что не в жизни.

Кем он был в жэке и сколько лет – не враз сообразишь. Есть такие люди, что всё могут. Должность у них, не предусмотренная штатным расписанием, – незаменимый работник. Ерошка был таким. Мало сказать, что он и плотник, и сантехник, и кровельщик, и электрик. Он был движком, живой плотью, главным рабочим органом жилищной конторы.

В школьные-то годы пророчили Ерошке безбедную судьбу. Светлая голова, золотые руки. Учёба давалась ему легко. Мастеровит был

мальчонка от природы. За что ни примется – сделает, быстро и ладно. Это его и сгубило. И конечно, его безотказность. Сызмальства соседи приглашали:

– Ерошка, зайди! Кран течёт.

– Ерошка, глянь! Проводка барахлит.

Он зайдет, глянет и мигом с неполадкой совладеет. Денег за услугу не брал, спасибом довольствовался. А постарше стал, люди благодарили привычным русским манером: там нальют, здесь поднесут. И не заметил, как втянулся. Что ни день – навеселе. В институт поступать, а он и на экзамен выпивши явился.

– Не больно-то и рвался, – буркнул он, когда его со скандалом турнули оттуда.

Вот о ту пору и пришёл Ерошка в жэк. Поначалу думал – на год, до следующих экзаменов, а оказалось – насовсем.

Ценили его в конторе за безропотность, за умелость, за совесть. За то, что не обижался на подначки, не мстил обидчикам. А бранили, наказывали и увольняли его – за пьянку. Увольняли и опять звали. Потому что взятые на его место пили не меньше, а дела не знали.

А у Ерошки в руках всё горело, всё спорилось. По утрам, правда, руки-ноги дрожали, но сбегает к соседней будочке, заглонёт красненького – и дрожь унимается.

Однажды заупрямился Ерошка. Велено было срочно крышу чинить, а у него как на грех на поправку ни гроша. Объясняет инженерице:

– Не могу наверх идти. Дрожь в конечностях. Техника безопасности не позволяет. Упаду.

Но инженерица на своём настояла. И конечно, упал Ерошка с крыши. Слава Богу, невысоко было, два этажа. Да и упал он как кошка, на четыре точки. Не зашибся. Встал, отряхнулся, произнёс с укором:

– Говорил же!

И добавил:

– Такая, понимаешь, пропозиция.

Он любил всякие заковыристые слова. Когда-то знал их многое множество, книжки премудрые читывал. А сейчас лишь выуживал застрявшие в памяти забавные речения, учёные термины, значения которых зачастую и не помнил. На футболе, бывало, кричит своему любимцу за удачный финт:

– Ну, протуберанец!

А другого, что больше по ногам бьёт, чем по мячу, припечтает:

– Козёл импортный!

Игрок-то не свой, а покупной, со стороны.

Ну, и судьям перепадало. “На мыло!” он не кричал, у него была своя формула:

– Судья! Мухей лавишь!

Поначалу дурачился, коверкая слова, вроде передразнивал нерадивого арбитра, а потом слова понарошку и слова всерьёз перемешались, перепутались, и не под силу ему стало делить их.

Была ли у Ерошки семья? Да как сказать... Примостился к одной горемыке, что терпела его, пьяного, обстирывала, обшивала. Поругивала для порядка.

Так и катилась непутёвая ерошкина жизнь год за годом, свычно, мерно. И сколько бы ещё катилась – неизвестно. Да только сменилась в жёке начальница. Немолодая уже, крутого нрава особа принялась наводить порядок.

– Новая метла! – ухмыльнулся Ерошка, ещё не зная, что его первого она и огреет. “Метла” не вымела Ерошку. Она вывесила в коридоре уж вроде изжившее себя чудо – стенную газету. Был в ней расписан Ерошка как беспробудный пьяница, никчёмный человечешко, никому не нужная отрыжка. И нарисовали Ерошку с большим красным носом и с мешками под глазами, хотя не было у него ни красного носа, ни подглазных образований.

Ерошка увидел, что в коридоре толпится народ. Ничего не подозревая, подошёл и сострил:

– Чё, премию дают?

А когда почитал, что написано, как-то весь сник, будто ещё меньше ростом стал. Он не обиделся даже, а усовестился за “новую метлу”, за её неумение видеть людей. Про пьянство ладно бы, не спорю, грешен. А про никчёмность да про отрыжку зачем? Разве дела своего не знаю, от работы отлыниваю?

Народ вокруг смеялся, и Ерошка смущённо, жалко эдак хихикнул, почти всхлипнул и отошёл от срамного листа. Но тут же вернулся, словно не веря, что это про него. Опять пробежал глазами отпечатанные на машинке строки и почувствовал, как стена стала наползать на него. Он попытался было удержаться за неё, но она вдруг пошла назад... Он улёгся, свернувшись калачиком, как, бывало, лежал пьяный.

Назавтра вместо злополучного листа появился другой ватман, в

чёрной рамке. И выходило из него, что был Ерошка старейшим работником жэка, добросовестным и незаменимым. Что звали его Ерофеем Петровичем. Что сердце он имел доброе и чуткое.

Хорошо написали, трогательно. Только Ерошка этого уже не прочтёт.

НОЛЬ И ФУНТ

Живёт в городской блочной многоэтажке ничем вроде бы не примечательный человек, рядовой пенсионер Пахом Еремеевич Дерюгин. Вроде бы. А на самом деле, не только примечательный, но и замечательный. Ведь это он по социальному статусу пенсионер, а по складу ума философ, оптимист по натуре. Общаться с ним – одно удовольствие. Он может без конца рассказывать, какие с ним приключаются истории. А если не хватит реальных – придумает, да так, что любо-дорого слушать. И начинает он всегда одинаково: «Не, я так скажу...»

Вот одна из его историй.. Судите сами, реальная или придуманная.

Не, я так скажу: маленький человек при власти – большая беда. Ему же показать охота: вот, дескать, хоть я и маленький, а с тобой что хочю сотворю. И начинает кочевряжиться.

Намедни иду за пенсией. Обычное дело, привычный маршрут. И по дороге – дай, думаю, в магазин загляну. Не в магазин, а в этот... как его?.. хе-хе... шоп. Прости, Господи! Ну, вот. Захожу, значит. Блеск, зеркала, бутылки. Голова кружится, глаза разбегаются. Девушка стоит; одёжка на ней, как говорится-молвится, куца – верхний край с нижним норовит сравняться. Видно, навар жидковат, на платьишко не хватило. Стоит она – на меня ноль внимания, фунт презрения.

– Почём, – спрашиваю, – вот это?

Молчит. Другой раз спрашиваю. Погромче. Может, думаю, у неё со слухом нелады. Она голову не поворачивает, рот не открывает, а мычит мимо меня:

– Написано.

– Дак старый я, не вижу

– Очки надень!

– А меня учили, – говорю ей спокойно-вежливо, – что старших надо уважать. И ещё учили, что человек человеку...

А она перебивает:

– Переучивайся!

Сказать по правде, я от хамства теряюсь. Потом-то придумаю: вот что и вот что надо было сказать. Чтоб сама запомнила и детям, как говорится-молвится, наказала. Но это потом. А тогда – будто язык отнялся или к небу присох. Ушёл молчком, а про себя думаю:

«Кто ж тебя такую сотворил-сварганил? Кто обучил-воспитал? Неужто с отцом-матерью тоже этак разговариваешь?»

В таком настрое на почту пришёл, за пенсией. Народу, слава Богу, никого. Вот, думаю, повезло. К окошку подхожу, девушка бумажки перебирает. Шустро так, будто всеми пальцами сразу. Жду. Она бумажки перелистала, пачку перевернула и с другого конца листать стала. Ещё ловчее прежнего, ажник шелест – на всю округу. Я так вежливо кашлянул и паспорт в окошко сую. Она на меня тоже – и ноль, и фунт.

– Девушка, – говорю, – моё число нынче. Найди, милая, мою карточку. Пахом Дерюгин я.

Она чего-то буркнула, не разобрать.

– Чего, чего? – переспрашиваю.

Она как рыкнет:

– Не видишь? Занята.

Ну, думаю, обидели человека. Пошуткую – отгает.

– Дак ты, – говорю, – бумажками занята. А я, как говорится-молвится, живой человек, пока что. А человек человеку... Ты меня отпусти, а бумажки подождут.

Она молчит. Опять в бумажки уткнулась, по третьему разу шерстить их пошла. Долго шерстила. Потом стопку эту куда-то вниз сунула, встала и упорхнула. Ну, думаю, мало ли что. Нужно человеку. Потерплю. Десять минут проходит – нету. В другом окошке спрашиваю: куда, мол, делась? Придёт, отвечают. Опять жду. Нету и нету. Я снова в соседнее окошко:

– Где подружка ваша?

– На обеде

Ну, тут я раскипятился. Шум поднял, начальника требую. Долго шумел. Дошумелся – вместо начальника милиционера позвали. Тот меня, понятное дело, в отделение. А там мои документы поглядели и давай меня отчитывать, давай стыдить-срамотить:

– Как же так, гражданин Дерюгин, дорогой Пахом Еремеевич! Старый человек, заслуженный, а нарушаешь. В общественном месте, в состоянии алкогольного... Протокол составим.

Я милицейским ребятам, понятное дело, честь по чести объясняю:

– Мне не то что стадию алкогольную, хлеба купить не на что! За пенсией приходил.

Всё растолковал. Вроде поняли. Показали, где расписаться, и отпустили. Вот, думаю, хоть тут со мной по-людски. А через неделю получаю по почте конверт казённый, а в нём предписание: за нарушение общественного порядка штраф. Читаю я эту бумагу и в толк не возьму: это что же творится-деется? Ну, куда человеку податься? Да и не человек я, выходит, а ноль. А козявка – и та, что за прилавком, и та, что в окошке, – значит, фунт. Жаловаться? А кому?

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Сидим мы как-то раз с соседом у него на даче. Пьем чай. О том, о чём рассуждаем. Лето жаркое. Распарились, рубахи поскидывали. И вижу я у него на руке, пониже локтя, не очень большой, но и не такой уж маленький шрам.

– Бандитская пуля? – банальной хохмой начал я расспрос.

Он помотал головой:

– Не-е! Лебединая песня.

И вот какую историю поведал.

– Я тогда на «Москвиче» шоферил, на фургончике. Отвёз товар в магазин на окраине города, разгрузился, накладную в карман, гоню назад. Приёмник включил, про лебединую любовь песня звучит. И вдруг вижу впереди дивную процессию. Прямо по шоссе топает лебедь – то ли мама, то ли папа, за ним семь лебедей, а позади опять взрослый – то ли папа, то ли мама. Дорога узкая, объехать не могу. А они посередке важно вышагивают.

Лето тот год было засушливое. Видно, водоём, где они гнездились, пересох, а кормиться-поиться надо. Взрослые-то – велика беда! – перелетели бы, а малышня когда ещё на крыло станет. Вот пешим порядком и двигаются.

Ну, посигналил я – никакой реакции. В окошко высунулся, пытаюсь объяснить: мол, так и так, прими на обочину. Никакого внимания. Сзади ещё машины подошли, тоже сигналият. Пробка. Один из машины вылез и ко мне: что если, дескать, в фургончик их погрузить? До озера довезём, быстрее будет. Легко сказать – погрузить. А попробуй! Я к заднему подошёл, хотел его в охапку. А он шею

вытянул, зашипел, как гусак домашний, и на меня. И второй тут как тут. Такая заваруха началась. Что делать?

Тот шофёр, что лебедей ловить удумал, другую идею подаёт. Давай, говорит, маленьких в машину покидаем, а эти и сами доберутся. Ну, давай! Я ловлю, а он дверку наготове держит. Только я одного лебедёнка схватил, в машину кинул, как этот шипун замыкающий – прыг на меня! Крыльями лупит и клювом в руку вцепился. Здоровый, чуть с ног меня не сшиб. Пока я от него отбивался, напарник самозванный ещё пару птенцов выловил. Второй родитель на выручку кинулся, да не на него, а в фургон, к детишкам. И драчуна я от себя оторвал, в машину засунул. Вместе с куском своего мяса.

Народу набежало – как на пожар. Кто со смеху покатывается, кто остальных малышей ловит. А одна сердобольная бабуля видит кровь у меня из руки хлещет, косынку сняла и рану мне перевязала. Сестра милосердия!

Думаешь, этим дело кончилось? Дудки! К водоёму подъехали. Я дверцу открываю: мол, битте-дритте, прибыли. А они не выходят. Малыши прыгать боятся, а взрослые без них не идут. Я их и так, и сяк уговариваю. Я ж на работе, у меня времени в обрез, а они ни в какую. Суетятся, вроде между собой переговариваются. Потом драчун главный выпрыгнул, на меня шипанул, я в сторону. Думаю, ну тебя к лешему. Второй раз мной не закусишь. А он от меня отвернулся, к земле стелется, шею тянет, туда-сюда хвостиком двигает, будто ребятню выпрыгивать уговаривает. А второй, который внутри, давай их оттуда по одному выталкивать. А потом и сам вылез. Озерцо увидели, к воде закосолапили. У кромки остановились, ко мне обернулись и что-то прогагакали. Вроде как спасибо сказали. Выходит, за экологию я пострадал. Такая вот была у меня «лебединая песня».

Сосед закончил рассказ. Я нажал кнопку приёмника, из него полилась песня. Конечно, про лебединую любовь.

НАЙДА

Курсант Фёдор Грушин возвращался в казарму. Он вышел из трамвая, перешёл улицу близ памятника авиаторам Балтики и тут увидел её. Собака смотрела просительно, но не униженно, сохраняя достоинство. Наверно, этим она и приглянулась Феде.

– Что, дурашка, проголодалась? – спросил он. – Ладно, держи!

Он отломил кусок от батона, который держал под мышкой, и положил на асфальт. Собака доверчиво подошла и взяла хлеб. Она ела не жадно, хоть видно было, что на диете давно. Съела и выразительно посмотрела на Грушина.

– Ещё? – понял он. – А что я скажу моему другу Пашке? Он же не уснёт, если батон не смолотит. Ну, так и быть...

Фёдор отломил ещё кусок и протянул псине на ладони. Она взяла аккуратно, не прикасаясь мордой к руке человека.

– Ишь какая воспитанная! – удивился будущий моряк. – Как звать тебя? Жучка?.. Пальма?.. Найда?..

Собака повиляла хвостом.

– Значит, Найда... Не сердчай, подружка, больше не дам, Пашке не хватит. Прощай!

Курсант зашагал в сторону проходной. Через несколько шагов оглянулся. Найда шла следом.

– Мы так не договаривались. Тебе туда нельзя. Понимаешь, не положено.

Она вроде поняла и не делала попытку пройти вместе с ним. Но когда парень миновал проходную, Найда уже ждала его. Известное дело – собака лаз найдёт. Грушин лишь развёл руками, удивившись найдиной расторопности. Так они и шли до самой “общаги”: курсант впереди, собака на два шага сзади.

– В кубрик тебе нельзя, – объяснил Фёдор. – Где ночевать будешь?

Но она была опытной псиной. Утром, когда курсанты высыпали на зарядку, Найда вынырнула из-под крыльца тутошнего магазинчика. Она безошибочно выделила в общей массе своего кормильца и подошла к нему. Фёдор потрепал её по лохматой голове. Но когда то же попытался сделать Пашка, она оскалила зубы.

– Это в благодарность за мой батон? – усмехнулся Пашка. – Ладно, жди нас после завтрака. С камбуза чего-нибудь принесём.

«Чего-нибудь» оказалось прилично. Найде около её конуры поставили две персональные алюминиевые миски – с едой и с водой. Теперь у неё были «и стол, и дом», и свой регион обитания и охраны.

У Найды началась нормальная жизнь: служба, кормёжка, общение с хозяином, с Фёдором то есть. Но – увы! – это продолжалось недолго. Фёдор был на последнем курсе. И вот пришла пора, когда лейтенант Фёдор Грушин отправлялся к месту своего назначения. В последний раз откозыряв родному училищу, он с лёгкой покла-

жей вышел на городскую улицу, чтобы поймать попутку до вокзала. Найда, конечно, была рядом. Она и мысли допустить не могла, что ей предстоит разлука с наконец-то обрётённым повелителем, с тем, кому она готова была повиноваться и быть преданной всю жизнь.

Остановился уазик. Фёдор сел, а её не позвал. Собака вопросительно посмотрела на хозяина, забеспокоилась и заскулила, будто спрашивая, как ей быть. Не получив ответа, Найда попыталась тоже забраться в автомобиль.

– Нельзя, Найда! – остановил её Грушин. И неосторожно, необдуманно приказал: – Жди здесь!

Он уехал. Найда даже не сделала попытку бежать следом. Ведь хозяин велел ждать. И она стала ждать. Ждала до самой ночи, то лёжа в сторонке, на тёплом асфальте, то суетливо бегая по тротуару. Но хозяин не возвратился. Ночевала она дома, в своей уютной конуре, но и на минуту не сомкнула глаз: прислушивалась, принюхивалась, тревожилась. А утром, не обнаружив Фёдора на плацу, Найда побежала туда, где он велел ждать. Его не было и там.

Найда помнила, в какой машине он уехал, и стала перехватывать все уазики. Пропускала «Волги» и иномарки, «Жигули» и «Москвичи», не обращала внимания на грузовики и автобусы. Но ни один уазик не пропускала. Она не облаивала машины, ничего не просила. Она только хотела убедиться, не здесь ли он. Увидев перед капотом автомобиля собаку, водители тормозили. Кто удивлялся, а кто, понимая, что так собаки ищут хозяина, говорил ей:

– Нет его здесь. Видишь, нет.

Она скулила, извиняясь, и снова ждала.

Так длилось немало дней. Найда исхудала. В глазах её поселилась тоска. Но она верила, что хозяин вернётся, что он в одной из этих машин. И она продолжала их проверять. Водители, постоянно ездившие по этому маршруту, уже привыкли к ней и сочувственно спрашивали:

– Всё ждёшь, бедолага?

Ей соболезнавали, её уважали за верность и настойчивость. Машины всегда останавливались. Все останавливались, а одна не останавлилась. Её водитель, вернувшись в гараж, рассказывал приятелям за кружкой пива:

– Звук из-под колёс смачный такой: хрясь!

Шофёр заливался смехом и не видел, с каким презрением смотрели на него друзья. Бывшие друзья. С этого дня они не пили с ним пива. И кличку ему дали – Хрясь.

ГОЛОВА

– Ты что же, таблички не видишь? Целых пять метров мимо остановки проскочил, – распекал водителя автобуса пожилой, уважаемый гражданин. Распекал строго, но не грубо.

– Виноват, Иван Иванович, – заулыбался в ответ шофёр.

– Тебе хиханьки да хаханьки, а мы, старики, догоняй тебя, да? – не унимался Иван Иванович. – Непорядок!

Иван Иванович в автобус не сел, а прошёл мимо, ворча:

– Распустились, понимаешь! Никакого тебе порядка!

Профессиональное журналистское любопытство побудило меня спросить водителя:

– Кто таков? Чего он к тебе прицепился, старый придира?

– Он не придира. Он – голова. Порядок любит. У него и любимое слово – порядок.

Из того, что рассказал словоохотливый шофёр, а позже другие граждане этого маленького городка, я разузнал историю Ивана Ивановича, тутошнего многолетнего мэра, недавно вышедшего на пенсию. Горожане подтрунивали над ним, над его въедливостью, но ценили как истинного хозяина города. Не так часто бывает, чтобы местную власть все дружно почитали. А Ван Ваныча не просто почитали, а любили. И он их, «верноподданных», тоже.

Какие возможности у крохотного городишки, скорее похожего на большую деревню? Почти никаких. А он умудрился образцово всё устроить. Уговаривал, грозил, требовал, понуждал, но первым делом убрал с улиц на задворки, за дома и сады хозяйственные постройки, коровники, свинарники и навозные кучи. Хочешь держать скотину – сколько угодно! Вот пастбища, вот молокозавод и колбасный цех – сдавай излишки продукции! Но навоз спрячь! Тебе же лучше – к огороду ближе. Палисадник перед домом и ярко выкрашенный штакетник – обязательно.

Заставил коммунальщиков засадить город розами, а милиции велел глядеть в оба, чтобы не воровали цветы. Да никто и не воровал, потому что у всех свои. Потому что всех, кто хотел, саженцами снабжали, и не дорого. Городок в буквальном смысле расцвёл.

Не велики предприятия – молочный завод и колбасный цех, а работой народ обеспечили. Плюс автохозяйство, столярная мастерская, прудовое рыбоводство. Люди заняты, без дела не шляются. Пьяного

на улице редко увидишь. А если появится кто – упаси Бог на глаза Ван Ваньчу попасться!

Откуда он взялся здесь, чужак? Судьба закинула. Судьба в лице строгих партийных органов. Давно это случилось. Он, тогда ещё молодой партийный секретарь, в сравнительно крупном городе, районном центре, «перспективная кадра», увлёкся чужой женой. А такие фортели не поощрялись и не прощались. Вот и полетел Иван Иванович в низ служебной иерархии. Не стал кручиниться, а впрягся в дело. Работать и сам любил, и аппарату (аппаратику!) своему покоя не давал. А главное, с женой (краденой!) повезло: жили душа в душу.

Прошли годы. Сняли с Ивана Ивановича партийное взыскание, предложили должность побольше. Но он отказался. Не из-за обиды, нет. Сжился уже с этим городом. И теперь, когда пришла пенсионная пора, он никак не может отрешиться от привычных забот. Был головой города (не главой, а именно головой!), так и остаётся. Негласно, конечно. И люди его понимают, и новый мэр тоже.

Хороший он человек, Иван Иванович.

**ЭПОХА
ПАШКИ КУСТОВА**

ПОВЕСТЬ

В нём чуялась кремнёвая порода.

Валентин Устинов

Полюби меня крепко,
Чтоб единой судьбой,
Словно дерево с веткой,
Был я связан с тобой.

Валентин Сорокин

Глава первая

АВЕРЬЯНЫЧ

Вот сейчас, за этим погорком, раскатанная до лысого блеска шоссейка нырнёт в лошину, пробежится по сумеречному, сыроватому от заболоченной речной поймы ясеневому тоннелю, озябнув, выскочит на полевой простор, к летнему солнышку, к дружно спеющим хлебам, последний раз озорно крутанёт вправо – и покажется Липовка.

– Быть тебе Липовкой, раз вся ты в липовом цвете и медовом духу! – рассудили те, кто починал обживать эту землю после войны. Да и чего было мудрить! На свой, русский лад окрестили...

Я глядел в запылённое автобусное оконце, тянул шею, чтобы поскорее увидеть её черепичные (старые) и шиферные (нынешние) крыши, густые сады, устало опустившие перегруженные плодами ветки. Нетерпеливо ёрзая на дерматиновом сиденье, я уже явственно ощущал аромат ещё незрелых яблок, парное, вольное дыхание земли, такое крутое и осязаемое, что его хотелось потрогать руками, слышал счастливые пчелиные погудки на огуречных грядках и могучих липах.

Эта самая обычная, простецкая деревня стала средоточием моих забот, радостей и огорчений, стала близкой мне судьбами своих людей и своей собственной судьбой...

Автобус подкатит к сельской площади. Я вылезу и не пойду в правление, а мимо скверика на липовом взгорке с обелиском в сиреневом полукружии за железной оградкой, мимо сельповского магазина, мимо многого другого, о чём позже расскажу, подамся к Аве-

рьянычу. Явлюсь и с порога, после “Доброго здоровья!” привычно спрошу:

– Какие новости?

И он привычно буркнет:

– Какие у нас новости!

Это стало у нас чем-то вроде пароля. Всякий раз, когда журналистская судьба-непоседа забрасывает меня сюда (а случается это часто), я останавливаюсь у Аверьяныча. Суровый, своенравный старик живёт бобылём. Жену он похоронил сколько-то годов назад. Одиночество и годы давят ему на плечи, и он заметно сутулится, хотя всё ещё и высок, и крепок. Косматые брови наполовину прячут его, так и хочется сказать – поседевшие – глаза: они выцвели, полиняли до серо-стального, как борода и невыпавшая шевелюра, цвета.

Подворье Аверьяныча почти в конце вытянувшегося вдоль шоссе села. И я люблю по пути от автобуса или от правления к его дому повертеть головой туда-сюда, опять и опять порадоваться садам и палисадникам, окрестным буграм и ложбинам, пригожей речке и перелескам. Здесь свой особый уклад жизни, степенный, размеренный, основательный. Только глянь на дома и дворы, крыши и ограды – и почувствуешь симпатию к живущим здесь людям, к большинству из них. Само собой, к большинству, а не ко всем. Потому что к хозяевам вон той осевшей хибарки симпатии у меня никакой. И сейчас я наверняка услышу, как местная власть честит Макара Петрунина:

– Тебя, Макар, и при твоём росте скоро из бурьяна не видать будет.

А Макар невозмутимо кинет:

– Мой бурьян – мои и хлопоты.

И начальство, не теряя выдержки, согласится:

– Верно, твой бурьян – тебе и штраф платить.

– Из зарплаты вычтешь, – осклабится Макар, зная, что высчитывать нечего и не из чего: не заработал.

– Мальчишек-школьников тебе прислать, чтоб окосили? И не срамно?

Кабы было срамно, Макар сам бы скосил бурьян на своей усадьбе. Ему не срамно. Как и его супружнице Лизавете, удостоенной на селе стыдного и меткого прозвища. Какого – о том речь впереди. И не им одним не срамно. Горько видеть, как лопухи и чернобыл, осот да пырей, одуванчики да лютики заполонили иные огороды, распозлись вдоль канав и заборов, нагло пьют разноцветные свои зрачки

из клумб и палисадников. Неискоренимы, что ли, как сорняки, извечные “А, ладно!”, “Ну и пусть!” – ленивые спутники нашей жизни?

Да нет, что уж я так! Вон как славно всё у Анны Ивановны Федякиной, у Белоусовых, у Анфисы Батуриной, тоже, кстати, имеющей прозвище, которое, хоть и повязало её с Лизаветой Петруниной, а обидного в себе ничего не содержит. Душа радуется на их подворья глядеть. И на эти, и вон на те.

До теплоты сердечной нравится мне пруд неподалёку от центра села, не заросший, дырвыми автомобильными крышками и прочим хламом не заваленный, широкий и тихий. Облюбовала его пара лебедей и из года в год гнездится здесь. Аверьяныч смастерил для них посередке дощатый островок с домиком, и лебеди благодарно и доверчиво обжили его, птенцов выводят.

Отсюда, от пруда, окольцованного неохватными, дряхлеющими вёслами, улица, обходя машинный двор и коровники, извивисто сбегает к речке. На её берегу и примостился аверьянычев терем. Легкий, белого кирпича. На стенах и вокруг окон – оранжевая орнаментная кладка. На окнах – узорчатые резные наличники, такая же резьба по перильцам и карнизу крыльца. Дед сам ставил дом, сам украшал его. Дом чистый, аккуратный. И хозяин его большой аккуратист и большой знаток по части политики.

– Растолкуй ты мне, милоч, – допытывался он у меня как-то во время чаепития, – чего это американцы, ядрёный корень, артиста в президенты выбрали.

Это ещё тогда, когда в Америке правил Рейган. А “ядрёный корень” – любимое дедово присловье. Разные оттенки он в него вкладывает. То ворчливый: “У-у, ядрёный корень!” То одобрительный: “Ишь ты, ядрёный корень!” А чаще никакого. Говорит просто так, незаметно для себя.

Про Рейгана я, как мог и что знал, объяснил. Аверьяныч выслушал, не перебивая, и с сомнением побрякал:

– Может, и так. Только я своим убогим умом по-другому рассуждаю.

Насчёт “убогого ума” Аверьяныч, конечно, прибеднялся. Старик он мудрый, много чего на своём веку повидавший. Людей насквозь видит и судит обо всём по-своему, иногда неожиданно.

– Я так разумею, – продолжал он. – Надоели людям натуральные политики...

– Профессиональные, – подсказал я.

– Ну да. Видать, дюже друг с дружкой схожие. А артист кого хочешь изобразить может. И изобразил он вождя, какой на других не личит. Ну, и понравился, стало быть, людям...

Мне бы деликатно смолчать, а я, человек горячий, давай спорить да неосторожно обронил: примитивное суждение. И старик обиделся. Обиду свою прямиком не выказал, а замкнулся, и мне большого труда стоило вину свою загладить. Но слов этих он не забыл и позже, чуть, бывало, мой верх в споре, обязательно съязвит:

– Знамо дело, примитивное суждение.

Переступив порог аверьянычева дома первый раз, я оторопел. Передний угол был весь увешан иконами. Такого иконостаса в домах мне прежде видеть не доводилось.

“Старик-то богомольный”, – подумал я и про себя ругнул председателя колхоза Василия Михайловича Морозова, который сосватал меня сюда на постой, не предупредив об этой деликатности. Я беспокоился, как бы ненароком не совершить какую-нибудь оплошность, нечаянно не задеть веру хозяина. Но вера у Аверьяныча оказалась весьма своеобразной. Удивило меня, к примеру, что посреди иконостаса, в обрамлении святых оказался экран телевизора. Приученный со школьной поры деликатно относиться к чувствам верующих, я не спросил напрямую: “Не грешно, телевизор и иконы вместе?” Но вопрос этот, надо полагать, был написан на моей физиономии. Аверьяныч прочёл его и окончательно сразил меня:

– А ты не дивись. И тут образа, и там образа.

И всё-таки, подумал я, на Сейфуль-Мулюкова молиться не пристало (как раз он был на экране). А дед продолжал:

– К примеру, этот вот Фулюк... Чем он хуже Миколы-Угодника? Микола, хоть и справный святой, а к мировым вопросам неспособный. А этот вишь как всё по полочкам раскладает. Знамо дело, чтоб войны не было, я скорей ему поклон положу, чем угоднику.

“Издевается он надо мной, что ли?” – размышлял я. Гляну на старика, а у него в глазах полный серьёз, никакой тебе смешинки, искорки ироничной.

Я тогда ещё не знал, что дед любит загадки загадывать, ошарашивать собеседника и наслаждается, глядя на его растерянность. А ошарашивал он меня не единожды.

Как-то раз проездом заскочил к нему. Говорим о том, о сём. Он меня всегда в курсе всех последних событий своего села держит, а я ему областные новости привожу. Так вот, говорим, рассуждаем, спо-

рим. Вижу, одна икона тыльной стороной повёрнута. Думаю, убирал, пыль вытирал и забыл на место поставить. Потянулся было, чтобы повернуть к свету святой лик, только слышу:

– Не трожь! Он наказанный.

Аверьяныч, довольный, что впечатление произвёл, на какое рассчитывал, не спешит объяснять, что и как, ждёт вопросов. Я иду ему навстречу.

– Не обидится? – спрашиваю, кивая головой на подвергнутого взысканию.

– Должен обидеться, – невозмутимо разясняет Аверьяныч. – А коли нет, какой резонт епитимью на него накладывать?

– Если обидится, он же оплатит, – упорствую я.

– Святые не мелочные. Это раз. А по-другое, он же виноватый.

Пушай к народной критике приноравливается.

– Чем же он провинился?

– Он знает чем, – скрытничает дед.

– А не строго ты с ним? Как нашкодившего мальчишку, носом в угол.

– У меня для них свой устав. Какая промашка – такой и взыск. Бывает, и вовсе снимаю на разный срок.

– Странная у тебя вера.

– А какую надоть? Чтоб до шишек на лбу об пол колотиться? Бывает, иной раз и я колочусь, но с разбором. Как у вас в газетках пишется, с критическим уклоном. Желаеться, чтоб я тебе молился, уважай мою волю.

– Корыстно получается.

– А они, думаешь, без корысти? Поди, ядрёный корень, учёт ведут, сколько раз перекрестишься да сколько поклонов положишь.

Подивился я Аверьянычу и его вере и поделился своим удивлением с Морозовым.

– Знаешь, в чём исток его разлада с религией? – сказал Василий Михайлович, когда мы, утомившись от производственных тем, переключились, как тогда модно было говорить, на “человеческий фактор”.

Он захлопнул папки с бумагами, задвинул ящики стола, запер сейф и, усевшись на диван, произнёс свою любимую формулу:

– Посидим-помолчим-покурим.

Молчать он, правда, не любит, а курит зверски, причём признаёт только махорку, сдобренную белоцветом донника. Этот “ароматный

состав” (определение Морозова), это “богопротивное зелье” (моё!) курят лишь два человека на всё село: он да Аверьяныч. И сельмаговская продавщица только для них и завозит махорку. Морозов напустил полный кабинет свирепейшего дыма и, переждав, пока я прокашляюсь, рассказал:

– Давно это было. Случился у нас на селе пожар. Ночью от молнии. Сгорела у Аверьяныча усадьба дотла. У него в ту пору деревянная избёнка была. Это уж потом колхоз помог ему белокаменные палаты поставить... Ну вот. Он тогда колхозные амбары сторожил. Увидел – польхает его изба, прибежал со своим ружьишком, а всё уж в огне. Растерялся, что выносить – не знает. Старуха его успела несколько икон спасти. А больше-то почти ничего и не удалось вытащить. Видит Аверьяныч, что ни кола, ни двора у него не осталось, ничего, кроме икон, А с иконы на него святой глядит и перст вверх тянет: мол, вот как я тебя наказал. Осерчал старик, берданку свою вскинул, да как бабахнет в Илью-пророка. Дескать, ты в меня стрелу огненную пустил, а я в тебя. Вот и квиты.

“Нет, – подумалось мне, – это не исток, это повод. А веры в нём подлинной и не было”.

Я сказал об этом вслух. Василий Михайлович согласился:

– Нет у него истинной веры, это точно. По привычке крестится. Для людей, для приезжих особенно, спектакль разыгрывает. Старушки-богомолки пытались его урезонивать, а он в ответ: “Грешен, матушки! Вот поеду в город, схожу в храм, покаюсь. Простит Господь”. Говорит на полном серьёзе. Когда это говорит, может, и впрямь показаться хочет. А потом опять за своё.

Вспомнив что-то, председатель засмеялся.

– Зашёл я раз к Аверьянычу по какому-то делу, не помню, по какому, а он молится. А мне как на грех некогда, уборка началась. Да, на ток я его позвать решил, рабочих рук не хватает... Ну, вот. Извини, говорю, Аверьяныч, дело есть. Он крикнул, а ко мне не поворачивается. Грешно, говорят, молитву прерывать. Да-а... Стоит он на коленях, поклоны отвешивает. Я опять: оторвись, дескать, на минуту. Он снова крикнул, уже посердитей, а ко мне – ни-ни. А когда я в третий раз сунулся, он вслед за “Господи, помилуй!” такого матюка загнул – хоть стой, хоть падай.

И Морозов захохотал, широко, с удовольствием. Я тоже засмеялся. И оба мы закашлялись, захлебнувшись: он – смехом, а я – дымом.

При случае я напомнил Аверьянычу председателей рассказ.

– Был грех, – без улыбки признался он. – Досада взяла. Ведь за него, за председателя старался. Не себе, колхозу урожая просил. А он под горячую руку... Ну, да Господь не злобив, простит.

От автобусной остановки до аверьянычева дома минут десять спорой ходьбы. Иду по селу, здороваюсь то с одним, то с другим – много у меня здесь знакомых. Солнце уже поползло вниз, к речному берегу, но жарит крепко. Июль перевалил на вторую половину. Вот-вот жатва начнётся, а я с детства до дрожи в теле люблю страдную сутолоку. Помню, мужики выходили в поле с косами. Это были необычные косы. Чтобы жито ложилось колос к колосу, стебель к стеблю, не путалось и не мялось, чтобы бабам легче было вязать его в снопы, над лезвием прилаживали лёгкую орешниковую решётку – грабки. И называлось это орудие уже не коса, а крюк. Не передать трепетного чувства, с которым мы, деревенские мальчишки, вертелись об эту пору подле взрослых – вроде бы помогали, а больше, конечно, мешали. Но нас не прогоняли. Мы шелушили колосья, дули в ладони, вывевая остья, и жевали тёплые, начинающие твердеть зёрна.

Эту мальчишескую трепетность я сохранил по сей день и с волнением и радостью смотрю всегда, как торжественно всплывают в загонки комбайны. Я и сейчас приехал за этим. Дожда уже дней десять не было, хлеба подходили быстро, и я представлял себе нетерпение тех, кто их растит. Специально приехал к вечеру, чтоб с утра пораньше быть в поле.

Вот и аверьянычево жильё. Толкаю басовито скрипнувшую дверь и произношу наш давний пароль:

– Доброго здоровья, Аверьяныч! Какие новости?

И слышу привычный отзыв:

– Здоров был! Какие у нас новости!..

Аверьяныч не спеша возится у печки, готовит варево для поросёнка и между делом ворчливо балагурит:

– Опять же, кому как. Иному и курица чихнёт – новость...

Залез ухватом в печь и сам чуть не наполовину в неё упрятался, подвигал чугунами и горшками и как бы между прочим уронил:

– Пашку Кустова звеньевым назначили.

Глава вторая

МАЙСКИЙ ГРОМ

– Кустова звеньевым? – изумился я, хотя по правилам принятой между нами игры следовало изумляться молча, чтобы продлить деду удовольствие. – Вот те на! Он, что, переиначился? Переродился? Чужие зубы кулаками не считает, чужие скулы не охаживает? Может, Зиночка повлияла?

Аверьяныч сунул ухват в угол и с укоризной поглядел на меня. Дескать, чего спешишь, ядрёный корень? Новость, как справный обед, обсмаковать надо.

– Город бросил, в колхоз вернулся? – продолжал я нетерпеливо допытываться.

Нетерпение моё было не только от темперамента, но и от жгучей симпатии к этой непростой паре – Пашке и Зиночке. Симпатии, осложнённой необузданным пашкиным нравом. Богатырь, мозговитый умелец, любую сельскую машину на ощупь знающий, и – буян, чей непокладистый характер доставляет и ему самому, и окружающим немало хлопот. Местные парни хорошо знают вес его кулаков, а девочки – грубоватую снисходительность. Но он присох к Зиночке, накрепко, словно сваркой приделанный.

Так уж вышло, что занозила мою душу судьба Пашки и Зиночки. Очень хотелось, чтоб сладилась у них жизнь. А она никак не ладилась.

Узнал я Пашку и Зиночку и “заболел” ими в один из прошлых своих приездов в Липовку. Заночевав у Аверьяныча, я наутро пришёл в правление, как мне казалось, пораньше, но Морозов уже укатил на ферму, и я долго дожидался его в “предбаннике”, где властвовала Зиночка. Сидит себе за столом этакая кнопка, на счётах щёлкает, в бумажки что-то вписывает: секретарь-не секретарь, счетовод-не счетовод. А может, то и другое вместе. Не очень чтоб красавица, росточком чуть выше стола, круглолицая, с немодной нынче косой. Но была она вся лучистая, глаза светились, щёки румянцем полыхали – здоровая и счастливая.

Оттого, что маленькая, все на селе – от мала до велика – не зовут её по-другому, только Зиночкой. Зина, а тем более Зинаида должна

быть крупней. Голос у неё звонкий. Частушечница, как потом выяснилось. Сама сочиняет, поёт – заслушаешься. И плясунья. После самодеятельного смотра звала её филармония в ансамбль.

– Какая из меня артистка! – отшутилась она. – Моё дело на счётах щёлкать. А петь и между делом можно.

– Правильно! – одобрили бабы. – Тут ты у всех на виду. Любого спроси: кто лучше всех частушки складывает? Зиночка Белоусова. Рот откроет – прибаска выскочит. У кого голос, ровно колокольчик серебряный? У Зиночки. Тут ты номер первый. А там кем будешь?

Я растерянно глядел по сторонам, рассматривая схемы и диаграммы, развешенные по стенам, отмечал для себя в блокноте кое-какие цифры. Вдруг открылась дверь, вбежала запыхавшаяся толстушка – Зиночкина подруга Нина – и с порога застрекотала:

– Зиночка, что я тебе расскажу!

Зиночка поглядела в мою сторону: мол, посторонний человек. Я отошёл к раскрытому окошку, за которым тянулась солнечная сельская улица. Была пора цветения садов. Принято говорить: весна красна, весна зелена. А по-моему, весна бела. Словно пеной обрызганные, стоят сады. Ножки у яблонь и вишен в белых чулочках. Красота – не хочешь, да залюбуешься. Стою у окна, взор тешу и вроде бы не слушаю девичьего стрекотания, не приглядываюсь к подружкам. И всё же кое-что слышу и кое-что вижу.

– Ты только не бери в голову!.. Пашку избили! – ошалело выпучив глаза, выложила Нина. – Чуть живенький лежит...

Зиночка побледнела.

– Кто? Когда? – залепетала она.

Подруга склонилась к ней низко-низко и зашептала что-то в самое ухо, чего я уже разобрать не мог.

А вскоре всё село гудело: действительно избили, избили самого Пашку Кустова. В это не очень верили. Сроду он всех лупцует, а чтоб его – такого не бывало. И кто бил – неизвестно. Даже участковому не сказал. Говорит, сзади по голове стукнули, не видел кто. Упал, лежачего били уже не боясь.

– Чегой-то неизвестно! – встревала в разговор первейшая в Липовке сплетница Мотря Казанчиха. – За Зиночку ему попало. От неё шёл середь ночи, кобель. Вот Фёдор его и подкараулил.

– Фёдор? – откровенно смеялись ей в ответ. – Да он воробья не осилит.

– С парнями, – доказывала своё Мотря. – Обидно ему за сестру.

Срамотит её Пашка. Я уж намедни матери ейной говорю: “Гляди, Прасковья, принесёт в подоле...”

Бабы шикали на Мотрю, а слухи катились по селу, обрастая всё новыми подробностями. Вечером я оказался очевидцем дальнейших событий. Происходили они под окнами казанкова дома, который примыкает к аверьянычевым хоромам. Днём я мотался с Морозовым по бригадам и фермам и вернулся пораньше с одной простой целью: послушать Аверьяныча. Его только разговоры – историй разных столько выложит, блокнотов не хватит. Но разговорить его непросто. Да и не любит он, когда я записываю. Потому я стараюсь уши держать пошире, запоминать побольше, а на ночь глядя что успеваю записываю.

Мы сидим с ним на брёвнышке, под окнами его терема. От реки изредка накатывает туман, и тогда делается зябко. Яркие краски весны приглушены вечерними тенями. Пахнет вишнёвым цветом и парным молоком. Замолкли брехливые деревенские собаки. Недавно прошло стадо, и пыль только-только улеглась. Аверьяныч положил обе ладони на клюку, подбородок на ладони, глаза прикрыл, будто дремлет, и лишь посасывает застрявший в усах деревянный мунштук с махорочной сигаркой.

От табачного дыма, хоть и смягчённого досыпанным в кисет донником, у меня дерёт глотку, хочется кашлянуть, но я терплю, чтобы не спугнуть думы старика. Он молчит, и я молчу. Спрашивать ни к чему, разговор возникнет сам по себе, незаметно, тогда он интереснее. Дед молча курит, я жду помалкивая.

И вдруг в один миг от мирного, тихого безмолвия ничего не осталось. По соседству, в казанковом доме, раздался гвалт и грохот. Затем из дверей вылетел босой Казанок, за ним сапог, а следом мотрин бас:

– Аспид! Навялился на мою голову!

Потом под аккомпанемент ухватов, чугунов и горшков она повела уже не басом, а почти дискантом, со слезой популярный женский мотив:

– У всех мужья как мужья, а этот... За что ты, Господи, покарал меня? Всю-то он мою жизнь изломал-искалечил, всю кровушку из меня вытянул...

Слов в этой песне было много, вела её Мотря шумно, невыразительно, невиртуозно. Сапог упал к нашим ногам. Аверьяныч поднял его, привычно постукал по подошве, оценивая материал, и сказал:

– Вот агрессор, ядрёный корень! Опять на мою территорию бомбы кидает.

Казанок, толстеющий, крепкий мужик лет сорока, смущаясь чужого человека, – меня, то есть, – подсел к нам, отказался от предложенной стариком махорки, попытался отшутиться:

– Штормит баба, торпеду ей в бок!.. Не зашибла?

Видно, служил на флоте, отметил я про себя колорит его речи и тельняшку, выглядывавшую в расстёгнутый ворот рубахи, не заправленной в штаны.

– Ноне из-за чего? – без особого интереса, привычно спросил Аверьяныч.

– Унюхала. Уж больно у Макарки Петрунина бимбер духовитый.

– Не пей у него.

– Никто больше не производит. Как бы и эту монопольку не прикрыли вскорости.

– Давно пора. Глядишь, перемирие наступит.

Казанчиха опять перешла на нижний регистр:

– Приди, приди домой! Я те покажу! Вытрясу мякину из твоей башки!

Шум этот, хоть и омрачал сельский покой, не мешал мирному ходу беседы. Аверьяныч затоптал окурочек, спросил:

– Помнишь, артисты в клубе выступали? Нет, тебя не было. Небось, сам у Макара концерт давал... Да, пел там один. В трубочку эту, в микروفон, гнусит, гитарку за струны дёргает, а ничего не слышать. Ему б, ядрёный корень, мотрин голос!

– Это верно, – согласился Казанок, – голос у неё ангельский. Хе-хе... И нюх тоже... собачий. Употребил-то глоток один. Ну, может два. А распознала.

– Бабы, они по этой части горазды, – поддержал пострадавшего Аверьяныч. – За версту чуют.

– И не говори! – обрадовался Казанок поддержке. – Идешь домой – не дышишь. А всё одно, в момент догадается. Вроде на рентген тебя глядит или локатором прощупывает, торпеду ей в бок!..

Быстро смеркалось. Казанок надел сапог, заправил рубаху, запоздало подал мне руку, знакомясь. А про жену сказал:

– Вы не думайте, она, как майский гром, долго не гремит... О, явились – не запыхались! – Это он уже девчатам, что незаметно подошли и скромненько стояли в стороне. – Люди добрые ещё коров на якорь не поставили, поужинать не успели.

– Ты-то вроде успел, – съязвил Аверьяныч.
– В общем, так, – хлопнул Казанок ладонью по колену и решительно встал. – Нынче не играю.

Девчата загудели, запричитали:

– Вань, хоть часок!
– Капут тебе, Иван! – подначил Аверьяныч. – Музыка твою объявили пережитком.

– Как то есть? – удивился Казанок.

– А так. Девки на правлении говорили: гармошка из моды вышла. Оркестр требовали.

– Ну, пока девки оркестра дождутся, я с голоду не помру.

– Помрёшь! Вчерась струменты доставили.

– “Струменты”! – усмехнулся Иван. – А играть кому? Это ж музыка, а не подойник.

Я думал, что на селе уже перевелись настоящие гармонисты, думал, не пляшут больше под гармошку, вытесненную дискотеками да электроансамблями. Оказалось, пляшут и гармонисты есть. Казанок как раз из их числа. Как и положено, он цену себе знает, любит, чтоб его поупрашивали, поугovarивали, польстили ему. И девчата стараются. А Зиночка подпустила шпильку:

– Бросьте, девчата! Не будет он играть. Ему Мотря не велит. Верно, Ваня? Боишься Мотри?

Это уже удар по мужскому самолюбию. Казанок окрысился:

– Хватит кудахтать! Вечно так: куры угомонятся, девки начинают. Идите в клуб, там и танцуйте!

– Сказал тоже! – возмутилась Нина. – Под старые пластинки?

– Под оркестр! – не скрыл свою обиду Иван.

Зиночка решила умаслить несговорчивого:

– Под твою гармошку, Ваня, ноги сами пляшут.

– Она же пережиток, – всё ещё серчал гармонист, но голос его заметно потеплел.

Зиночка запела:

*Ой, две ромашки на баяне.
Сыграй, милый, сыграй, Ваня!*

Я наблюдал за Зиночкой. Утром, узнав, что Пашке попало, она, конечно, расстроилась. А сейчас виду не подавала, держалась так, будто ничего не случилось, была весела и игрива.

Девчат стало больше. И парни подошли. Но они в девичьи заигрывания с гармонистом не вяжутся, стоят неподалёку, зубы скалят да семечки лузгают. Когда девки взяли Ивана в полное окружение, в его доме энергично растворилось окно, которое заполнила мощная фигура Мотри.

– Чего пристали? – рыкнула она. – Дайте спокой человеку!

Теперь уж сам Бог велел Казанку проявить мужской характер.

– Поиграть что ли, размяться маленько? – подмигнул он молодёжи. – Слышь, Моть, кинь вторую бомбу.

Мотрю словно подменили, стала мягкой и доброй.

– На, идол! – ласково сказала она, подавая мужу второй сапог.

Пока Иван обувался, она и гармошку передала через окно. И впрямь, гром отгремел быстро. Да и громыхал он так, для порядка. Иным жёнам мало сознавать себя собственницами мужей, им надо ещё, чтобы все это видели и чтоб мужья своё место помнили.

Мотря осталась в окошке. Она любит мужнину славу. Ведь это её Иван – единственный на всё село гармонист. Ведь это под её окнами плясуны солидную плешину вытоптали.

Иван, не торопясь, пиликал что-то невразумительное – вроде и в самом деле разминался. Потом сыграл несколько танцев. Девчата вяло покружились друг с дружкой. Парни по-прежнему стояли поодаль, пересмеивались. Одному Фёдору не терпелось; обхватив Нину, он завертелся, дурачась. Что-то не ладилось веселье. Словно какая-то тревога витала в воздухе.

И тут Казанок рванул мехи – и грянула барыня. Сначала медленно, потом всё быстрее. Девчата переглядывались, переталкивались, перешушукивались, а ни одна в круг не выходила.

– Я для кого надрываюсь, тунейдцы? Брошу играть, так и знайте! – пригрозил Иван.

Все глядели на Зиночку: начинай. Но она тоже себе цену знает. Знает, что без неё не быть пляске, и выжидает, и немного жеманится, и, наконец, чтобы не переиграть, иначе скажут – ломается, выпархивает в круг. Пошла гордо, подняв голову, руки уперев в бока, пошла не быстро, так что Казанку пришлось придержать расходившуюся хромку. А потом закружилась быстрее, потом пронеслась вихрем, придерживая рвущуюся из круга косу и озаряя всех сиянием разалевшихся щёк и лучистых глаз. И когда, казалось, Зиночка достигла предела, большего не сделать, она призадержалась и выдала частушку:

*Не ругай меня, маманя,
Что сметану пролила.
Играл Ваня на баяне —
Я без памяти была.*

Пела она и ещё, но немного, ровно столько, чтобы не переборщить, чтобы не угас к ней интерес, чтобы не спал накал этой лихой круговерти. Зиночка остановилась перед Ниной, выбила дробь, вызывая подругу на пляску. Та, подталкиваемая подружками, в свою очередь, жеманится, хотя чувствовалось, что ей и самой невтерпёж. Зиночка подстегнула её частушкой:

*Раскололся кирпич
На четыре яруса.
Что ж ты спряталась, подруга?
Выходи, пожалуйста.*

Вот уже и Нина поплыла по кругу. Потом другие девушки включились в пляс. И звенел над всеми зиночкин колоколец:

*Задушевная подруга,
Не сходить ли в сельсовет:
Мне залётка изменяет
По закону или нет?*

Частушки знают и поют все. Хотя сразу видно, что Зиночку не перепеть и не переплясать никому. Фёдор Белоусов своей попевкой поддержал авторитет мужского контингента:

*Ты, залётка, пой-не пой —
Я теперича не твой:
Галифе мои широкие
Понравились другой.*

И тут гармонь как-то странно ёкнула, взвизгнула, будто ей на ногу наступили, и смолкла. Всё остановилось. Стало тихо-тихо. Обычно о тишине говорят: лопнула. А у меня было такое ощущение, словно раскололось, как тот кирпич в частушке, это шумное веселье и что-то большое и важное, а что именно, я ещё не постиг.

– Пашка! Пашка пришёл! – загудели голоса. – Быть драке.

Вот я и увидел его. Богатырь без преувеличения что ростом, что шириной плеч. На голове повязка, взгляд недобрый, может, из-за синяков под глазами, которые даже при неярком свете электрических фонарей были хорошо видны. Пашка оказался внутри опустевшего круга и стал обходить его, высматривая кого-то. Нашёл. Взял одного из парней за грудки и почти перенёс в центр круга. Потом ещё троих. Пятым оказался Фёдор.

– Ну, все тут? – зловеще спросил Пашка. – Покажите, какие вы храбрецы-удальцы. Только не из-за угла, не сзади дрыном по голове, а вот так, носом к носу. Дрожите, как овечьи хвосты? Да мне вас пятерых на одну левую мало.

Парни попытались что-то негромко объяснить. Пашка замахнулся. Четверо вжали головы в плечи, а Фёдора как ветром сдуло.

– Стой! – рявкнул Кустов.

Фёдор остановился. Пашка пошёл к нему, не спеша, вразвалочку. Фёдор снова попытался удрать.

– Вернись!

Фёдор неохотно вернулся. Пашка ходил вокруг него и говорил, откровенно издеваясь:

– Жиденький ты уж больно. Тебя ж одной плюхой напополам перешибить можно. А хочешь вытряхну тебя из твоих широких галифе и заставлю в исподнем по селу пробежаться?

– Зиночка! – взвизгнула Нина. – Он же его покалечит.

– Драпай, Фёдор! – крикнул Казанок, передавая Мотре через окно гармошку. – Полный назад!

– Не убежит, – убеждённо сказал Пашка. – У него душа сейчас знаешь где? Как у зайца, где-нибудь в левой пятке ёкает... Значит, это ты меня за сестру уделал? Ну, прости, что без твоего дозволу хожу к ней, что сам, без твоей сопливой рожи, соображаю, как мне быть. Значит, поженить нас надумал? А что если и впрямь женюсь? Вот смеху будет! Мальчишки, и те на меня пальцем показывать станут: мол, Федяхи испугался... А эти козлы у тебя за сватов, что ли? Я на них не в обиде. Ты их подбил, подпоил – с тебя и спрос.

– Не трогай его, Паша, – подошла к ним Зиночка. – Отпусти!

– А я хотел тебе его в разобранном виде, по деталям подарить, – продолжал куражиться, хоть и заметно смягчаясь, Кустов. – Ну-ну, пусть топает... И не переходи мне дорогу! – крикнул он вслед юркнувшему в темноту Фёдору.

Народ стал расходиться. Несколько любопытных осталось. Пашка цыкнул на них:

– Ну! Второй серии не будет.

Разошлись все, даже Мотря захлопнула окно, от греха подальше. Правда, мы с Аверьянычем не ушли. Ведь мы были на своей суверенной территории.

– Зачем ты его так? – вступилась Зиночка за брата. – При всём народе...

Богатырь притянул девушку к себе, и она уткнулась в него носом чуть ниже нагрудного кармана.

– Какая ты маленькая, Зинка!.. – постарался ласково сказать Пашка. Наверно, он единственный, кто зовёт её Зинкой. – Маленькая, а сколько во мне места занимаешь!

Зиночка всхлипнула, промокнула нос платочком, спросила:

– За что тебя били, Паша, догадываешься?

– У братца своего спроси.

– А ты не знаешь?.. Ну да, не о тебе бабы языки треплют.

– Бабьих пересудов испугалась?

– Мирская молва – что морская волна. Захлестнёт – не выплывешь.

Пашка добродушно оскалил зубы:

– Ладно, может, женюсь.

Он даже не заметил, что шутка вышла грубой, бессовестной и что Зиночку она словно плетью хлестнула.

– Ты бы сперва спросил, пойду ли я за тебя, – тусклым голосом, окаменев, сказала она.

– Куда ты теперь денешься?

Кустов вроде и не всерьёз говорил, разухабистым, дерзким хотел казаться, а ранил девушку всё больней.

– Большой ты, Паша, а глупый, – тихо промолвила она. – Нескладно живёшь. Как татарник в поле: издали броский цветок, а подойди – уколешься.

– Это точно, я колючий...

– Не колючий ты, а злой. Доброты у тебя к людям нету. “Может, женюсь...” – передразнила Зиночка. – Не велика радость. Нынче ты парней колотишь, завтра меня тиранить будешь. Вся жизнь у тебя – кулачный бой. Думаешь, уважают тебя люди за твою силу? Боятся. Отгородил ты от себя людей страхом, как забором. Никого не любишь. И тебя никто не любит.

– Одна любит.

– Любила, да, видно, зря.

Сказала так Зиночка и ушла. Такого Пашка не ожидал, никак не ожидал. Он, видимо, привык, чтобы всё по-его было. И вдруг – непослушание.

– Зинка, вернись! Слышишь? – шумнул он. – Пожалеешь! Я за тобой ходить не стану, так и знай!

Зиночка даже не оглянулась.

“Расколослся кирпич”, – назойливо лезла мне в голову частушечная строчка.

А вскоре издали прозвенел зиночкин голосок:

*Говорят, что мне измена, –
Я и не потужила.
Только жаль, что прогуляла
Сто четыре ужина.*

Пашка скрипнул зубами:

– Всё равно вернёшься... Эх, хоть бы одна холера подвернулась под руку! Есть тут кто-нибудь?

– Есть.

Я даже вздрогнул от неожиданности, услышав свой собственный голос. Чёрт меня за язык дёрнул! Сейчас накустыляет по шее, за милую душу. Правда, я чувствовал поддержку в лице Аверьяныча. Он, конечно, какой заступник! А всё-таки вдвоём сознаёшь себя уверенней, надёжней. И может быть, как в моём случае, даже нахальнее.

– Ты кто такой? – удивился Пашка. – Что-то я тебя не знаю.

– Я тебя тоже.

“Чего это я вздумал дерзить? – укорил я сам себя. – Ведь поколотит”. Но из меня уже пёрло чёрт знает что, злость что ли, и остановить себя я не мог.

– Ну да? – продолжал удивляться Кустов, подходя к нам. – Меня тут каждый знает. Я Пашка Кустов.

– Не слыхал про такого.

Приврал маленько, но меня понесло, понесло неудержимо, я был уже неуправляем. Хоть бы Авсрьяныч одёрнул. Но он сидел невозмутимо, уткнувшись бородой в узловатые руки, лежащие на клюке.

– Услышишь! – убеждённо пообещал богатырь. – Значит, я тебя бить собрался?

– Выходит, меня, – подтвердил я, а про себя подумал: «Вот наглец, на “ты” незнакомого человека, да ещё намного старше себя».

– Приезжего вроде неловко, – проявил благородство Кустов.

– А свои все битые, – словно очнулся Аверьяныч. – Садись, Паша, охолонь маненько.

Парень послушно сел, вздохнул, унимая распиравший его гнев. Попытался поправить повязку, но она ещё больше съехала ему на глаза. Он в досаде вообще сдёрнул её; наверно, сорвал присохший бинт, поморщился от боли.

– Эх, Паша! – с укоризной поглядел на него Аверьяныч. – Твоими кулаками камни дробить можно.

Пашка поглядел на свои руки:

– Свободная вещь.

– А ты ими машешь впустую, как ветряк без помола. Базланишь, а толку?

– Ну, мели дальше, – пуще прежнего помрачнел Кустов.

Аверьяныч зачмокал, распаливая окуроч, который собрался было погаснуть. Цигарка засветилась, вылушивая из наступившей темноты бороду и усы старика. В казанковом дворе шумно отдувалась корова. В приречных камышах закричал потревоженный чем-то коростель. Месяц, во время скандала испуганно нырнувший в подвернувшееся облако, теперь с любопытством поглядывал на Пашку (мне почему-то казалось, что на него одного). Дед выколупнул из мундштука цигарочный остаток и неожиданно изрёк:

– Батяню твоего вспомнил.

– Ты чегой-то? – опешил Пашка. Он отбросил со лба намеренно нечёсанный и потому лихой и – чёрт поberi! – красивый зуб.

– Да так... Вот говорят: мол, яблоко от яблони... А ты ить, ядрёный корень, вон куда укатился.

– Ну, ты меня, дед, не агитируй!

– На кой ляд ты мне сдался – агитировать тебя!

У меня было такое ощущение, что Аверьяныч нарочно его дразнит, будто расшевелить в нём хочет нечто важное, давно дремлющее. И словно подтверждая мою мысль, старик повернулся ко мне:

– Диву даюсь: в кого он уродился? Пётр покойный, отец его, царствие ему небесное, всего себя в колхоз вложил. Председательствовал у нас до Морозова.

– Всего-то пять лет, – сразу весь переменявшись, с душевной болью выдохнул Кустов.

“А парень-то мягкий”, – понял я.

– Это как считать! – возразил Пашке старик.

– Как ни считай, а сорок лет не старость.

– Он столько успел, что иному и десять жизней не хватит. Год году рознь. Их не аршином мерить надо, а на вес.

– Хватит, Аверьяныч, и без тебя тошно.

– Да я не с тобой вовсе, я вот с товарищем из газеты гутарю. К примеру, когда сено сгребают, такие горы наворачают. Тючок прессованного рядом и не видать. А кинь ты их на весы – горы спасуют, потому как пустые внутри. Так вот, у Петра у Кустова жизнь плотная была, прессованная. Он колхоз как ребёнка пестовал. Знал, где какая доска приколочена, каким гвоздём приколочена и откуда тот гвоздь перед этим выдернули. А сынок сбёг из колхоза...

Пашка встал и, не прощаясь, ушёл. Аверьяныч проводил его суровым взглядом, а потом усмехнулся:

– Сколь по свету ни ходи, а всё одно земля покличет, всё одно к ней, как к матушке родимой, возвратишься, раз в тебе нутро крестьянское...

Аверьяныч разговорился тогда. Значит, близка ему судьба Кустова, болит за него душа. Наверно, не один заход сделал до этого вечера, чтобы вернуть парня в село. И стариковы мысли, такие же корявые и цепкие, как его руки, застревали и копились в пашкиной голове и будили глубоко сидящую там, подспудную тягу к дому, к матери, к месту, где родился и вырос. Я почувствовал, что Пашка мечется, что ему не по себе.

Дед опять полез за кисетом, скрутил сигарку, заправил её в мундштук.

– Пашка – парень бедовый. Норовист, будто конь необъезженный, а с головой. Сызмала к технике способность имеет. Всё лето, бывало, у комбайнов пропадал. Бригадир спросит: “Паша, отчего этот или энто комбайн стоит?” А Пашка, как заправский механик: “Звездочка полетела”. Или там ещё чего. Всё знал. А главное дело, он в машине душу видит. Уж он круг её топчется, ровно девку обхаживает. Золотые руки! Потому и сманули в город. Кустовы, они на работу жадные. Да и то сказать, баловством хлеба не добудешь.

– Золотые-то золотые, – усомнился я. – Да что ж он их в чужие носы суёт?

– А не подставляй!

– Сущий бандит!

– Не, не бандит. Драчлив, прокудлив – это верно. А оттого драчлив, что силушки ему Господь за троих дал, обмишурился, а парни кругом трусоваты. Вот ему и любо властвовать над ними... Ну, это по молодости. Эта дурь пройдёт. Да и, по правде сказать, замечаю: проходит. Может, ума-разума набирается. Может, Зиночка влияет. Он при ней смиренный... Заговорились мы с тобой. На боковую пора.

Мы вернулись в дом, улеглись, не зажигая света. Мне долго не спалось. Думалось про Пашку, про его отца, про нынешнее поколение и вчерашнее, про то, в чём они схожи и в чём нет. А потом я незаметно уснул, и снился мне пашкин отец, Пётр Кустов, похожий на моего собственного отца и очень похоже говоривший:

– Пора за ум братья!

Наверно, эта мысль: “Пора за ум братья!” – стучала и в пашкины виски. Тянуло парня домой. Колхоз, земля, дом, сад – это своё, постоянное. А город, станок, койка в общежитии – на время, на “пока”. Василий Михайлович Морозов почувствовал этот перелом в настроении Пашки. И вот, как сообщил Аверьяныч, он не только вернул его в колхоз, но и звеньевым сделал. Позже я расспросил председателя, как ему это удалось. Соблюдая определённый такт, подыгрывая пашкиному самолюбию, Морозов выстроил разговор как бы нечаянно. Встретил он Кустова в разгар летнего дня:

– Здорово, Павел! Гляжу, не первый день по селу слоняешься. С чего бы это? Раньше только на выходные приезжал.

– Отпуск законный имею.

– Слушай, Паш, выручи! Сам видишь, горим с картошкой. Сроки уходят. Хоть на денёк сядь на трактор. Сейчас не пропащем, не окупим – осенью ни шиша не соберём.

– А он, трактор-то, до поля дойдёт? – решил поломаться Пашка.

– Чего бы ему не дойти?

– Так я же ваши трактора, Василий Михайлович, во как! – до каждой гайки, до каждого шплинта знаю. Какой как чихает и кашляет и на какое колесо косолапый, знаю. Невмоготу глядеть. Как я ему скажу “Работай!”, когда у него внутри всё хлюпает и ёкает. У тебя, к примеру, под ложечкой кольнёт или засвербит что, к доктору скачешь. Пилюлю какую глотнёшь, укол схлопочешь – и в норме. А трактор бедный расхворается – ни тебе пилюли, ни укола, ни запчастей, ни гаечки. Уж он пыхтит, уж он надрывается. Год-другой попыхтел – инфаркт. Списывай машину.

– Знаю, Павел, что у тебя тракторные болячки больней собствен-

ных саднят. Только отстал ты здорово, хорошо технику лечим. Да и не о том сейчас речь. Запарка полная, выручай! Хороший трактор дам.

- Нет, кабы в начальники...
- Иди в начальники. Звено возьмёшь?
- А не пожалеешь?
- Завтра можешь приступить.
- Давай сейчас!
- Давай сейчас.

Так Пашка оказался в звеньевых. Вроде бы на день, вроде бы случайно. А в общем, Аверьяныч верно подметил: ему хотелось вернуться. Он только ждал, чтоб позвали. И Морозов понял. Позвал.

Но всё это я узнаю потом. А теперь, заявившись к Аверьянычу, я дивлюсь сообщённой им новости и с сомнением кручу головой:

– Кустова звеньевым? Чудит Морозов!

Дед выпрямился, отставил в угол ухват, вытер руки лежавшей на загнетке тряпицей и, посерьёзнев и даже помрачнев, вздохнул:

- Хворает твой Морозов. Мотор забарахлил. Худо ему.
- В больнице?
- Отказался. Дома отлёживается. Собрание нынче. Снимают его.

И отодвинулось на второй план удивление, вызванное первой новостью, и защемила тревога за судьбу строптивного, шумливого липовского председателя.

Глава третья

СТРОПТИВЕЦ

С той вроде бы не очень далёкой поры, как стал Василий Михайлович Морозов председателем липовского колхоза, дня спокойного у него не было. Телефонные окрики, выволочки в районе, недоуменные вопросы из области, перепалки с проверяющими и инспектирующими мостили его дорогу, на которой верстовыми столбами стояли выговоры – строгие и не очень, с занесением и без. За своеволие, за самоуправство, за непослушание и непочтение. За то, что живёт не одним днём, в завтра глядит, о людях думает, считать умеет и всё, что

сверху велят, примеряет: подойдёт не подойдёт колхозу? Подолгу тёр Морозов своё седое темя, прикидывая и так, и эдак, чем прилетевшая сверху бумага в жизни людей аукнется, что удумать, чтобы вышла она проком, а не боком. Только сочинители бумаг, творцы грозных директив такого отношения к своим кабинетным детищам не терпят, раздражаются и рано или поздно облекают раздражение в едкую плоть оргвыводов.

Мы привыкли говорить: жизнь ломает и корёжит. Если бы жизнь! Люди. Недобрые люди. И глядя на вымотанного, издёрганного Морозова, я всякий раз думал о какой-то озадачивающей, парадоксальной закономерности: люди с жёсткой хваткой, давуны и подминалы легче, чем сердобольцы и мысливцы, оказываются у власти, и очень часто и дело, и судьбы наши, степень упорядоченности и благополучия зависят от степени их упрямства и прямолинейности, твёрдости их руки и лба.

Такие люди не почитают тех, кто сам себе голова, у кого собственное мнение не всегда с начальничьим созвучно. А уж ежели кто вопреки их воле поступает, то он и вовсе неуправляемый своевольник, соискатель дешёвого авторитета, зазнавшийся и зарвавшийся анархист. Много кличек ему дадут, много ярлыков навесят.

Везло Василию Михайловичу на клички и ярлыки. Менялось районное руководство – множились взыскания. Но главным громовержцем для Морозова оказался Степан Степанович Пантелеев. Мне часто приходилось бывать в этом районе, и я очень хорошо знал здешнего молодого, самоуверенного аграрного руководителя. И потому, что знал, относился к нему чуть-чуть иронично. Было в его манере держаться, в указующем персте, властном голосе что-то наигранное, придуманное. Даже походка, стать выработались у него особые, “руководящие”. И идти бы ему этой походкой далеко и высоко по служебной лестнице, кабы не иные времена, кабы не перемены.

Но пока перемены не коснулись его самого, много он дров наломал, много крови людям попортил.

– И что у нас за поветрие такое, – вздыхал Морозов. – Как очередная перестройка – брани всё, что до этого было, ломай под корень. И ещё мода – виноватых искать. Будто не мы сами заплутали маленько, а кто-то нас, неразумных, за руку тащил. Мне такая мода не по душе. Что хорошо делали – мы делали, что плохо – тоже мы. А кто думает, что реформы за него все проблемы решат, тот, по-моему, и раньше ни шиша не делал, и теперь работать не будет.

Мы шли с ним тогда краем поля, оставив на обочине дороги уазик. Он до боли сердечной любит землю и любит показать, что и как на ней растёт. Так и кажется, что нагнётся сейчас и бережно погладит начинающие вымётываться колоски.

– Перемены назрели, сам понимаешь, – пытался я спорить. – Всё к лучшему.

– Сказала Настя: как удастся, – не согласился он. – Я за свою жизнь столько перестроек повидал, мытарился с ними столько, что теперь ура кричать погожу.

– Значит, будешь сидеть и выжидать: что получится?

– Я консерватор, – ухмыльнулся он. – За что меня в районе не любят знаешь? За то, что я, как тот капрал, в ногу, а весь взвод не в ногу. А меня за это, между прочим, не ругать, а хвалить надо. Потому что, если разобраться, я действительно в ногу. Вот поступает команда: не сей то, сей это. Весь район чертыхается, а сеет, что велят. А я не сею.

– Семь раз примеряешь?

– Я семью семь раз примеряю. Годится нам или нет? Что даст, что возьмёт? Это же элементарное правило хо-зяина.

– За это первый выговор?

– Не первый...

– И всё равно упрямышься? А если эксперимент?

– Зачем на весь район? А то и на всю страну. Дай мне на пробу – соглашусь. А шарахаться зачем? В крови это у нас – обязательно в крайность. Как маятник, туда-сюда, на полный размах. Посередке не можем.

Неожиданно прорвавшееся брюзжание Морозова разбудило во мне противоречивое чувство. Вроде и прав он, разумно рассуждает. Да только не всё как хочешь получается. Я не стал ему перечить. Пусть выговорится. И он выговаривался:

– Были у нас хорошие покосы. Естественные. Заставили перепажать, сеянными обзавестись. Хорошее дело, культурное. А как с семенами? – спрашиваю. Даст опытная станция, – отвечают. Нет, думаю, на станцию надейся, а сам не плошай. Какой букет мне станция состряпает? Известно какой: тимофеевка, да овсяница, да ежа сборная. Что будет за сено? А всё равно что винегрет из одной свёклы. Я, конечно, подчинился. Частично, для видимости. Сколько-то лугов перепажал. А самые густые, самые духовитые, в речной пойме – сберёг... И опять выговор. Конечно, с моё выговоров ни у кого нет.

Но и сена такого тоже. Я с этих лугов такое сено беру – задохнёшься от аромата. По-нашему, по-крестьянски, так рассуждать надо: истошилась земля, устала – перепаша, засея, окультурь. А если она в силе – чего её трогать! Нет, мы всё под одну гребёнку.

– Ушлый ты мужик, Морозов! – не столько с порицанием, сколько с одобрением воскликнул я.

– Ушлый, верно. Нельзя по-другому. Настоящий хозяин тиранить землю не станет.

– Прогрессу ты противник, поперёк линии идёшь, – спародировал я Степана Степановича Пантелеева.

– Не щерся! Прогрессу я не враг, не такой уж я дремучий. Только прогресс прогрессом, а издержки издержками. Вот они всё время поперёк. Без них мы никак не можем. Тогда это уже вроде не мы будем, если без издержек.

Мы вышли с ним на берег реки, на те самые покосы, о которых он говорил. Да, трава тут и впрямь была густоты такой, что не прошагнуть. И рябило в глазах от цветущего многотравья. Неподдалёку, почти невидимые, утонувшие в зелёном половодье, стрекотали коsilки.

Морозов махнул рукой трактористу-косарю и пошёл к нему поговорить.

“Нет, – думал я, срывая и выпутывая из плетей вики мёдом пахнущие цветки, которым я и названия не знал, и укладывая их в незатейливый букет, – тут не извечная крестьянская осторожность. Тут скорее недоверие, порождённое не всегда продуманными перестройками и экспериментами. Шарахались туда-сюда немало. Превратили село в подопытного кролика”.

Василий Михайлович, поговорив с трактористом, вернулся и, пока мы шли к машине, рассказывал:

– Новую кадру обрёл. Голова, руки – первый сорт. Всё умеет: и тракторист, и плотник, и кузнец. Из города перетащил. Запомни его – Василий Баев. Чую, придётся тебе с ним схлестнуться.

Я недоуменно поглядел на председателя:

– Хвалил-хвалил и вдруг конфликт пророчишь.

– Он, видишь ли, нетипичный. Всё особняком, сам по себе. К людям не тянется. И не такой уж вроде бирюк, не сказать чтоб нелюдимый, а никого в себя не пускает. Как амбар на запоре... Ну, поглядим.

И вернулся к нашему разговору:

– Люди работают, как привыкли, как умеют. Годами им вколачивали в головы: так надо, так правильно. Годами вколачивали! А теперь ты хочешь одним махом всё перевернуть? Не бывает так... Вот ты скопировал нашего друга. Будет он по-другому работать? Сумеет?

И, не дожидаясь моего ответа, заключил:

– То-то.

Василий Михайлович вздохнул:

– Толковым агрономом был, а двиганули человека в район – и специалиста потеряли, и начальника не получили.

Не один раз доводилось мне наблюдать Степана Степановича в работе, в его наездах в Липовку, в другие хозяйства. Настырный, он вникал буквально во всё, видел старание и нерадение, доброе и худое. И разговор с колхозниками и их вожаками мог бы проходить в обычных деловых рамках: свежемү глазу виднее огрехи и изьяны.

Только такого разговора не получалось. Пантелеев давал указания высокомерно, за каждый промах – реальный и кажущийся – учинял нагоняй, грубый, резкий. Самолюбие кохозного руководства, специалистов не щадил. Напротив, унижить их на глазах колхозников, дать понять, что он, Пантелеев, видит то, что им видеть не дано, – в этом он усматривал проявление своего руководящего “я”, способ укрепления личного авторитета.

А Василий Михайлович был человеком хотя и горячим, но деликатным. Он глубоко страдал от каждого такого наскока, от несправедливых разносов, а больше всего оттого, что не мог позволить себе сорваться и высказать Степану Степановичу всё, что у него накипело, отринуть то, чему противилась его прямая и честная натура.

Конечно, всю морозовскую одиссею, всё его небесспорчное житие я хорошо знаю, характер его ершистый, запальчивый изучил. И когда Аверьяныч сообщил про его хворобу, я понял: опять конфликт, опять по его устоям вдарили. Мелочи такого человека из колеи не вышибут. Значит, снимают с работы? Да, от такой затрешины зане-дужишь.

И я поспешил к нему.

– Опять с Пантелеевым схлестнулся? – спросил я председателя напрямик, поздоровавшись с ним и с его супружницей – Полиной Тимофеевной.

Он заёрзал на постели, заскрипел пружинами старой деревянной кровати и вздохнул тяжко:

– Почему иному такую радость доставляет подмять, скрутить,

обезволить человека? Поступай, как я велю, – и всё! А нет – освободи место.

Он пошарил рукой по табуретке, стоявшей около кровати, не нашёл что искал и заворчал на жену, которая, чтобы не мешать нашему разговору, ушла на кухню:

- Полина, не прячь табак. Мне без курева ещё хуже.
- Не велел же доктор, – отозвалась Полина Тимофеевна.
- А мы ему не скажем.

Недовольно ворча, она всё же позволила ему закурить, правда, с оговоркой:

- Одну затяжку – и всё.

Василий Михайлович успел затянуться несколько раз, прежде чем жена отняла самокрутку.

Он немного отошёл, но былой живинки в нём не было.

– Значит, строптивых, умеющих за себя постоять, за директивы не хоронящихся изгоняем? – Он то ли спрашивал меня, то ли сообщал мне неприятную новость. – Неужто безропотные пешки нужнее? Не из-за того оно, – он потыкал себя в грудь, – прихватило, что снял меня Пантелеев. Я своё отработал, пусть молодые эту лямку тянут. Село угробим – вот что больно.

Морозов поглядел на меня непривычно долгим, пронизывающим взглядом, от которого мне стало не по себе. Сколько же всего читалось в его глазах! И ответ на наши с ним споры, и укор за неумение понять и поддержать, за не всегда мотивированную, не всегда поделом критику, – а доставалось ему от меня не раз. Правда, человек он отходчивый, обиду долго не таит, и мои газетные стрелы не ссорят нас.

Хотя, как сказать... Обиду, может, и не таит, а стрелы, видно, всё же считает, и сейчас по взгляду его я почувствовал: многовато было этих стрел. Когда Пантелеев взвешивал его доблести и прегрешения, они, конечно, тоже ложились на весы. Мне стало горько и стыдно смотреть ему в глаза.

– Тут, понимаешь, дело какое? Вознамерился Пантелеев колхоз наш разогнать, акционерное общество, по новой моде, сотворить.

– Михалыч, – напомнила о себе жена, – не кипятись!

– Ладно, не буду, – отмахнулся он, закипая ещё больше. – Чтобы крестьяне не в колхозе, а в раю жили.

– А ты, конечно, против? – плеснул я масла в огонь.

– Не во мне дело! – зашумел он. Тут же глянул в сторону жены

и перешёл на шёпот: – Шут нас знает, чем думаем. Всё силком, всё силком. Сперва в колхоз, а теперь из колхоза. Не хочешь – заставим! Не пойдёшь – затащим! Тросовой волокушей. Дубари!

– Пантелеев спешит отрапортовать: раньше всех перестроился, – включилась в разговор Полина Тимофеевна. – Главное дело, людей не спросили. Ну, нас, пенсионеров, со счёта скинули – Бог им судья. А работающих почему обошли?

– Тимофеевна, не кипятись! – с наигранной строгостью повторил Морозов её острастку, и они оба улыбнулись.

“Слава Богу, – подумал я, – настроение терпимое”.

Полина Тимофеевна продолжала:

– А людей спрашивать надо. Им жить – им и решать.

Вечером побывал я на собрании. Шуму было – не описать. Ну, а если коротко, то люди Пантелееву так сказали: мы в колхозе полвека жили – ещё поживём; мы Морозова выбирали – мы, если надо, и снимем.

После собрания я зашёл к Морозову, хоть был уже не вечер, а ночь. Да ведь ждал он, волновался. Зашёл, рассказал про людской настрой. Отошёл старик, оттаял.

– Лады, – сказал, – покрутимся ещё. Только это не надолго. Я ж опять поперёк линии.

Глава четвёртая

БЛОНДИН

После размолвки Зиночка и Пашка долго не виделись. Оба выдерживали характер. Конечно, помириться хотелось и ей, и ему, но никто не делал первого шага, да и не было повода, который бы их свёл. И вот он, повод этот, выпал Пашке.

Вызвал звеньёвого председатель. Обговорили что надо. Выходит Пашка из кабинета, а Зиночка одна. Почти одна. Сидит рядом с ней старенькая уборщица.

– Мироновна, – попросил её Кустов, – выглянь на минуту: трактор мой цел?

Мироновна повернулась к окну и ответила:

– А чего ему сдётся? Стоить.
– Ты на улицу выдь... Сходи, сходи, прошу тебя как человека.
– И отсюда видать, – упрямится хитрущая старуха и, зная, какому разговору быть, сдвигает платок с уха, поскольку с годами любопытство у неё обострилось, а слух наоборот.

– Мальчишки там, кабы чего не открутили, – настаивал Пашка.
Бабка ещё раз выглянула в окно и с удивлением повернулась к Кустову:

– Да нету там никого. Стоить-пыхтить твой чумазый, воробья рядом и то нету.

– Ну, леший с тобой! – махнул рукой Пашка и выдал открытым текстом:

– Зинка, выходи за меня!

Зиночка ждала разговора с Пашкой, сладко ныло сердце в предчувствии доброго, примирительного слова, а слово прозвучало не деликатно, слишком прямо и резко, настолько прямо и резко, что Зиночку, хоть она и заалелась от счастья, это покорибило. Ей бы понять, что для него это верх деликатности, добросердечности, предел возможностей выразить своё состояние. Понять и пойти ему навстречу, хотя бы улыбкой. А она не пошла. А тут к тому же эта противная Мионовна. И Зиночка холодно спросила:

– Долго думал?

– Жутко долго, – сверкнул Пашка крепкими зубами. – Всё время, пока в тракторе сидел.

Ему казалось, что всё просто: ведь он пришёл! Чего ещё надо? Зинка должна быть довольна. А она не видно, чтоб была довольна. А она говорит:

– Глупый у тебя трактор. И на тебя соответственно влияет.

– Злостная напраслина на передовую отечественную технику. От имени трактора и от своего имени делаю очередное серьёзное предупреждение: наше терпение не беспредельно.

Зиночка его шутливого тона не приняла. Она отвечала в ином духе:

– Намёк понять. К другой переметнёшься? Не заплачу.

– Не валяй дурака! Пошли распишемся.

– Сейчас или немного погодя?

Ему бы понять, что Зиночке мало быть счастливой, ей надо оставаться гордой. Ему бы схватить её лицо могучими, мазутными ладонями, чмокнуть в розовые губы. А он не понял, а он не чмокнул. А он психанул:

– Ну, как знаешь!

И расколовшийся кирпич дал новую трещину.

А вечером в клубе, на глазах у всех, особенно у зиночкиной подруги Нины (самой Зиночки не было), Пашка заигрывал с учительницей Екатериной Сергеевной, танцевал с ней. Учительница молодая, незамужняя, интересная. Но пашкин интерес состоял в том, чтобы Зиночке досадить. После танцев Кустов проводил учительницу домой. Дорогой он сказал:

– Катерина Сергеевна, можно вопрос не по школьной программе?

– Спрашивай.

– Как это так и почему: ты, такая смачная девка, и не замужем?

Екатерина Сергеевна покраснела, впору бы обидеться. Но она растерялась и, зная грубоватую, но не злую пашкину натуру, отделилась обычной в подобных случаях фразой:

– Не берёт никто.

– Хочешь возьму?

– Не хочу.

– Зря. Ты – ничего, ты даже можешь мне понравиться.

– А ты мне нет! – рассердилась учительница.

– Почему это?

– Во-первых, рыжий. Во-вторых, нахал.

И ушла.

Пашку это задело. Он хотел было топтать следом, но тут откуда ни возьмись председатель. Увидев Кустова, он остановился, поздоровался. Начал с погоды, со здоровья пашкиной матери, перешёл на дела звена. И Пашка говорил об этих делах уже не как сторонний человек, а заинтересованно, по-хозяйски.

– Значит, остаёшься? – обрадовался Морозов. – И правильно! А то тычешься носом туда-сюда, как слепой котёнок, места своего не найдёшь.

– Эх, Василий Михайлович! Думаешь, сам не вижу, как живу? – заоткровенничал Пашка. – Остановиться, затормозить не могу. Это как самим собой не быть. А и то, что делаю, тоже вроде не я. От дурачества. Оттого, что остановить некому.

– Сам нажми на тормоза.

Они идут вдоль села, привычного, исхоженного тысячу раз вдоль и поперёк, знакомого до каждой хворостины в плетнях, до каждой штакетинки в палисадниках, до каждой пылинки на дороге. Село угомонилось, на улице пусто, и лишь дома весело и тепло перемиги-

ваются яркими огнями. Летняя ночь мягка и спокойна, и это настраивает Морозова пофилософствовать. Он остановился под огромной, чуть не на пол-улицы раскорячившейся ветлой. Ветла была настолько старой, что минувшей осенью, в ураган, обломился один из трёх её стволов. Упал он аккуратно, лишь порвав провода, но не зацепив ни одной постройки. Упал, как ветеран, под тяжестью лет и недугов, словно извиняясь: уж не взыщите, немоготу стоять, но я вот здесь, в сторонке, никому не мешая. И, как ветеран, носило дерево в своём теле с далёкой военной поры пули и осколки, о которые с визгом цеплялась пила, убирая старца с дороги. Морозов сел на срез обломившегося дерева, а Пашка стал рядом, широко расставив ноги и упершись руками в оба оставшихся ствола, будто пробуя их на прочность.

– Наверно, у каждого в жизни такой рубеж есть, – зарассуждал председатель, – когда остановиться надо, оглядеться, задуматься: куда иду, что творю? Ревизию, что ли, самому себе устроить.

– Ну да, как говорится, переоценку ценностей, – усмехнулся Пашка. – Только кто же сам себе признается, что его ценности неценные? Каждый о себе с уважением, с большой буквы.

– А кое-кто даже с любовью, – съязвил Морозов.

– А что? – не обиделся Пашка. – Я парень ничего.

– Опять дурачишься. И сам не знаешь, где у тебя всерьёз, а где...

– Пойми, Василий Михайлович, я машина тяжёлая, меня не враз остановишь. Большая сила нужна.

– Сила ли? Может, смелость? Самого себя за шкуру взять, повернуть и сказать: не туда идёшь, вот куда надо – это не всякий может. Говорят в народе: жизнь прожить – не поле перейти. Только поле перейти – тоже дело непростое.

– Ежели минное...

– Хлебное чем проще? Не взрывается? Зато оно человеку на всю жизнь. И выходит: жизнь прожить – всю жизнь поле переходить. У каждого человека своё поле.

– Поле деятельности, – ухмыльнулся Пашка, иронически относящийся к “высоким словам”.

– Вроде того, – согласился Василий Михайлович. – Вот и ищи своё поле.

– Чего его искать? – посерьёзnel Кустов. – Вон оно, за околицей.

– Что, зовёт?

- Тянет. Завсегда тянет. Всю жизнь.
- Оно и есть наша с тобой жизнь.
- Что-то ты, Василий Михайлович, совсем запутался со своей философией. То поле – жизнь, то жизнь – поле.
- Пусть так, в философии я, может, и заблудился. Нам с тобой, главное дело, в поле не заблудиться... Да, ты вот что, Паша, в звенето, поделикатней. Кулаки в карманах держи. Идёт?
- Лады! Буду личным примером.

Они попрощались. Пашка глядел вслед председателю, кряжистой крепкой статью похожему на это старое дерево. “Силён старик, крепко держится, – думал Кустов. – Надолго ли его хватит? Кто знает! Упадёт неожиданно, как это дерево... Как мой батя...”

Он отмахнул от себя мрачные мысли и крикнул вдогонку Морозову:

- Василий Михайлович! Я рыжий или нет?
- Тот повернулся, удивленный:
- Чего это тебя вдруг масть волновать стала?
- Осложнение на этой почве вышло.
- Блондин.

Глава пятая

РАСКОЛОЛСЯ КИРПИЧ

С вечера радио пообещало на сегодня погоду хоть и облачную, но с прояснениями и без осадков. И Кустов со своим звеном намеревался дошибить план по сену. Осталось немного, и до начала уборки хлебов можно успеть. Но утро размазистое, хлипкое, холодное, походившее не на летнее, а на октябрьское, перечеркнуло эти расчёты. В нашем краю всегда так: траве расти – сушь, приспела пора сенокоса – и полило. Притомившись выглядывать из окна – не разведривается ли? – Пашка отправился в мастерские. Проходя мимо дома Екатерины Сергеевны, подумал: “Может, зайти?” Колебаться не в его правилах, и он решительно толкнул калитку. Учительница завтракала.

– Хлеб-соль, садись обедать! – начал балагурить Кустов.

– Здравствуй, рыжий!

– Блондин, – уточнил Пашка.

– Извини, я тогда в темноте не разглядела... Проходи, садись.

Пашка неловко потоптался у порога в своих тяжелых сапожках сверхнормативного размера.

– Наслежу, – непривычно застенялся он.

– Не беда... Давай чай пить.

– Давай, – согласился Пашка.

Он присел к столу, большущий, громоздкий, и в маленькой комнате Екатерины Сергеевны стало совсем тесно.

– Зачем пожаловал? Почему не на работе? – спросила она, наливая ему чай и подвигая сахарницу.

– Жду, чтоб хмарь сошла да подсушило малость. А пришёл по делу.

Дело, по которому он заявился к учительнице, Пашка не сейчас придумал. Он давно уже решил поступить в техникум. Готовился потихоньку. А тут вдруг, около её дома, подумалось: она же может помочь. Помочь Екатерина Сергеевна согласилась.

С той поры Пашка нет-нет да и навещался к ней. Она держалась с ним холодно и строго. Тем не менее, слухи поползли.

– Зиночка! – всажала в правление Нина. – Ты только не бери в голову. Бабы рассказывали...

– О чём бабам судачить, не будь нас с Пашкой! – рассердилась Зиночка.

– Да ты не бери в голову.

– Не беру, Нина, не беру. Ты мне вот что скажи: к вам Пашка никогда не заходит?

– Бывает.

– Чего ж его к тебе не приплетают?

– Видно же! И потом, к нам он не ко мне приходит, а по делу.

– И туда по делу, Учиться хочет, книжки у неё берёт.

– Ох, Зиночка, не кончится добром эта учёба! Попомни мои слова.

– Тебе какая забота? – ещё больше стала злиться Зиночка.

– Тебя жалко. Казанчиха говорит...

– Мотря бредит, да кто ей верит? – попыталась половицей отмахнуться от неприятного разговора Зиночка.

– Все верят. Вон Клашка с Дашкой, и те на всё село горланят: мол, сами видали...

- Ну и пусть!
- Бросит он тебя.
- Ну и пусть!

Второе “Ну и пусть!” прозвучало уже не так твёрдо, чувствовалось, что до слёз рукой подать. Зиночка всё ниже опускала голову, чтобы не видно было, как неотвратимо наполняются влагой её глаза. И вот на белоснежный лист бумаги упали две тяжёлые горькие капли. Зиночка вскочила было из-за стола, чтобы убежать с глаз долой. Но тут заявила собственной персоной Мотря Казанчиха. Зиночка отошла к шкафу с бумагами и, копаясь в папках, постаралась незаметно осушить глаза и успокоить расколыхавшееся ретивое.

– Зиночка, – медовым голосом повела Мотря, – не знаешь, по какой такой причине меня опять председатель вызвал?

– Знаю, – сухо ответила та. – Работать надо.

– Я не работаю? – забасила Казанчиха. – И повернулся у тебя язык такое сказать! День-деньской спинушки не разгибаю...

– Три выхода за месяц.

– Может, я больная. Ты меня об этом спросила?

– Фельдшера спрашивала. Говорит, в медпункт не обращалась. Да и так все видят: на своём огороде ты спину не разгибаешь, косою для своей бурёнки машешь – мужику не угнаться.

– Наговаривают невесть чего, – неумело попыталась заплакать Казанчиха. – С поля с колхозного не схожу. Мозоли на руках не заживают...

– На языке у тебя мозоли, – не сдержалась и уколола её Зиночка. – Ходишь по селу, сплетни разносишь.

– Нам сплетнями заниматься недосуг, – усаживаясь к столу и располагаясь для долгого рассказа, заговорила Мотря, забыв, что только что собиралась реветь. – Уж я такое видала, такое... И то никому ни слова.

Мотря вся светилась от сознания важности информации, которой обладала, и от предвкушения удара, который собиралась нанести Зиночке (пускай не задаётся!). Она не спешила с рассказом, и Нина понукнула её:

– И что ты видала?

– Ничего такого особенного я не видала, – с многозначительным подтекстом ответила Казанчиха. – И было у них что или не было – не знаю, сказать не берусь, врать не стану. Чего не видала, того не видала.

Зиночка напряглась и окаменела всё у того же шкафа с бумагами.

– Ну вот, – начала Мотря. Она поуютнее уселась, колюче поглядела в сторону этой задаваки Зиначки. – Захожу это я вчерась вечером к учительше. Уж и не помню, по какому случаю: то ли соли занять, то ли ещё зачем...

– За солью на другой конец села? Да ты что? – недоуменно подняла брови Нина.

– А-а, вспомнила, – быстро сориентировалась Казанчиха. – Мужика своего искала. Не ровён час, думаю, сюда забрёл.

– Твой Иван к Екатерине Сергеевне? Вконец рехнулась! – опять поразилась Нина.

– Кто ж его знает, – хитрит Мотря, – всяко бывает. Иные за книжками ходят... Да-а. Захожу, значит, и вижу: в кухоньке никого нет. Хотела уж было назад поворачивать, а только слышу: в горенке ейной кто-то улыбается.

– Срамота, – осудила Нина.

– Ну вот, – неспешно повествует Мотря. – Дай, думаю, загляну. Открываю, значит, дверь, гляжу... Моего, слава Богу, нету. Он в это время, само собой, у Макарки у Петрунина самогон хлестал. А был это...

Мотря даже захлебнулась от упоения, даже глаза к самому потолку закатила и то ли взрыднула, то ли всхотнула. Она испытывала ни с чем не сравнимое блаженство.

– Был это... – продолжала она, растягивая удовольствие, – провалиться мне на этом месте... Пашка Кустов. Она, значит, учительшато, на кровати сидит. Понятно? А он рядом, на табуреточке.

– Срамота, – вздохнув, повторила Нина.

– Что у них там было или как – я ничего плохого не видала и ни об чём их не расспрашивала. Ушла я и никому об этом ни гу-гу... Вот до какого бессовестства дошли! Сидят себе, подсмеиваются. И над кем подсмеиваются! Над каким золотым человеком! Да я бы, Зиначка, на твоём месте зенки им бесстыжие выцарапала. Да я бы...

Не успела Мотря сообщить, что она ещё сотворила бы с непутёвым Пашкой и его новой зазубой, как Зиначка резко повернулась, схватила стоявший в углу веник, хлестнула им сплетницу и, сопровождаемая воплями Казанчихи, выскочила за порог.

Зиночка и верила, и не верила слухам. Но уже сами разговоры больно ранили её гордую душу. Ей казалось (а, впрочем, так оно и

было), что бабы шепчутся, когда она идёт мимо, притворно сочувствуют, глядят ей вслед да так вздыхают, будто хоронить её пора припела. Зиночка не знает, куда от всего этого деться.

А у Пашки тоже выграло самолюбие. Я к ней по-хорошему, я к ней и так, и сяк. А она кочевряжится. Не хочет – и не надо. Упрашивать не стану. И он продолжал демонстративно осаждать Екатерину Сергеевну.

Та, как ей казалось, не давала повода для бабьих пересудов, да ведь на чужой роток, как известно, не накинешь платок. Доходили разговоры и до неё. И, в очередной раз выпроваживая Пашку, она сказала ему об этом.

– И что? – спросил он. – Велишь не ходить к тебе?

– По делу не запрещаю, без дела не ходи. Мне, как ты понимаешь, сплетни ни к чему, Да и Зиночка косится. Почему не ладите?

– С ней поладишь!

Они стоят у её крыльца, по разные стороны штакетной изгородки. Вечер густеет и обволакивает всё вокруг парной вязкой тьмью. Кустов уже почти ушёл, да задержал его этот разговор. Они говорят и не знают, что за ними внимательно наблюдает, их слушает, не пропуская ни одного слова, ещё один человек. Зиночка и сама не понимает, как она отважилась на это. Вроде и не собиралась подглядывать да подслушивать, просто шла по селу, и принесли её ноги к этому дому. Она стоит за деревом, сердце стучит – вот-вот из груди выскочит. Стыд-то какой! Всё одно, что в чужую душу влезть... А какой он чужой? Это она, учительша, на чужого зарится. Она его, как мышь корку, тащит в свою норку. Пусть ей стыдно будет.

– Ты же не глупый парень, – убеждала его учительница, – неужто подхода не найдёшь?

“Ишь как она его обхаживает! Ишь хомутает! А он и уши развесил, малохольный”. Зиночка задыхалась от обиды.

А учительша всё ворковала:

– Такой большой, а обо всякие мелочи спотыкаешься.

– Мал пенёк, да воз опрокидывает, – рассуждал Пашка. – Мелочи больше всего жизнь портят.

“Мелочи? Какие мелочи? Я для них мелочь?.. Верно Казанчиха молвила: насмеваются”.

– Спокойной ночи, – сказала разлучница.

Но не успели они разойтись, как из темноты стеганула их катушка:

*У милого чёрны брючки
И такой же пиджачок.
Подмигнёт ему другая –
Он бежит, как дурачок.*

– Прилетел твой соловей, – усмехнулась Екатерина Сергеевна, и Пашка вдруг увидел в её блеснувших в темноте глазах боль и тревогу. Он не успел осознать, что это и отчего, он в ярости от хлестнувшей его частушки.

– Сейчас я этому соловью хвост выдеру, – сердито бросил он.

Но Екатерина Сергеевна остановила его:

– Пойми, Паша, больно ей.

А в голосе слышалось: мне больно, мне...

Катя неожиданно для Пашки позвала:

– Зиночка, иди к нам. Мы как раз о тебе говорили...

– Третий лишний, – егозилась Зиночка и опять запела:

*Меня милый обошёл,
Чернобровую нашёл.
А она седые брови
Подвела карандашом.*

Екатерина Сергеевна не обиделась.

– Зиночка, зачем ты так? – сказала она. – Поёшь, а у самой слёзы в голосе.

– Прямо, сейчас! Из-за тебя плакать!

– Не из-за меня. Это я третий лишний.

Катя ушла, а Пашка опять почувствовал в её походке, осанке, а больше того – в словах всё ту же боль.

“Из-за меня?” – полусознанно подумал он.

– Из-за него тоже не заплачу, – ершилась Зиночка.

Пашка подошёл к ней:

– Зинка, последний раз добром прошу: может, хватит? Мир?

– Расколотый кирпич не срастается, – стараясь казаться безразличной, ответила она.

– Какой кирпич? Я же тебя... Ты же меня любишь.

Вот ведь натура! Даже тут заставил себя не признаться, что он её любит. А ведь любит! А Зиночка фыркнула:

– Такого любить – себя губить.

- Всё равно ты моя. Нет тебе от меня дороги.
– Ой ли? Я птица вольная. Куда хочу – туда и лечу, о ком затужу
– о том и песню сложу.
– Обо мне тужишь. Вон и слезы в глазах дрожат.
И у неё натура! Ей бы приткнуться носом к его груди, взрыдать во весь голос, а она пыжится:
– Ещё чего, слёзы!
– В каждом глазу по слезинке, и в каждой слезинке я себя вижу.
– Ты только себя и видишь. А теперь на меня погляди! Напоследок погляди. Больше не увидишь.
– Куда ты денешься?
– Денусь! Но не думай, что в покое тебя оставлю, разлучнице этой подарю. Я твоей искорке не дам погаснуть. Я на неё, когда надо, подую. И станет она тебя до самой смерти жечь. И захочешь погасить, да не погасишь. И звать меня будешь, да не дозовёшься. Вот и вся песня!
Зиночка нырнула в темень, а вскоре издалека долетела до него ещё одна её стрела:

*Всё я думала – канавы,
Подошла – журчит ручей.
Всё я думала – хороший,
Он трепач из трепачей.*

И впервые в жизни Пашка стоял в растерянности: не побежать ли следом? И, конечно, он не сделал этого. Он послал ей вдогонку:

– Дурочка! Прибежишь, повинишься.

Глава шестая

“ПОСИДИМ- ПОМОЛЧИМ-ПОКУРИМ”

– Да не бил я их, Василий Михайлович!

Хоть и обещал Пашка деликатно в звене держаться, а сорвался. Мрачнее дождливой ночи вернулся в правление Морозов. Узнав про

чепэ в пашкином звене, он взъярился. Заехал за Пашкой домой, привёз его в правление.

– Точно говорю: не бил! – божится Кустов.

– Та-а-ак, – цедит председатель. – Посидим-помолчим-покурим.

Любимая формула Морозова на этот раз звучит зловеще. Он достаёт кисет с махоркой. Пальцы у него слегка дрожат и выдают едва сдерживаемый гнев.

Я чувствую себя неловко, оттого что оказываюсь свидетелем неприятного разговора. И, пытаюсь отвлечь Морозова, если не предотвратить, то хотя бы оттянуть грозу, сокрушающую:

– Как ты такую отраву куришь, Василий Михайлович, ума не приложу. Ей-Богу, сколько по области мотаюсь, не видал, чтобы ещё кто-нибудь имел дело с махоркой.

Я уже готов раскашляться, у меня от одного лишь предчувствия едкого дыма першит в горле.

Пашке не терпится объяснить, что и как произошло, он нервничает, порывается говорить, а Морозов на него ноль внимания, ни о чём не спрашивает, даже не глядит в его сторону, занятый куревом.

– Махра хорошо мозги прочищает. Особенно с донничком. Ароматный состав! И сон гонит.

Он затягивается, делает вид, что блаженствует, хотя я вижу, что в нём всё кипит.

– Дело-то как было... – снова пытается рассказать Кустов.

Василий Михайлович словно не слышит его, табачную тему развивает:

– За день убегаешься, сил нет. Вечером только сядешь – почитать чего или телевизор посмотреть, нос к полу так и ведёт. Махорка вырывает.

Он вдыхает дым часто и глубоко, и я в который раз недоуменно спрашиваю:

– Что вы в табаке находите?

“Вы” – это, разумеется, все курильщики, непонятное, загадочное для меня племя самоотравителей.

– Неужто никогда не курил? – интересуется Морозов.

– Один раз. В первом классе, – пытаюсь я состричь, в тайной надежде развлечь его.

Морозов шутку не отвергает, но незаметно, чтоб отгалял.

– И что, – спрашивает, – отец взгрел?

Я смеюсь:

– Нет, самому не понравилось.

А он всё такой же серьёзный.

– Слово даю, Василий Михайлович, – делает Пашка ещё один заход. – Этого гада, Мотьку Терёшкина, я только из копны достал и в кабину засунул, на его рабочее место...

Председатель в пашкину сторону и ухом не ведёт, говорит опять мне, втыкая окурок в пепельницу:

– Покурил и будто заново на свет народился.

Иезуитский способ применяет к Кустову председатель. При пашкином-то самолюбии! Иезуитский, а действенный. Пашка переживает, он растерян, это видно, и я поддерживаю Морозова:

– А жена как махорочный дух переносит?

– Она считает, что это и есть настоящий мужской запах.

– Ведь они, гады, чего учудили, – рассказывает Кустов, и ему теперь всё равно, слушают его или нет. Впрочем, он понимает, что слушают, что председателево безразличие деланное, всего лишь приём.

– У меня ножи полетели у косилки, на проволоку наскочил, – набирает Пашка обороты. – Ну, я на мотоцикл – и в мастерскую. Думаю, пока я туда-обратно, они делянку прикончат. Приезжаю, Мотька дрыхнет в копне, одного трактора нет. “Где?” – спрашиваю. А Федяха Белоусов ухмыляется: “На Луну запустили”. Вскорости луноход этот заявляется. Всё во мне кипит. День как по заказу. Сколько сена взять можно! По нашей погоде другого такого, может, и не дождёшься... Ну, взял я этого водителя луноходного, вверх колесами опрокинул – бутылка из него и выпала. Федька кинулся бутылку подымать, а я её перехватил и об столб телефонный раскокал.

– А у него сотрясение мозга, – говорит Морозов.

Говорит спокойно, тихо, обращаясь ко мне. Обманутый этим внешним спокойствием, Кустов решает, видимо, что гроза миновала.

– У столбов мозгов не бывает, – острит он.

– У Фёдора! – рывкает председатель, и гроза грянула.

– У него тем более сотрясаться нечему, – огрызается Пашка. – А что стукнулся – сам виноват. Я бутылку бил, а он за неё шибко держался.

Я представил себе эту картину, и мне стало безудержно смешно. Думаю, и председатель в душе улыбнулся. Оказывается, нет. Он грохает кулаком по столу, да так, что пепельница испуганно подскакивает и роняет окурок на полированный стол.

– Издеваться надо мной вздумал? – шипит Морозов. – Зубы скалишь?

Он хватает окурок, сует его в рот, быстро чиркает спичкой и затягивается.

– Я же тебя просил... По-хорошему просил: держи кулаки в карманах. Просил иль не просил?

От прежней растерянности Пашки и следа не осталось. Я и не заметил, как вернулась к нему его обычная уверенность. И он говорит с председателем не только спокойно, но даже дерзко:

– Я их тоже просил. И по-хорошему, и по-нехорошему. Не осознали. Теперь осознали.

– Это же рукоприкладство! – гремит Василий Михайлович. – Знаешь, что за это будет?

– Ничего не будет, – перечит Пашка. – Конфликт урегулирован. Провёл собрание, разъяснил момент, поставил задачи. Несогласных и недовольных нет.

– А как же у Фёдора с головой? – совсем теряется Морозов.

– На месте. А кто ему диагноз поставил? Насчёт сотрясения. Сам он, что ли?

– Я! – отвечает Василий Михайлович и вдруг взрывается: – Ты как со мной разговариваешь!

– А что, тоже кричать надо? Можно. – И Пашка орет: – Не было сотрясения! У Фёдора голова давно такая. С похмелья скособочилась. Ясно?

– Ясно, – удивившись пашкиной наглости, неожиданно стихает председатель. – А чего шумишь? Как Дашка с Клашкой. Чего ты на меня шумишь?

– А сам чего шумишь? – окончательно наглеет Кустов.

– Я? – искренне удивляется Морозов. – Не заметил.

Он опять втыкает окурок в пепельницу, отодвигает её от себя на всякий случай, перекладывает туда-сюда какие-то бумаги, что не попали в стол и сейф, и барабанит пальцами по столу. Не в силах успокоиться, выскакивает из-за стола, подбегает к Кустову, но не успевает ничего сказать. Пашка опережает его с ухмылкой:

– Только без рукоприкладства, Василий Михайлович! За это знаешь что будет?

– Нет, каков фрукт! – поражается Морозов. – Да ты знаешь, кто ты есть?

– Василий Михайлович, – вмешиваюсь я. – Опять шумишь.

– Дай в охотку поругаться, не порть аппетит, – отмахивается он от меня. И Кустову: – Знаешь, кто ты есть? Остолоп и лоботряс!

Пашка шерится во всю свою могучую, симпатичную пасть:

– Нет, Василий Михайлович, это не про меня. Остолоп – это у кого шариков не хватает. А у меня комплект. Лоботряс – это который не работает. А я свой хлеб ем и мать кормлю. Так что критика необоснованная. Вот я тебя покритикую! Я тебе дам прикурить твоей махорочки. Только бы собрания дожидаться. Так не руководят. Уж если ты поручил моему звену пропашные, картошку в частности, то нечего меня взад-вперёд, как вот эту папку, двигать. То на сено, то ещё куда. Я за одно за что-то отвечать должен. Так я считаю.

– Правильно считаешь, – совсем успокаивается председатель. – Я и сам так считаю. Только жизнь не всегда с нами соглашается, промах многовато... Добро, критику признаю.

И поворачивается ко мне:

– И что мне с ним делать? Не знаю.

А когда Пашка уходит, добавляет:

– Знаю. Бригадиром его сделаю.

И лезет за кисетом:

– Посидим-помолчим-покурим.

Глава седьмая

ДАШКА И КЛАШКА

Вы помните, председатель сказал Кустову: “Чего шумишь? Как Дашка с Клашкой”? На селе поминают Дашку с Клашкой при всяком более или менее впечатляющем скандале. Нетрудно догадаться, в силу каких личных качеств этих особ становятся их имена всё в большей степени нарицательными.

Четырёх деревенских женщин метко и крепко соединила народная молва, зарифмовав в прозвищах их имена и характерные черты, соединила заключённым в этих прозвищах отношением к ним односельчан – ироничным, презрительным или уважительным. И каждый наверняка улыбнётся, впервые услышав такую оригинальную поэтическую сцепку: “Дашка Богатая и Клашка Горбатая, Лизка Сопливая и Фиска Красивая”. Обидно за Анфису Батуруну, оказавшуюся

частью этого уникального квартета. Она попала в него, видимо, по принципу полярности, полной непохожести на остальную троицу. И потому ещё, что имя её рифмуется с именем Лизаветы, которой достался самый неэстетичный, самый уничижительный эпитет.

Начну с Дашки и Клашки, потому что они вкупе будут впереди не единожды упоминаться и потому что с ними связана одна из курьёзных страниц моей журналистской биографии.

По-моему Дашка и Клашка в высшей степени талантливые натуры. Конечно, талант у них весьма и весьма своеобразный. Одни выражают свой дар в песнях, другие – в рукоделии или ремесле, а эти – в бранях. Брань – это, как известно, и война, и ругань. А поскольку Дашка с Клашкой соседки и поскольку взаимные симпатии носят у них преходящий характер, баталии между ними возникают часто и порой разгораются до таких масштабов и приобретают такие яркие формы, что полсела выходит посмотреть и послушать.

Я тоже смотрел и слушал, как говорится, в силу производственной необходимости. Не знаю, удастся ли мне передать это, но пикировались они виртуозно. Убеждён: нужен подлинный природный дар, чтобы так умело находить для своей противницы наиболее язвительные слова, способные пронять её до самого нутра, испепелить, превратить в ничто. И как ни парадоксально это прозвучит, импровизированные спектакли Дашки и Клашки носят воспитательный характер. Они воспитывают по принципу от противного, по принципу – как не надо поступать. И если, случится, поссорятся девчонки-подружки, матери непременно скажут:

– А ну, цыц! Шумят, как Дашка с Клашкой.

“Как Дашка с Клашкой” – самое строгое осуждение.

Так вот, пришло в редакцию из Липовки почти одновременно два письма: соседки жаловались друг на друга и обличали местных руководителей за подозрительно благосклонное отношение к противной стороне и даже потакание.

– Ты там часто бываешь, разберись, – распорядился редактор.

И тут последовала цепь моих ошибок. Первая состояла в том, что я не насторожился, когда Морозов на моё предложение вместе побеседовать с жалобницами невинным голосом сказал:

– Дашка с Клашкой не поладили? Не может быть! Они же у нас – не разлей вода! Это все знают. Да и чего толпой ходить? У меня дел по горло. А они, небось, давным-давно помирились. Сходи, сам увидишь: воркуют, как голуби.

И убедил, и я пошёл один. Это была моя вторая ошибка.

– Ну, чего не поделили? – беззаботно начал я, представившись Клавдии, которую застал во дворе её дома.

– Пушай курей своих не распускает. Все грядки мне разворошили, – ответила она.

Немедленно распахнулась дверь соседнего дома, и появилась Дарья.

– Окстись! – почти мирно сказала она. – Они у меня в сарае запертые,

– В сарае? – почти искренне удивилась Клашка. – Нешто не твой?

– Знамо, не мои.

– А чьё же это стадо на моих огурцах пасётся?

– Не знаю. Да и откуда у тебя огурцы? На твоём огороде отродясь ничего, окромя лопухов, не росло.

Клашка словно и не заметила этого острого укола.

– Хоть лопухи, да мои, – ангельским голосом ответила она и ехидно спросила: – Значит, не твои куры в моих лопухах несутся?

Клашка ударила в самое уязвимое место противницы – в жадность – и ударила болезненно.

– Ты вечно чужое хапаешь! – вызверилась Дашка.

– Чегой-то чужое? – усмехнулась Клашка. – Сама говоришь: не твоё.

– Возверни яйца! Аль с голоду помираешь? Могу одолжить десяточек, на бедность твою.

– А ты при своём богатстве курам соломки на гнездо не расстаешься. Я не в долг, бесплатно могу дать.

Дарьин муж в рыбаки подался, ходит в море, деньги привозит немалые. Видимо, потому и зовут её богатой. Хотя и сама она зарабатывает прилично, в лодырях не числится.

– Заткни себе одно место своей соломой, – бабахнула Дашка в ответ на предложение соседки. Уж пусть простят меня читатели за этот и последующие вульгаризмы.

– А ты подавись своими яйцами, – последовал ответный залп.

Я попытался было погасить конфликт, но разве пушки остановишь? Канониры меня уже не слышали.

– Я не подавлюсь, они мои, – орала Дашка. – Это ты вечно на чужое заришься!

– Я на твоё? Да тыфу на тебя! Ты ж удавишься, ежели кто крошку у тебя возьмёт.

– Не бери! Своё имей.

– А ты, коли имеешь, так и держи при себе.

– Тебя не спросила, где мне держать.

– Спросила не спросила, а только ежели твой кочет, горлопан голенастый, опять стадо ко мне приведёт, так и знай: головы пооткручиваю.

– Ой! Головы она пооткручивает. Испугались, как же! Свою побереги!

– Известное дело, руки распускать ты мастак. Лучше б дырку в загородке заделала. Аль нанять не на что? Аль мало морячок привозит? На любовниц на городских трагится?

– Ты свои дырки посчитай. У тебя на юбке дырок больше чем сагину. Латку приладить и то неспособная. Неумеха! – окрысилась Дашка.

– Ты бы у себя под юбкой залатала. Раскрытый стог – подходи кто хошь! Мужик возвратится - он те ревизию устроит.

– А тебя завидки берут? Не к тебе же мужикам ходить. Чай, у них глаза есть.

– Мне и моего мужика хватит, – добродетельно произнесла Клашка. – Бесстыжая! Совести у тебя нету.

– А у тебя вообще ничего нету. Ни сзади, ни спереди. Как доска.

– Есть чего надо!

– Нету!

– На, погляди! – Клашка повернулась к супостатке спиной, потом снова лицом и даже приподняла подол. – Вот те сзади, вот те спереди.

Руки Дашки упёрлись в бока, голова запрокинулась назад. Она захохотала, вкладывая в каждое “ха-ха” максимум сарказма.

– Ты бы хоть исподнее постирала. Небось, как надела, так и не снимала ни разу, – выхохотала она, надеясь, что сокрушила соперницу наповал.

Но Клашка тоже не лыком шита.

– А ты как сняла, так и не надела ни разу. Не успеваешь. Вот! – парировала она.

Я почувствовал, как у меня от стыда полыхают щёки и уши, впопыху сквозь землю провалиться. Мне бы уйти, от греха подальше, но я настолько растерялся, что стоял вкопанным столбом.

Клашка решила тоже, что сделала победный залп, повернулась к неприятелю спиной и ушла к себе в дом. Но разве Дашка могла смириться с поражением!

– Люди добрые! – саданула она из крупного калибра. – Гляньте на эту страхолодину! Вся извелась за мужиками бегаячи. Видала я, как ты Федота Замашкина к себе заманивала.

Это была явная напраслина, стерпеть которую Клашка была не в силах. Она распахнула окно, остервенело плюнула в сторону соседнего дома и выпустила очередной снаряд:

– Срамная баба! Вот ты кто есть.

– А ты... А ты... – захлебнулась Дашка от недостатка метафор и эпитетов.

– Что, перестал к тебе Федотка ходить? Раскусил тебя, стерву? Почём берёшь-то, скажи.

– Сама ты всем стервам стерва! И мать твоя была такая. И весь ваш род паскудный!

Теперь Дашка сочла баталию выигранной и хлопнула дверью. Но и Клашка не могла позволить, чтобы последнее слово было не за ней. Вновь распахнулась её дверь, и разъярённая Клашка выкатилась на крыльцо.

– Она мать мою срамотит! Ты бы про свою вспомнила. Расскажи людям, с кем она тебя пригуляла. Известно, в кого ты такая распутная.

Нанеся этот удар, Клашка готова была торжествующе удалиться, но тут выскочила из своего укрепрайона Дашка и, взвизгнув “Вот тебе!”, запустила в неприятельницу гнилой картошиной.

– А-а-а! – завопила Клашка и ринулась врукопашную. Противницы сошлись у изгороди и с воём вцепились друг в дружку. Поскольку Дашка мощнее, она, понеся незначительные потери в виде клоков волос и изодранной кофточки, обратила Клашку в бегство. Однако Клашка не просто убежала. Она выскочила на середину улицы и апеллировала к общественному мнению:

– Люди добрые! Убивают!

До этого самого момента я оцепенело стоял, будучи не в состоянии ни войну остановить, ни осознать толком, что происходит, ни уйти. А тут, наконец, очнулся. Очнулся – и давай Бог ноги! Рванул с места галопом. Правда, далеко убежать не успел. Остановил меня голос, не очень громко, но внушительно произнёсший:

– Клавдия!

Я поднял глаза и вовремя. Не то протаранил бы Пашку Кустова. Дом Кустовых аккурат напротив Дашки с Клашкой, через дорогу, и Пашка только что сошёл с крыльца. Благодушный, поскольку отобе-

дал. Весёлый, поскольку, надо полагать, наблюдал в окошко очередной пограничный конфликт.

Я шустро спрятался за широкую пашкину спину, а Пашка повторил, покачив головой:

– Клавдия!

– Чё Клавдия! – огрызнулась та. – Чуть что – сразу Клавдия. – И заголосила: – Заступиться – так некому, а всё Клавдия да Клавдия!

Но утихла, уgomонилась и, хлюпя, ушла домой.

Я оторопел ещё больше. Как сумел Кустов одним словом урезонить Клашку? Это же всё равно что погасить пожар, остановить поток, прорвавший плотину.

Позже, когда мы уже близко познакомились и подружились, я спросил его об этом.

– Тебе же положительный пример подавай, – засмеялся он в ответ. – А я обошёлся с этими бабами отрицательно. Они, понимаешь, пока я в городе ошивался, мать мою начисто извели. Вдвоём насели на неё. А она у меня тихая, робкая. Не в меня. Ну вот. Как быть? С бабами воевать – не дело. Встретил я вечером в тихом месте клашкиного мужика и врезал ему. А ты, говорю, Клашке по индукции передай. Ну, передал он ей, наутро в синяках ходила. А дашкин морячок никак не попадался. Я тут – он в море, он вернётся – меня нет. Ну, я к Дарье зашёл. Тебя, говорю, не трону, а мужика твоего разукрашу так, что не видать ему заграники. А каково Дашке без такого привара остаться! Возымело... Вот с той поры только головой покачаю – утихают. И к мамане моей с полным почтением.

И впрямь, подумал я, пример положительным не назовёшь. Только ведь и слова из песни не выкинешь. Такой он, Пашка. Такая вот у него песня.

Позорно бежав с поля брани (а брань была – не приведи, Господи!), я ворвался в правление. Сейчас, думаю, выдам председателю на полную катушку. Он же, фрукт заморский, небось, смеётся надо мной до упаду. А он не смеялся. Он глядел на меня сочувственно и требовал сочувствия себе.

– Не огорчайся, – успокоил он меня. – Зато теперь знаешь, каково нам приходится.

И он рассказал, как после каждого конфликта (а возникают они не так уж редко) то ли он сам, то ли участковый, то ли оба вместе ведут, говоря словами участкового, “среди каждой из них” индивидуальную разъяснительно-воспитательную работу, которая заверша-

ется, как правило, очередным серьёзным предупреждением и потоком слёз Дашки и Клашки. При этом каждая считает себя безвинно пострадавшей, поскольку надеялась на заступничество власти и не встретила поддержки. Стыдно признаться, но мне при этом подумалось, что пашкин метод действеннее.

Ведь разбирательства, уговоры, увещевания по нраву воительницам, им греют душу бессчётные комиссии, приглашения на беседы, вежливые проверяющие. От всего этого они распалются ещё больше и от устных сражений переходят к эпистолярным. На каждого представителя местной власти в последующих инстанциях лежат десятки жалоб враждующих сторон и соответствующее количество объяснительных записок “притеснителей” и справок проверяющих.

Иногда думаю: какого лешего мы так лебезим перед склочными натурами? Зачем по десять комиссий проверяют их наветы? Проверила одна, убедилась – враки, и принимайте меры. Штрафуйте, судите, пока окончательно не захлестнуло нас это ядовитое половодье.

– В газетах про них писать, – ехидно дополнил меня Морозов, когда я развил ему эту не очень новую мысль.

“В газетах? – осёкся я. – Попробуй напиши! Потом в селе не показывайся. Заплюют и заклюют”.

И тут же усовестился: струсил. Вот так, наверно, и все: местные начальники и проверяющие – не то чтобы трусят, а связываться не хотят.

Я не успел утихомирить разволновавшееся от увиденного и услышанного сердце, путём отереть со лба пот, в который меня вогнали Дашка с Клашкой, как в редакцию пришли ещё два письма. Клашка сообщила моему руководству, что я вёл себя непотребно: вместо того, чтобы во всём разобраться и обличить “эту срамницу”, распивал с Дашкой спиртные напитки, в частности доставленный от Макара Петрунина самогон, и всё такое прочее. Дашка, напротив, утверждала, что пил я у Клашки и “всё такое прочее” было тоже у неё.

“И ЭТО ВСЁ О НЁМ...”

– Прибежишь, повинисься, – всё время твердил про себя Пашка. Но как же плохо он знал Зиночку! И как переоценивал себя! Она любила его, любила сильно. Но сильнее любви была её гордость, укротить которую она не могла, а он не умел. Ему лишь стоило сказать: “Я виноватый, Зинка! Ты не серчай!” – и всё бы уладилось. Но разве он такое скажет!

Он не сказал, и она не прибежала, не повинилась. Не дождавшись его, собралась, на вопрос матери: “Куда?” – бросила: “В город” – и укатила.

Кинулась, как в прорубь головой, в неведомую жизнь. Что её ждёт в большом, неприветливом городе, где жить, на что жить – об этом не думалось. Обида, обманутая доверчивость лишили её способности всё обмыслить, взвесить. Ни с матерью, ни с подругой не посоветовалась, ни с председателем. Всё бросила, как отрубила.

Поначалу, узнав об этом, Пашка опешил: не ждал такого от Зинки. На людях своего удивления не показывал, меж парнями похвалялся: – Подумаешь, краля! Получше найдём.

Шли неделя за неделей, от Зиночки не было никаких вестей. “Ну, нет – и не надо”, – хорохорился Пашка. Он вроде не переживал, ни дома, ни на работе, ни в клубе по нему незаметно было, чтобы огорчился. А всё-таки он ждал! Ждал Зиночку, ждал какого-нибудь знака от неё. Но знака не было, и Пашка решил:

– Хватит! Женюсь!

На ком жениться – не вопрос. Бабья молва давно и крепко повязала его с Екатериной Сергеевной. Чего ж тут думать! С собой видная, образованная, к нему – Пашка это чувствовал – симпатию питает.

– Пускай локотки себе покусает! – это он про Зиночку.

Вечером Кустов нагрнулся в катину светёлку.

– И долго тетрадки чиркать будешь? – спросил он учительницу, обложившуюся стопками ученических работ.

Кустов старался казаться разухабистым, разухабистой обычного, держался вольно, дело намеревался утрясти быстро. Он бесцеремонно спихнул с табуретки кошку и подсел к столу.

– Долго, – ответила Катя. – Всю жизнь.

Она наблюдала за ним. Её и коробила, и покоряла его грубая, широкая и неудержимая натура. Она легко различала, легче, чем он сам, что в нём настоящее, а что от бравады. Она ценила в людях прямоту и честность, а он был прям и честен. Она почитала людей цельных, решительных, а он был именно такой.

– И не надоедает в макулатуре копать? – продолжал он в том же духе.

– Любимое дело не надоедает.

– Не скажи! – возразил он. – К примеру, в двигателе колуешься – сначала ничего, а потом опостылеет – в пору бросить.

– А не бросаешь... И не бросишь, – убеждённо произнесла она.

– Может, и так. А вот я читал: наступит время, когда человек не будет всю жизнь к одному делу привязан. Захочет – другое облюбует.

– Бывают и однолюбы. Профессия, как и человек, верность ценит.

– Это точно, – согласился Пашка. – По трактору своему чую. Пересяду на другую машину – этот потом норов кажет. Вроде ревнует.

Кустов помолчал, а потом вернулся к понравившемуся ему слову:

– А ты, значит, однолюб?

Катя почувствовала, что он переводит разговор в другое русло, что не про профессию его вопрос. Это насторожило её, и она поспешила сменить тему.

– Решил задачку? – спросила она.

– Само собой, – бодро доложил он, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака сложенную вдоль тетрадку.

– Решил, называется! – засмеялась Екатерина Сергеевна, посмотрев его каракули. – В первой же строчке ошибка. А дальше они, как снежный ком, одна на другую накручиваются. Спешить не надо. Вот смотри...

Пашка приблизился к ней совсем близко, наклонился к самому её лицу и смотрел не в тетрадку, а на неё. Катя смутилась и отодвинулась. А Кустов пришёл к выводу: пора свататься. Но что-то сдерживало его. Не то чтобы он робел или ощущал неловкость. Видно, сама серьёзность момента действовала на него. Одно дело – подурачиться, поухлёстывать, а совсем другое – жениться. Когда шёл сюда, казалось всё просто: возьмёт её в охапку, скажет “Будешь моей” – и

всё. Но в оханку не получилось, а по-другому он не умел. Посерьёз-
нел и сказал:

– Знаешь, привык я у тебя бывать. Если не зайду, вроде чего-то
не хватает. – И засмеялся: – Чует моё сердце, сведёт нас судьба-гре-
ховодница.

И опять серьёзно, неожиданно, без подготовки:

– Выходи за меня, а?

Катя отошла к окошку, чтоб он не видел, как запылали её щёки,
чтоб не слышал, как вразнос заколошматилось сердце. Она стояла
спиной к Пашке и глядела в темень. Что она видела? Конечно, не
привычную сельскую улицу с пыльными проулками, не изнемогаю-
щие от яблочной тяжести июльские сады. Она видела себя, и Пашку,
и Зиначку в перекрестье всего происходящего, слышала голоса по-
койных родителей, упреждавших её: ой, не натвори беды, девка!

Пашка ждал. Она ответила, чуть-чуть успокоившись:

– Зиначке в отместку, да?

А впрочем, какой же это ответ! Скорее встречный вопрос. Он не
ждал такого вопроса. Вопросы в лоб, впопад. И оттого, что впопад,
он разозлился:

– При чём тут Зинка?.. Переболело, прошло... Да и не болело вов-
се.

– Не лукавь! Эта боль не скоро заживает.

– Ты почём знаешь?

Катя ничего на это не сказала (разве на такие вопросы отвеча-
ют?), а потом резко повернулась к нему:

– Можно ли так, Паша? Подумай, что делаешь! Ты ведь не только
её, ты себя предаёшь. Ты и сам, видно, не сознаёшь, что она в твоей
жизни значит.

Екатерина Сергеевна смотрела в его глаза, остро, пронзительно.
Он не отводил взгляда, он верил, что не кривил душой, говоря:

– Ничего не значит! Нету её, как не было. – И ринулся к Кате:
– Другая есть. Она всё значит. Глаза магнитные, глянешь – не отор-
вёшься. Вот так и буду глядеть всю жизнь. Соглашайся!

Катя уже взяла себя в руки и говорила теперь с ним холодно, даже
с насмешкой.

– Я же говорила: не спеши, когда задачки решаешь. Подумай сна-
чала.

– Что ты заладила! “Не спеши, подумай!” – обиделся Пашка. – Не
мальчишка вроде. Неужто не подумавши говорю?

Теперь настал его черёд повернуться к окошку. Теперь он, Пашка Кустов, смотрел в темень родного села. Что видел он за слепым стеклом, отслонявшим его от оставшихся там, в полях и лугах, у тракторов и косилок, забот? Видел, пожалуй, то же, что и она, но видел по-своему, по-другому. Видел и не понимал, откуда в Зинке, его преданной, безропотной, ласковой Зинке бунтарский норов, не понимал, почему у Кати, равнодушной к нему (больше чем равнодушной – он это понимал), почему у неё не блеснула радостная искорка в глазах от его слов.

Она подошла к нему:

– Не обижайся! Вы, мужчины, – чудной народ. Коль с вами похорошему – значит, влюблена без памяти. Так что ль?

Он схватил её в охапку (наконец-то в охапку):

– Не по нраву я тебе?

Она упёрлась в его плечи ладошками, которых он, наверно, и не почувствовал, и скорее словами, чем руками, оттолкнула его:

– Какой ты ещё ребёнок! По нраву, не по нраву – разве это всё? Человек так устроен, что у него всё пары требует. Пара глаз ему дана, две руки... И любви ему требуется две.

– Как так – две? – изумился Пашка.

– Очень просто, – объяснила она, освобождаясь от его лап. – Ты отчего ко мне пришёл? Уверен, что соглашусь, что тлеет во мне уголёк. Может, ты и прав. Может, и тлеет. Только мне одного моего уголька мало, мне ещё твой нужен. А где он, твой уголёк? Искорка хотя бы.

Он попытался заспорить, но она остановила его:

– Ты верно сказал: привык бывать у меня. И сам не заметил, как всю правду сказал. Придёшь, поболтаешь – о Зиночке меньше думаешь.

– Не думаю я о ней! Больно надо!

– Ну, надо, не надо – про то голова не спрашивает, сама думает.

– Она усмехнулась: – Не везёт тебе на задачки. А говоришь – думал. Иди ещё подумай!

– Гонишь? – обиделся он.

– Гоню, – твёрдо ответила она.

Пашка решительно схватился за фуражку. Но уйти не успел. Раздался стук в дверь, и появился Морозов.

– Я, кажись, не ко времени? В разгар прений? – попытался он пошутить, увидев их разгорячённые лица.

– Нет, – рявкнул Пашка, – уже подвели черту.

– Этот шалопут вас не обидел? – спросил Василий Михайлович Катю.

– Эпоха не та, – начал паясничать Кустов. – Теперь не я, теперь меня обижают. Шалопутом обзывают.

– Прости, – засмеялся Морозов, – больше не буду.

– Правильно, не надо больше, – продолжал ёрничать Кустов. – С передовиками производства надо пообходительнее обращаться.

– Это кто же передовик? – не понял председатель, куда он клонит.

Пашка извлёк из другого кармана (и чего в них только нет!) районную газету:

– Читайте прессу!

Василий Михайлович взял газету, развернул её и прочитал абзац, в который ткнул пальцем Кустов:

“Этот колхоз первым в районе... Отличились механизаторы...”

И, пробежав глазами фамилии, недоумённо пожал плечами:

– Про тебя тут нет.

– А вот, – показал Пашка, – “...и другие передовики сельскохозяйственного производства”. Это я и есть, потому что всех остальных поимённо перечислили.

– Обиделся, – догадался Морозов. – Дай срок – и про тебя будет.

– Я не в претензии, – мирно сказал Кустов. – Как ни как, про всех один раз написано, а про меня два раза.

– Где? – настороженно спросил Морозов, чувствуя новый подвох в пашкиных словах.

– На четвёртой странице. Вот, “Позор хулиганам!”

– Это же совсем из другого колхоза, – удивился председатель.

– Всё равно про меня! “И это всё о нём...”! – зло процитировал Пашка и хлопнул дверью, не простясь.

– Обиделся, – повторил Морозов. – Значит, проняло. Значит, порядок будет... Ну, ладно, посидим-помолчим-покурим... Он чего приходил-то?

– Свататься, – усмехнулась Катя.

Председатель поперхнулся, поняв бестактность своего вопроса. Поперхнулся без своей махорки. Курить здесь он и не собирался, а призыв посидеть-помолчать-покурить был всего лишь успокоительной формулой.

– Понятно, – протянул он. – И по всему видно, от ворот поворот...

А я думаю: чего он бузит?.. Такие, стало быть, дела... Покурим в другой раз, рассиживаться некогда, пошёл я.

– Может, чаю? – предложила Екатерина Сергеевна.

– В другой раз. Не чаёвое у вас, вижу, настроение. Я чего зашёл-то. Организуй завтра своих ребятешек на току поработать. Зерно греться начинает, не успеваем подрабатывать.

Катя молча кивнула.

Глава девятая

ЗЁРНЫШКО

Не хотел бы я оказаться в председательской шкуре. Столько забот на его голову! Закапризничала, на работу не вышла доярка, знаменитая на всю область Анна Ивановна Федякина, – думай, как ублажить, на ферму вернуть. Газетчик, – я, то есть, – под ногами путается, неизвестно что наковыряет – куда бы его спровадить? Правление пора собрать: с лодырями сладу никакого не стало. Уборка приспела, а не всё готово, как всегда двух-трёх дней не хватило. А тут ещё Пантелеев грозился нагряться – всем неприятностям неприятность. И всё это в один день, всё разом, неожиданно-негаданно.

Морозов был изрядно взвинчен, когда я заявился. Он поморщился, увидев меня:

– До чего ты не вовремя!

Для него я всегда не вовремя. Потому что его время между фермами и полями расписано, между людскими судьбами и проблемами, которые жизнь подсовывает. А я не предусмотренная проблема, не запланированная трата времени.

– Садись, пока её нет, поговорим, – смирился он. – Анну Ивановну улаживать будем.

А у меня свои хлопоты, свои проблемы. Зачем мне Анна Ивановна? Я приехал к нему на этот раз вскоре после того, как прославил выпускников местной школы, что решили всем классом на ферму идти. Очерк я написал быстро, он мне и самому понравился. Позвонил Морозову, прочитал. Говорит: годится. Но что-то меня в его тоне, в его настроении насторожило. Перечитал свой опус. Вроде всё правильно,

а былого удовлетворения уже нет. Ощущение такое, будто всё, что я написал, – шелуха, а полновесного зерна в этом нет. И никак не мог понять, в чём тут заковыка, что должно было стать этим полновесным зерном. Перелистал свои блокноты, переворошил в памяти встречи с ребятами, с учителями. Вроде никакой фальши. И ребят уговорили легко, и работу им предложили хорошую, и условия сносные.

Опять звоню Морозову. И так, и сяк с ним говорю. И крепнет во мне убеждение: что-то его во всём этом не устраивает. А что?

И вдруг среди ночи меня словно шилом в бок кольнуло. Да дело именно в том, что уговорили. Не сами парни и девчата к этому пришли, не жизнь побудила, а именно уговорили. Значит, очередная кампания, очередная шумиха. Опять пыль в глаза, “ценный почин”, а через месяц-другой побегут. И Василий Михайлович знает это. Вот что его не устраивает.

И сейчас я ему всё это выложил.

– Что тебе сказать? – после долгого раздумья промолвил он. – Не лежит у меня душа к таким починам. Их, ребяташек, – восемнадцать гавриков. Восемнадцать! Разных. А мы их всех на ферму. Всех под одну гребёнку, по стандарту. А они разве стандартные? У каждого свой склад, свой настрой, своё зёрнышко в душе. Понимаешь? У этого к одному душа лежит, у того – к другому. Вот у Макара и Лизаветы Петруниных, у этих прохиндеев, лежебок и самогонщиков, дочь выросла неизвестно в кого. И умница, и чистюля, и душой ласковая. В ясельки прибежит – всех чумазных перецелует, всем носы поутирает. Такое у неё зёрнышко. Зачем её к коровам? Её к детишкам надо. В педучилище или в институт на колхозный кошт.

– Ну и послал бы.

– Я бы послал... А коров ты мне доить будешь? Я вон Тамару Ерёмину покритиковал, за грязь да за нерадивость премии лишил. А она к соседям переметнулась. Ночью перевезли, без документов приняли. Считай, украли доярку. А у меня их и так некомплект. Вот сейчас послушаешь, что Федякина запоёт... Знаю, ты мне про планомерную работу со школьниками толковать начнёшь. Согласен, надо их ориентировать. И мы это делаем. Мои агрономы и зоотехники и сам я каждого пацана на селе знаем. Только не мы одни ориентируем. Жизнь тоже. И родители. Пойдёт дочь в доярки, если мать говорит: “Не пушу! От меня силосом да навозом пахнет. Пускай она городским духом подышит”. Вы у себя в газетах пишете: дать молодёжи привлекательную работу. А привлечёт её такая работа?

– Ну, сейчас дояркам полегче стало. И выходные каждую неделю, и вручную сколько лет не доят..

– Верно. А новую ферму построим – в две смены работать будем, как на заводе. И силос доярки раздавать не будут, и навоз убирать. И называться будут операторами. Чем не привлекательная работа! А думаешь, к нам побегут? Всё равно от нас. В город побегут, на непривлекательную работу. Посудомойками в столовых, лотошницами, мороженщицами. Вот и из этих восемнадцати если у четверых-пятерых зёрнышки прорастут – и слава Богу! А у остальных чужая рассада, дичок в рост пойдёт.

– Безысходность какая-то.

– Безысходность – не безысходность, а проблема. Вас, газетчиков, послушать-почитать, так проблемы люди создают, нерадивые руководители. Ты мне, конечно, в пример соседний “Новый путь” и его геройского председателя. Мол, у него не бегут. Бегут и у него. Поменьше, что правда – то правда... А вот скажи. Ты его хозяйство знаешь не хуже моего. Что у него есть такое, чего у меня нет?

Я начинаю сопоставлять и вынужден согласиться, что вроде бы и у Морозова всё есть. О людях заботы не меньше. И льготы парням, что из армии возвращаются, и молодожёнам. И ветеранам почёт. Правда, дом культуры у соседей почище иного городского, а в Липовке плохонький клуб, в старом здании. Но ведь дом культуры появился недавно, а стабильный коллектив давно. Заставил меня Морозов задуматься. А подумав, пришёл я к выводу, что у него всё то же, да не то. В Липовке всё, как в “Новом пути”, а в “Новом пути” – не как в Липовке. Там по-своему. В Липовке вторично, а у геройского председателя первично. В “Пути” от жизни, а у Морозова от соседей. Я, конечно, огрубляю. Не такие уж председатели попугаи. И Морозов умный мужик. Своего любопытного в каждом хозяйстве много. И председатель “Нового пути” учится у других, много чего перенимает. Но каждое зёрнышко чужого опыта становится его кровным и, прорастая, не даёт чужеродных побегов. В “Новом пути”, например, не пойдут на массовые “призывы” школьников на фермы и трактора. Там идёт естественное обновление рабочей силы. Нет, не все выпускники остаются в селе. И не надо, чтобы все. Кому на роду написано стать врачом – пусть им и будет.

– Так то в “Новом пути”, – вздохнул Морозов. – У героя и блоха доится. У него людей хватает. А мне что делать?

Он вздыхает и курит. Вздыхает в ожидании неприятного разгово-

ра с Анной Федякиной, за которой послал. Если бы я знал, что меня ждёт, я бы тоже, наверно, вздыхал или, ещё лучше, заблаговременно сбежал. Но я ничего не предвидел, не предполагал и потому был спокоен и даже безмятежен.

– Да ведь как подгадала, – сокрушался Морозов. – И без неё двух человек не хватает на ферме. Форменная катастрофа!

Строптивница, дав себя поугovarивать, вскорости явилась. Мне стало жаль председателя, когда я увидел, как заискивающе заговорил он с дояркой и какое удовлетворение промелькнуло на её лице. Но только промелькнуло, потому что тут же Анна поджала губы и приняла вид незаслуженно оскорблённой добродетели.

– Рассказывай, Анна Ивановна, чем я тебе не потрафил, чем не угодил. Повинюсь, коли что не так сделал, поправлюсь, – изо всех сил старался Василий Михайлович. – Скажи, на что гневаешься.

Анна Ивановна пуще прежнего опустила уголки губ:

– Моё дело – на что. Не желаю – и вся недолга.

– Ну, нет! Общее наше дело, – наседал председатель. – Или мы тебя не ценим? Или не про тебя чуть не каждый день в газетах пишут?

– Пишут невесть что, – буркнула Федякина.

– Где это невесть что? – удивился Морозов.

– Вот, – сунула она ему газету. – Сказано: самоотверженно работает.

– Правильно сказано. Чем же ты недовольна? Тебя хвалят.

– Может, и хвалят. А только нехорошее это слово. Который раз попадаете – не по душе.

– Чем же оно нехорошее? Ты просто не поняла.

– Вот ты и растолкуй!

– Ну, это значит, что ты хорошо работаешь. До того хорошо, что сама себя отвергаешь, – попытался объяснить Морозов и, по-моему, ещё больше запутал дело.

– Как это я сама себя отвергаю? – удивилась Анна Ивановна. Пуще прежнего не понравилось ей это слово. Не похвалой от него отдавало, а осуждением, казалось ей.

– Ну, всю себя людям отдаёшь. Для людей всё делаешь.

– Не знаю, – недоверчиво протянула доярка, – для себя, кажись. И для людей, наверно, тоже. Только как это я сама себя отвергаю?

Что она для людей старается, с этим она спорить не хотела. Тут всё вроде правильно. А вот почему она сама себя отвергает? Так это

слово её неприятно поразило, даже покорило, что она, повторяя его, как бы давала нам с председателем почувствовать это, призывала нас вслушаться в его звучание, уловить не понравившийся ей оттенок и либо отказаться от него вовсе, либо придумать ему другой смысл.

– И неправда это, что я сама себя отвергаю. Вообще я сама себя не отвергаю, Нешто мне жизнь не мила? Али я руки на себя наложить удумала? И чего это я должна себя людям отдавать? Нешто война сейчас, чтоб за других жизнь отдавать?

– Да нет, Анна Ивановна, – изо всех сил старался Морозов. – Так про тех людей говорят, которые лучше всех работают...

– Так бы и написали...

– ...которые со временем не считаются...

– Во, – согласилась Анна.

– ...о других больше думают, чем о себе...

– Да ты чё говоришь-то? – осердилась Анна Ивановна. – Как это я о себе не думаю? А кто, ты обо мне думаешь? Может, ты хозяйство моё, дом мой обиходишь? Али мои дети хуже других одеты-обуты? Не накормлены, не ухожены?

– Остановись, Анна Ивановна! Куда тебя понесло?

– Ты мне, председатель, рот не затыкай! Известное дело, я одна, без мужика, за меня заступиться некому...

Она захлюпала и стала утирать нос и глаза концами платка, который, когда она распалилась, сполз у неё с головы на шею.

– Вот газетчик сидит, – капитулировал Василий Михайлович, ткнув в меня пальцем. – Он написал, пусть он и объясняет.

У меня неприятно заныло под ложечкой. Я что-то бестолково мекал и бекал, не зная, как бы популярнее объяснить это затасканное газетное слово, которое наш брат, журналист, бездумно лепит к месту и не к месту.

– Ты не мычи, ровно телок непоеный, – приступила ко мне Федякина. – Говори, пошто ославил на всю область.

– Что вы, Анна Ивановна! – залепетал я. – Это же высшая трудовая доблесть, когда человек самоотверженно...

Чёрт меня за язык дёрнул! Я спохватился, попытался остановиться, но слово, которое, как известно, не воробей, вылетело, и поймать его, вернуть назад, на пыльную полку газетных штампов, было уже невозможно. Словно в огонь керосину плеснули, Анна Ивановна запылала безудержно, взъярилась так, что мы с Морозовым языки при-

кусили, головы в плечи вобрали и ждали, когда буря утихнет, когда пронесёт. Но буря утихать не собиралась.

– Ишь чего насочиняли! Сама я себя отвергла! – кипятилась Федякина. – Вот ты, председатель, заставляешь меня от темна до темна спину гнуть, отдыха не даёшь, выходных не даёшь! Вот ты меня и отвергнул. От дома, от детишек, от себя самой. Мужик меня отвергнул, к другой, чистой, подался, которая сама себя не отвергает. А я встала в пять, легла в двенадцать, день-деньской топчусь да ночь прихватываю, грязь с коровьим добром перемешиваю. А думаешь, не хочу, чтоб от меня не этим самым, а духами пахло? Аль, думаешь, книжку почитать не охота, у телевизора посидеть? А когда? Отвергнул ты меня, да надо мной же и издеваешься...

– Ты чего несёшь!! – начал закипать Василий Михайлович. – Выходных у тебя нет? Отпуск тебе не даю?

– Отпуск! Сам, небось, по курортам ездил...

– Кто в прошлом году на курорте был, я или ты? Да и кто теперь по курортам мотается!

– Пишут, не думаячи, – ушла Анна от острой темы. – Ну, этот стрекулист, он чужой, он чё про меня знать может? А ты-то, чай, не первый год в колхозе. И такую напраслину на меня возвесть. Ухожу я с фермы, дой сам, отверженно или как – дело твое. В “Новый путь” подамся. Там людей почитают.

Она встала, будто нороя немедленно, тот же час отправиться к соседям.

– Иди, иди в “Новый путь”! – взорвался Морозов. – Иди! А мы коров твоих на новую ферму переведём, девчонкам-школьницам отдадим.

– Ты чего грозишься? – возмутилась Федякина. – Как это ты моих коров отдашь?.. Скотину загубить хочешь? Вредитель! Мало тебе, что народ тиранить, дак ещё и коров. Не отдам!

– Так ты ж в “Новый путь”...

– Сам иди в этот “Новый путь” или подале куда. Чего ты меня гонишь? Не нужна стала? Уйду, коль не нужна. Там, по крайности, дояркам за качество плотют.

– А я тебе за что плачу? – гаркнул Морозов. – За воду колодезную, что ли?

Анна Ивановна остолбенела. Она широко распахнула глаза, рот запахнуть не успела, стала красной, почти фиолетовой и аж задохнулась от гнева. Ноги под ней подкосились, и она так и села у порога

на стопку газетных подшивок, приготовленных ребятишкам на макулатуру.

– Да ты это что?.. Ты это про кого? – наконец продохнула она. – Чтоб я... воду в молоко!? Ну, всё, Морозов, всё! Кончилась моя терпеливость! Щас жа в район... Прокурору жалиться стану...

И тут очередная оплошность приключилась со мной. Когда Федякина заговорила про молоко и воду, вспомнил я как на грех – вот ведь злополучный день! – великолепную по своей бюрократической изощрённости фразу из одного документа: “Фальсификация молока водой”. Вспомнил и улыбнулся. Что было потом – словами не передать. Во всяком случае, я теперь, прежде чем улыбнуться, оглядываюсь, нет ли поблизости Анны Ивановны. В литературном изложении речь Федякиной состояла из не очень лестного мнения обо мне и о моих предках и потомках до седьмого колена.

Она опять заревела, опять промокнула глаза и нос хвостиком платка.

Было видно, что она и шуметь устала, и реветь устала, а как остановишься? Нужен благопристойный повод. И случай выручил её, а заодно и нас с Морозовым. В правление зашёл Пашка Кустов и прервал её верешание.

– Теть Нюр! Опять твоя Красавка из стада сбежала, на кукурузе ходит.

– От, зараза, сызнова задурила! Ну, я ей бока сейчас обомну!

И Анна поспешно покинула поле боя. Она, если и не победила, то отступила с достоинством.

– Ну, спасибо, Кустов! Спасибо, благодетель! Думал, оглохну, – облегчённо вздыхая и утирая пот со лба, поклонился Пашке председатель.

– На здоровье, – в тон ему ответил Кустов, – дело для меня привычное.

И он посмотрел в мою сторону, намекая на эпизод с Дашкой и Клашкой.

– Кое-кому наши бабы по ночам скоро сниться будут, и будильника не надо..– смеялся он надо мной. – Ты не думай, у нас не все такие.

– Есть и похлеще, – ответил я, тоже имея в виду Дашку с Клашкой.

– Знаешь, как её на селе зовут? – спросил меня Василий Михайлович. – Громышок. Гремит много. Правда, без зла.

Верно, подумалось мне, шумела она без зла. Просто, человеку иной раз надо выпустить пар, дать выход эмоциям. Видно, накопилось много досады, усталости, а мы с Морозовым подвернулись под горячую руку.

– А работник она золотой, – продолжал председатель.

– Была золотой, – не согласился Пашка, – да ты испортил.

– Не городи ерунды! Есть у неё своё зёрнышко.

– Избаловал ты её. Всеми, какие есть почестями осыпал.

– Она того стоит, – спорил Василий Михайлович.

– Стоила. Теперь она этих почестей не отработывает. А если ты её и дальше баловать будешь, вовсе работать перестанет, на голову тебе сядет... На молодёжь ставку делать надо. Верно я говорю? – обратился он за поддержкой ко мне.

– Это на тебя, что ли? – с сарказмом спросил председатель.

– Почему бы и нет? – своим привычным разухабистым тоном отпарировал Пашка.

– С её поработай. Да с её поживи!

– Поработаю и поживу. А ты меня, как её, почитать будешь?

– Что заслужишь, то и твоё.

– Лады, – согласился Кустов. – Горбыля кубометр заслужил? Тогда веди выписать. Сараюшку починить надо.

Простившись с Морозовым и Пашкой, я пошёл к Аверьянычу и вскоре вновь увидел Федякину. Она стояла около своего дома, стояла с провинившейся коровой. Но не похоже было, чтобы коровьи бока пострадали. Более того, Анна ворковала:

– Красавушка, кормилица! Золотая ты наша!

Она чесала корове за ухом, и та блаженно жмурилась.

А впрочем, что ж тут удивительного? Выходили эмоции. Досада вылилась. Теперь выливалась нежность.

– Иришка! – крикнула Анна дочери. – Загони Красавку, мне на ферму пора.

И ОПЯТЬ ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

Пора нам с вами вернуться, как и обещано, к уникальному липовскому квартету, тем более что одна его половина – Дашка Богатая и Клашка Горбатая – уже представлена, а другая – Лизка, извините, Сопливая и Фиска, что правда то правда, Красивая, – хоть и не представленная, уже фигурировала в нашем рассказе.

Да и как умолчать о них, когда та и другая в определённой степени воздействуют на сельскую жизнь и противоборство их воздействия ощущают на себе и люди, и колхозная экономика. В самом деле, от самогонного производства, налаженного Лизаветой и Макаром, страдают многие семьи, их бюджет, трудовая дисциплина в хозяйстве. Зато Анфиса, и как главный агроном, и как человек, – негаснущий маячок, на свет которого тянутся люди.

И наделяя их прозвищами, односельчане выказали своё безошибочное эстетическое чувство: почтение к строгой красоте и осуждение неряшливости и лени. В отличие от первой пары Фиска и Лизка практически не соприкасаются. Живут на разных улицах и по разным устоям. И потому рассказ о них придётся разделить. Сначала о Фиске Красивой.

Анфиса Батурина, ещё молодая женщина, прогнавшая своего мужа-пьяницу, живёт вдвоём с сыном. Специалист она знатный, на добром счету в районе. И на работе строга, и себя в строгости держит. И “Фиска Красивая” говорится о ней уважительно, с признанием её строгости, трудолюбия, природного обаяния. И то, что Фиска, а не Анфиса, – не в укор, не в осуждение, а от обиходности, от привычки, по-свойски. Ведь она родилась и выросла здесь. Так с детских лет и зовут Фиской. Конечно, те, кто постарше. А молодёжь – по имени-отчеству.

Живёт Анфиса чисто и добродетельно. Хотя при её оглушительной красоте, чисто русской, типично сельской, настолько яркой, настолько бросающейся в глаза, что не заметить её, не вздрогнуть, не восхититься невозможно, при такой вот красоте, при всеобщем мужском поклонении жить добродетельно нелегко.

Когда она осталась одна, мужики, особенно первое время, прохо-

да ей не давали. И свои, и приезжие. У какой голова не закружится от такого внимания! А она как ни в чём не бывало. С достоинством, но скромно и просто носила она свою красивую голову, от людей глаз не прятала, со всеми была приветлива, и с ней все в мире жили, ни одного мужика к ней не приплели, ни одна женщина своего мужа к ней не приревновала. Как к червону золоту, не липла к ней грязь.

Единственным, с кем связала её молва, оказался всё тот же Пашка Кустов. Задела её краешком крыла его судьба, завернула к ней его стёжка. Но молва не была злой, тени на имени Анфисы не бросила, потому что как завернула стёжка, так и отвернула, была и былём поросла.

– Девка – не травка, не вырастет без славки, – говаривал Аверьяныч. – А к Фиске нашей дурная слава не льнёт.

А пытались, многие пытались подкатиться – и всерьёз, и баловства ради. Но Анфиса мужской контингент своего села, да и соседних тоже, знала досконально и отшивала кавалеров решительно и бесповоротно. В объяснения с ними она не вдавалась. Коли слов не понимали, другой способ находила. Женщина она крупная, сложения нехрупкого, сила в руках, привычных ко всяческому труду, есть. Пьяницы и бабники, вылетев за порог и очухавшись, заключали:

– Зверь, а не баба!

Но зверем она не была. Зверели мужики, а она лишь находила соответствующую случаю форму защиты.

Попытался было и запойный муж вернуться. Как-то разоткровенничался с Аверьянычем, тот ему и присоветуй:

– Пожался на долю свою горькую, повинись, прощенья попроси. Мол, за ум взялся, на твёрдую ногу встал. Ведь мужик без бабы, ядрёный корень, пуше малых деток сирота.

Пошёл мужик, изо всех сил постараться хотел все по-аверьянычеву сделать, а постараться не пришлось, потому что в момент был выставлен.

Аверьяныч, оценив ситуацию, скорее определил, чем спросил:

– Не уломал?

Тот махнул рукой и по-аверьянычеву, пословицей ответил:

– Упрямой бабы и в ступе не утолочь.

Но она была не упряма. Она была справедлива. Ещё раз добродушно обречь себя на то, что отравило ей не один год жизни, чего ради?

Аверьяныч проводил взглядом жалкого мужика, осуждающе покачал головой:

– Не стоишь алтына, не тянись за полтиной.

С порядочными мужиками, которые приходили с серьёзными намерениями (таких было, правда, немного), она разговаривала деликатно, но коротко, всегда сводя разговор к твёрдому:

– Нет!

Иной раз бабы, остановившись с ней у колодца или разговорившись за полосканием белья на реке, убеждали её:

– Фиска, чего упрямишься? Об сыне подумай. Ему же отец нужен!

– Такой нужен, – возражала она, – чтобы и мне был нужен. А абы какой не нужен.

– Вон, Пашка Кустов женихует, – то ли в шутку, то ли всерьёз подсказывала Анна Федякина. – Прибрала бы к рукам.

– Не сватается, – отшутилась она.

А он взял и посватался.

Зиночка по-прежнему безмолвствовала. Уже который месяц не слышно на селе её звоночка-голосочка. Опавшей листвой и сильными зелеными обозначился октябрь. Где она? Что с ней? Даже Нине не пишет. Слухи разные ходили. Дескать, там, в городе, за артиста замуж вышла, сынок у неё. Квартиру большую дали.

Поскольку от нашей редакции ближе к филармонии, чем от Липовки, разыскать её мне было нетрудно. И я разыскал. Взяли Зиночку в ансамбль народной песни. Но от того момента, как взяли, до первого выступления срок прошёл немалый. Одно дело – сельский клуб, другое – профессиональная сцена. Нужно было элементарно почистить и поставить голос, научить азам музыкальной грамоты. Зиночка была молодец: работала каторжно, училась старательно. И хотя не один раз ревмя редела и собиралась бросить всё и вернуться, бросить и вернуться не могла: гордость не позволяла.

Ах, эта женская гордость! Есть ли что-нибудь могущественней этой силы, непредсказуемой, непереломимой? Никакому другому чувству, никакой другой силе не пересилить, не переиначить её. Она сильнее любви, прочнее родственных уз, крепче хвалёного мужского упорства. Она самое прекрасное в женщине. Женская гордость – живительный родник. Она – неодолимая крепость.

Замуж Зиночка не вышла. Да и ни за кого, кроме Пашки, выйти не способна. А сын у неё и вправду растёт, крепкий басовитый бутуз – маленькая пашкина копия. Ну и насчёт квартиры молва, конечно, поспешила, домыслила по простому принципу: хороший человек

должен жить хорошо. А тем более обиженный хороший человек. Снимала она комнату, где кроме них с сыном, жила ещё её мать: кому же за мальчонкой доглядеть?

Так что живёт Зиночка трудно и приживётся ли в городе – сказать не берусь. Но Пашка обо всём этом ничего не знал. Мне Зиночка строго-настрого наказала молчать. И я молчал. Не только потому, что она не велела, а потому ещё, что Пашке не нужны чужие рассказы. Станет невольно – бросит всё и сам помчится в город. Подсказок, подталкиваний не потерпит. Может быть, он и собрался бы к Зиночке, да мать её невпопад вмешалась. Приехав как-то по своим надобностям в Липовку и встретив Кустова, Прасковья Белоусова бросила ему в лицо не больно любезно:

– Здорово, зятёк! Съездил бы, глаза свои бесстыжие сыну показал.

Сказать такое, да ещё при людях! Разве Пашка это снесёт! И он вздыбился, взъярился. Вот после этого он и посватался к Кате. А уж после неудачи у неё пашкина решимость поскорее жениться укрепилась. Причём так: если уж брать жену, то самую-самую. А самая-самая – это, конечно, Анфиса, Фиска Красивая.

Явился он к ней – сама серьёзность, без обычной своей дурашливости, без разухабистости. Обошлась с ним Батурина почтительнее, чем с другими, даже ласково. Говорить всё, что он хотел, позволила, всё, что говорил, выслушала. Ни словом, ни тем более действием (да и мыслимо ли Пашку действием?) не обидела, однако к сердцу не пустила.

– Знаю, Паша, – говорила Анфиса, – жила бы за тобой как за каменной стеной. Куралесишь много – так это пройдёт. И сынишка мой тебя не дичится.

– Ну, – согласился Пашка. Но, понимая, что монолог, хоть и выразителен, но коротковат, добавил: – Вот и ладно.

– Ладно, да не ладно, – возразила она. – Годков тебе сколько? Двадцать пять? Вот то-то ж. А мне поболее.

– Хе, старуха, – прыснул Пашка.

– Может, и не старуха, а для тебя стара.

– Фиса, брось! Любить стану. Не то что словом или там... – он поглядел на свой кулак. – Взглядом никогда не обижу. Ни в чём погрёку не будет.

– Верю, Паша, верю. Может, и хорошо бы мы жили. Может, другая и была б согласна. А я не могу.

- Что ж тебе одной-то, нешто лучше?
- Плохо одной, Паша. Да только сойдись я с тобой – беда будет.
- Отчего ж беда, коли я всей душой?..

Анфиса покачала головой:

– Нет, Паша, не здесь твоя душа. Ты и сам, наверно, не сознаёшь, а только Зиночка между нами всегда стоять будет.

Больно резанули Пашку анфисины слова, больно оттого, что были они похожи на катины, а ещё больше оттого, что были правдой. Он нахмурился. А она продолжала:

- Такой стеной стоять будет – не обойти, не перескочить.

И опять про Зинку. Свет, что ли, на ней клином сошёлся?

Долго ещё Пашка убеждал Анфису, долго она его слушала, а закончила тем же, чем и всегда заканчивала:

- Нет!

И добавила:

– Иди, Паша, и забудь про этот разговор. Коль уж и вправду к Зиночке остыл, какую-нибудь найдёшь, девок хороших много. А только не верю я, чтоб остыл. Не бывает так. Такие, как Зиночка, от себя не отпускают.

И опять по-катиному. Будто сговорились. Да ведь в самом деле не думаю о ней... Почти не думаю. А пройдёт сколько ни то времени – и не вспомню.

А она, словно слышит его мысли, знай своё твердит:

– Ты к ней навек присушенный. – И засмеялась: – Иди, присушенный, иди!

И Пашка ушёл. Это был ещё один удар – неслышанный удар! – про его самолюбие. Он про своё второе сватовство никому не говорил, Анфиса вроде тоже, а всё село вскорости судачило об этом.

Постичь невозможно! Пашка Кустов, которому никогда ни в чём ни от кого отказа не было, за которым прежде, лишь помани он, любая девка без оглядки побежала бы, который и мысли допустить не мог, что ему кто-нибудь поперёк слово скажет, этот самоуверенный, избалованный Пашка, гроза парней и девичье страдание, оказался, как та старуха, у разбитого корыта. Было отчего растеряться, надевать глупостей.

И он их наделал! По крайней мере одну. Послали его в район на курсы. Через две недели он вернулся в новом костюме, с галстуком, которого отродясь не носил, и с молодой женой.

МАТВЕЙ ПРОТИВ ЛИЗАВЕТЫ

Если Анфиса – сама добродетель, то Лизавета наоборот. У неё вся жизнь наоборот. И прищипленное к ней прозвище, режущее слух, вобрало в себя весь образ жизни Лизки. И Лизки, и её разлюбезного Макара.

Удивительно слаженный дуэт! Они и внешне очень похожи. Правда, Макар долговяз, а Лизка от горшка два вершка, но оба тщедушны, сутулы, грязны и обтрёпаны, оба не стрижены и не чёсаны, оба неопределённого возраста. А уж внутренне – совсем родня. От работы тошнит что того, что другую. Неухоженностью, запустением и грязью их усадьба отличаются поразительными. Огород, как уже в самом начале говорилось, в бурьяне. Черепица на крыше посползала. С потолка течёт. В окнах тряпичные кляпы звменяют выбитые шибки, и после каждой попойки убывает число стёкол, поскольку вставить их не на что, да и лень, и растёт число заткнутых тряпками амбразур. Но в доме темно и смрадно не только от этого. Оставшиеся целыми стекла не мылись и не протирались с тех пор, как уехала в город на учёбу их старшая дочь, о которой почтительно говорил председатель. С того же времени не касалась ничья рука и пола, покрывшегося плотным слоем грязи. Потолок и печку усеяли полчища тараканов. Ни скатерти на столе, ни цветочка на подоконнике, ни чистого полотенца давно уже в этом доме не было.

Вот так и живут Лизавета и Макар Петрунины. Аверьяныч на их счёт изрёк очередной афоризм:

– У них в амбаре и мыши перевелись.

Амбар – это деталь пословицы. В натуре никакого амбара у Петруниных не имеется. Есть покосившийся сараюшко. Ему бы упасть, да лень, весь в хозяев. И зачем им сарай? Живности никакой не держат. Чем живут? Добротой и долготерпением односельчан. Сельсовет их штрафовал, участковый за самогонку протокол составлял, правление не раз обсуждало – а им как с гуся вода.

Какую только работу Лизке не предлагали! Ни на одной она не прижилась. То ей тяжело, это далеко. А на последней должности её заменил... кто бы вы думали? Кот Матвей.

Кот этот – легендарное существо. Огромный, матёрый. Гроза не только всех соплеменников, а и собачьего племени. Местные собаки при встрече с ним отворачиваются, делают вид, что не замечают, или обходят его стороной.

Однажды молодой, нахальный, самоуверенный кобельёк попытался было на него насесть. Матвей для начала не очень сердито пошипел. Мол, слушай, не надо, иди своей дорогой. Кобельёк не внял, налетел на Матвея. Тот влепил ему затрешину, не двинувшись с места. Пёс осерчал, взъярился, задумал схватить Матвея за холку. Такого Матвей никому не позволял. Он вцепился кобельку в морду мощными передними лапами, наверно угодил когтями в кобелиные зенки, а задними лапами драл ему нос. Не трудно представить, какую боль испытал пёс, сколько визгу было. Он бросился наутёк, не разбирая дороги, оглашая сельские улицы, проулки и огороды истошным воем. Матвей висел на его морде, и кобельёк добрых полверсты протащил его на себе. Потом Матвей поджал когти и гордо стал на землю. Он проводил презрительным взглядом посрамлённого врага, в беспамятстве мчавшегося в другой конец села, стыдно скулившего, утратившего всю свою нахальную самоуверенность. Больше пёс на этой половине села не показывался.

Чей он, Матвей? Ничей. Скорее, общий. Прижился в колхозном клубе.

А с Лизаветой отношения у него складывались так. Вернее, они не сложились никак.

Лизке предложили быть при клубе: уборщицей, истопником, сторожем. И в первый же свой приход в клуб она вступила с Матвеем в конфликт. Лизка мела сцену, а Матвей чинно шёл мимо. И она имела неосторожность шлепнуть его веником. Матвей опешил на секунду. Так с ним никто не поступал. У него удивительно развито чувство собственного достоинства. Тщедушная Лизка, без конца шмыгающая носом, чему в известной мере и обязана своим прозвищем, показала ему менее серьёзным противником, чем нахальный кобель. Кот выгнул спину, распушил хвост, ощерил пасть, люто зашипел и боком, боком пошёл на обидчицу. Ещё миг – и он прыгнет и вцепится ей в физиономию. Лизка не стала дожидаться этого мига.

С той поры она сцену не мела, а Матвей не спускался в зал. Рампа стала для них демаркационной линией. Впрочем, вскоре Лизка перестала мести и зал, хотя Матвей тут был уже ни при чём. А когда она и топить почти перестала, и замок с дверей снимать, Морозов

призвал её к ответу. И тут Лизка совершила тактический просчёт. Она потребовала убрать кота.

– Матвей или я, – так звучал её ультиматум.

И Морозов решил:

– Конечно, Матвей!

Приобрёл кот известность и в районном масштабе.

Проводили у Морозова семинар. Перенимали опыт заготовки кормов. После того, как побывали на лугах, у сенажных и силосных траншей, под навесами с тюками ароматнейшего разнотравья, гости со всего района собрались в клубе. В президиуме – новый районный начальник, Алексей Борисович Локотков, молодой, улыбчивый, басовитый. На селе его сразу стали ласково называть Локоток – из симпатии к нему и по контрасту с его немалым ростом.

На семинаре, как водится, серьёзные речи произносились. Вытащили на трибуну упировавшегося Кустова: расскажи, как организовал работу в звене, как удалось полтора плана по сену сделать, как с дисциплиной. На первые два вопроса Пашка ещё мог бы ответить, хотя и не был речист, а вот на третий... Сразу вспомнился бутылочный инцидент. И Пашка растерялся. А тут ещё Морозов, услышав вопрос про дисциплину, многозначительно произнёс:

– Гм, гм...

Пашка на трибуне не знал куда себя деть. Было здесь тесно и неуютно. Руки никуда не помещались. Он вцепился ими в край трибуны, так что она издала писк и треск.

– Чего говорить? – сумрачно выдавил он. – Я же на лугу показывал...

– И всё? – иронично спросил Локотков.

– Ну, – согласился оратор.

– Работаете ты лучше, чем говоришь.

– Работать легче.

– Не скажи, – возразил Алексей Борисович. – Иной только и умеет язык чесать... Давай, расскажи, как звено формировалось, кого брали, кого не брали, по какому принципу.

Пашка несколько успокоился, собрался было говорить, но тут всю обедню испортил Матвей. Кот вышел на авансцену, вальяжный, флегматичный. Он никак не реагировал ни на зал, ни на президиум, ни на пламенного трибуна Пашку. Сел, задрал заднюю ногу и стал вылизываться. Когда зал оживился, он на мгновение остановился, посмотрел через рампу. Будто спрашивал: что тут смешного? Обыч-

ная туалетная процедура. Лучше было бы, чтоб я немьгтый ходил?

Кустов не сразу понял, в чём дело, подумал, что зал над ним смеётся. Он хотел было сказать что-нибудь колкое и уйти, да увидел кота. Морозов, сидевший в президиуме, смутился, решил прогнать Матвея и цыкнул на него. Матвея это до крайности удивило. Отродясь его отсюда не гоняли, если не считать конфликта с Лизкой, кончившегося, как известно, её конфузом. Сцена была его обиталищем. Кот обиделся и пошёл за кулисы, бросив на прощание укоризненный взгляд на председателя.

– Вот противная животина, – бормотал тот, вконец стусевавшийся.

Зал за животы держался. А Локотков, настроившись на общий лад, спросил:

– Дело делает? Мышей ловит?

– Работник что надо, – оживился Василий Михайлович.

– Со сторожем живёт?

– А он и есть сторож. Другого не держим. Была сторожиха, да мышей не ловила.

Так упрочился авторитет Матвея и окончательно осрамилась Лизавета.

А Кустов, отсмеявшись со всеми вместе, почувствовал себя уверенно и заговорил. Рассказывал дельно, толково, предлагал перемены, которыми участники семинара заинтересовались.

– Молодец! – похвалил его Локотков. И улыбнулся: – Будем считать: кот помог.

Глава двенадцатая

АМБАР НА ЗАПОРЕ

– Василий! А ну, слезай, посидим-помолчим-покурим!

Морозов, прикрывшись от солнца рукой, глядит вверх, где верхом на срубе сидит Василий Баев и топором орудует споро, щепы – тонкая, аккуратная – ложится кучно в углу. Топор, хорошо оттянутый, закалённый и наточенный, стучит радостно, с подзвоном. Баев придержал ходкий инструмент. отёр пот подоткнутой за пояс тряпи-

цей. Слез вниз, воткнул топор в обреш бревна, пожал нам руки и с хрустом потянулся, распрямляя спину.

– Не пойму я тебя, Василий, – заговорил Морозов, когда мы уселись на ошкуренном бревне. – Работящий, руки золотые, всё можешь. А чего-то один да один. Почему людей сторонишься?

– Потому и один, что всё могу, – попытался он отшутиться. – Да и не один я. Сам-друг, как говорится, жена помогает. Да сынов двое, Так что, сам-четвёрт.

– Закуришь? – предложил председатель.

– Не балуюсь, – отказался Василий.

А Морозов, заряжая, на страх мне, своё махорочное чудище, продолжал:

– Дом ставишь – дело хорошее. А потянешь сам? Ссуду бы дали, материалами помогли бы.

Василий Баев с женой Натальей и сыновьями-малолетками переехал в колхоз весной, переехал из города, не дождавшись жилья. Морозов в него мёртвой хваткой вцепился: на все руки мастер. Огород ему нарезал, тёлку дал. С жильём туговато в колхозе, но комнату с кухней ему нашли для начала. А он, вишь, и строиться надумал. Молодец!

Я вспомнил наш с Морозовым разговор на сенокосе и его характеристику Баеву: “Никого в себя не пускает. Как амбар на запоре”. Вспомнил и предупреждение: “Чую, придётся тебе с ним схлестнуться”. Я и тогда не понял, и сейчас недоумевал, из-за чего с ним нужно конфликтовать.

– Чего молчишь? Не веришь колхозу? – наступал Морозов.

– Как вам сказать, Василий Михайлович, – неспешно заговорил Баев. – Чего ж колхозу не верить? Верю. Сам попросился. Насчёт помощи я так понимаю... Уж не обижайтесь, прямиком скажу... Ссуду возьму – я к колхозу привязанный, должник на многие годы. Лесу дадите – я вам по гроб жизни благодарным быть обязан. Самостоятельности лишаясь.

– Чудак! – засмеялся председатель. – Бежать собрался? Непохоже. Ты же не на год, насовсем пришёл. Так?

– Это точно, насовсем.

– Ну вот. Зачем же мне тебя покупать, подневольным делать? Посуди сам. Помочь хотим, по-доброму, по-людски. Понял?

– Чего ж не понять? – вроде согласился Василий, не уступая в то же время своей позиции.

– Дело, конечно, твоё. Управисься сам – ладно. А только от людей не хоронись. Они этого не любят.

– Мало ли кто чего не любит. Я, к примеру, не люблю, когда ко мне без дела лезут. Пришёл тут один недавно с бутылкой – я его погнал. А явился Кустов о звене нашем потолковать, о деле, о работе – с полным моим удовольствием! Всё отложил, сели, поговорили. Я так считаю: коль от работы не хоронюсь, стало быть, и от людей тоже. Конечно, которые работающие.

– Работаешь ты, Василий, зверски, ничего не скажешь. А с другом посидеть, просто так, песню попеть – не бывает охота? Душу отвести?

– Топор в руки – и отвожу душу.

– С тобой каши не сварить, – опять засмеялся председатель.

– Ещё как сварите, – заверил его Баев. – Не такой уж я нелюди-мый, спросите в звене. А только чего попусту языком молоть!

– Тебе видней. А все-таки, сам-сто лучше, чем сам-четвёрт. Ну, бывай!

И мы с Василием Михайловичем пошли дальше, на машинный двор, поглядеть, как комбайны готовят.

– Слушай, председатель, – полюбопытствовал я. – Ты Баева не понимаешь, а я тебя. Чем он тебя не устраивает?

– Не устраивает? С чего ты взял? Мне бы десяток таких, как он да Кустов, – горя бы не знал.

– А чего же ты к нему цепляешься?

– Единоличник он. В колхозе таких не любят.

– Хозяин, работяга!

Я начал спорить, не предполагая, что очень скоро буду спорить из-за этого уже с самим Баевым и откроется он мне совсем другим боком.

– Под себя гребёт. Скупой, – продолжал Морозов.

Я хотел ему напомнить не совсем праведную пословицу про курицу, что одна-единственная от себя гребёт. А он не дал мне на это времени, отрубив:

– Себе тоже надо. Но если всё себе, то кто же всем? Мужик на Руси всегда артелью жил. Был у него и свой карман, и артельный котёл. А артельный котёл, между прочим, – это не только совместный кулеш. Это, если хочешь знать, объединительный символ.

Я посмеялся над такой символикой, а Морозов меня отчитал:

– Зря ржёшь! Кто из общего котла не хлебал, тот и своего иметь не будет.

Забегая вперёд, уже за хронологические рамки нашего повествования, расскажу, как всё же сбылось морозовское пророчище и как мы “схлестнулись” с Баевым.

Когда нависла над липовским колхозом угроза роспуска и пошли плодиться фермеры, я подумал: “Пришла пора таких, как Василий Баев. Его нрав, нрав единоличника – как раз для фермерства. К тому же, на все руки горазд. У него получится”. Становилось понятным, почему он обосновывался на селе сам, без колхозной подмоги. Сам – значит никому ничего не должен ни экономически, ни нравственно. “Далеко глядел!” – подивился я.

Какой же неожиданностью, каким потрясением для меня было узнать, что Баев в фермеры не пошёл и из колхоза выходить отказался.

Своё недоумение я ему выложил и услышал в ответ:

– Думаете, осторожничаю? Приглядываюсь, как оно будет? Нет! Без приглядки знаю: ничего не будет! Был один средней силы колхоз – будет сто бедняков-единоличников.

Я начал спорить, ссылаясь на газетные примеры. А он спокойно и убеждённо гнул своё:

– Много у нас фабрикантов да заводчиков? И помещиков будет столько же. По всей России единицы выбьются. Остальные задохнутся. Судите сами. У нас в районе – и в других районах, стало быть, тоже – всё было отлажено. Плохо ли, хорошо ли, но механизм действовал. Ремонт техники – централизованный. – Баев стал загигать пальцы. – Снабжение горючим и запчастями – тоже. Ну, там удобрения и прочая химия. А семена – вспомните: специальные совхозы нас снабжали классным да элитным посевным материалом. А частник где все это возьмёт? Сам покупать будет? На какие шиши?

Я начал мямлить про кредиты.

– Кредит возвращать надо. Да с какими процентами! Дальше смотрите. – Баев, собрав пальцы одной руки в кулак, переключился на другую. – Продукцию куда девать? Самому торговать недосуг. Перекупщик разорит.

– Государству продавать.

– Государство – самый злой перекупщик.

– Ну, ты даёшь! – взорвался я. – Мизинцем не пошевелил, на вкус, на ошупь не попробовал, а уже приговор вынес.

– Я мозгой пошевелил, – спокойно продолжал он спорить. – Вот, к примеру, заведу я стадо коров. Раньше проблемы не было. Искусст-

венное осеменение – и порядок. А теперь что – быков заводить? Это же назад, в пещерный век! А жатва приспел – что делать? Осилю я комбайн купить? Да и зачем мне такая роскошь – день работает, год без дела.

– Кооперируйся!

Баев засмеялся:

– Вот-вот, к тому и пришли, с чего начали. Кооперируйся! То есть в колхоз объединяйся. Тогда зачем же их разгонять? Может, починить да почистить? Уж больно мы ломать горазды!

Такой вот разговор у нас с Баевым был. Морозов, выслушав меня, ухмыльнулся:

– Говорил я тебе – схлестнёшься.

– Не хитри, Василий Михайлович! Не то ты имел в виду. Сознайся, небось наоборот думал.

И он сознался:

– Наоборот. Амбар-то, оказывается, незапертый.

Глава тринадцатая

В БОЙ ИДУТ РЕЗЕРВЫ

– Эй, газетчик! – окликнули меня, когда я проходил по селу.

Оглянулся. Над оградой сияло весёлое лицо Анны Ивановны Федякиной.

– Зайди, яблочком угошу! – пригласила она.

Зашёл.

– Видишь, сад у меня какой! – похвасталась Анна. – Одной-то не управиться. Детишки помогают... Самоотверженно.

Она засмеялась, открыто, добродушно, словно и не честила меня самыми последними словами за это самое “самоотверженно”. В её смехе не было и намёка на заискивание, попытку загладить ту неловкость. Она как бы говорила: хочешь обижайся, хочешь нет – а я такой человек. И я не обижаюсь. Я тоже по-доброму засмеялся, когда она сказала “самоотверженно”.

– Вот это яблочко покушай, – потчевала она.

Я надкусил краснобокое, крупное – с Пашкин кулак – чудо, такое

сочное, что оно мне лицо обрызгало, такое ароматное, что в носу засвербело, такое прохладное, что в пересохший от жары рот будто родниковой водицы плеснули.

– Что за сорт такой? – поразился я.

– Сорт-то? Очень хороший сорт.

Мы шли по её саду, не такому уж большому, как ей хотелось показать, и Анна Ивановна срывала мне едва не с каждого дерева по яблоку – для пробы. Второй и третий сорта отличались от первого тем, что были “тоже хорошим” и “ещё лучше”. Других названий Федякина не признавала. Да и в самом деле были яблоки “очень хорошие” и “ещё лучше”.

А потом мы присели с Анной Ивановной к столу под одной из этих яблонь. Я понимал, что не ради яблочка позвала меня Анна, что есть у неё сокровенный разговор. Пока мы ходили под деревьями и грызли яблоки, выбирая плоды посимпатичнее, поярче, я всё гадал, о чём будет этот разговор. О делах на ферме? Она бы не подъезжала издалека. О нехватке кормов, плохих выпасах и водопоях? Она бы высказала это – отнюдь не в деликатной форме – самому Морозову. О конфликтах с бригадиром и зоотехником, о спецодежде, которая состоит из непотребного вида халата и резиновых сапог сорок какого-то размера? И для этого она не стала бы звать меня к себе в сад.

Гадал я долго, но не угадал. Шаблонно мыслил сам, шаблонного повода и от Федякиной ждал.

– На дойку мне ещё не скоро. Давай чайком побалуемся. У меня мёд есть. Липовый, духовитый – страсть!

На чай я согласился, хоть и спешил. Ожидавшаяся беседа интриговала меня, будоражила воображение. Я терпеливо ждал, пока она раздувала прямо здесь, у дома, самовар, гремела чашками и блюдцами, наливала из трехлитровой банки в глубокую тарелку ещё не загустевший мёд. Ждал не столько чая, сколько излияний Анны Ивановны. И уже прикидывал, чем смогу помочь, нажимать ли на Морозова, писать ли в газету.

Анна Ивановна хлопотала у стола, рассказывала о том, о чём, вернее сказать, ни о чём. Всё это было разминкой перед серьёзным диалогом, к которому она готовилась сама и к которому подводила меня. Я думал, что беседа начнётся, когда мы наполним чашки, отхлебнём из них, когда я покрякаю и восторженно покручу головой, отведав мёда. А она, подбрасывая щепок в самовар, неожиданно спросила:

– Писать тяжело, мил человек, или как?

Я не счёл этот вопрос началом жданного разговора, отнеся его к категории прежних – ни о чём. А Анна Ивановна, вытерев руки полотенцем, подседа к столу напротив меня и продолжала:

– Что это за должность, что за работа такая – в газету писать? Дюже трудная?

Я недоумённо поглядел на неё. Мол, зачем тебе, Анна Ивановна, знать цену моему хлебу? Просто так, любопытства ради? И ответил, не очень раздумывая:

– Как вам сказать? Тяжело или нет – не оттого, кем работать, а как работать. Если самоотверженно, – я, улыбнувшись, нажал на это слово, – везде тяжело: и в газете, и на ферме.

Она тоже улыбнулась, а потом посерьёзнела:

– Иришка моя нынче школу кончила. Заладила одно: в журналисты – и больше никаких! А я сомневаюсь, сможет ли. Ведь не городская. Опять же, не бабье это дело – эдак по свету мотаться.

Вон в чём дело, оказывается. Ай да Иришка! Я стал рассказывать Федякиной, сколько женщин посвятило себя журналистике, что не это главное. Главное, есть ли у неё то, что Морозов назвал зёрнышком.

– Я тебе по секрету чего-то покажу, – почти шёпотом произнесла Анна Ивановна, хотя Иришки дома не было и слышать мать она не могла.

Анна Ивановна пошла в дом и вскоре вернулась с тетрадкой, обычной толстой тетрадью в лидериновом переплёте.

– Стишки сочиняет. Ты бы поглядел, – протянулв она мне тетрадку.

– А Ира не обидится, если узнает? – заколебался я.

– Дак для дела же. Есть у неё зёрнышко или зря она бумагу изводит?

Я прочитал наугад несколько стихотворений. Были они, как я и предполагал, неумелые подражательные, навеянные прочитанным, с примитивными глагольными рифмами. Но попадались строчки, которые цепляли внимание, в которых отразилось её собственное ощущение увиденного и немногого пережитого, в которых были попытки – и не такие уж беспомощные – образно мыслить и говорить. Словом она владела и, как мне показалось, сама боялась этого, стремясь писать не по-своему, не как Бог велел, а как в книжках написано, “как положено”. Есть у неё зёрнышко!

А ещё говорят, что интерес к поэзии падает. Я был свидетелем

встречи одного из наших местных стихотворцев с липовцамим и, не кривя душой, могу засвидетельствовать, что все – и пожилые, и молодые – слушали стихи не просто с интересом, а с полным и очень точным пониманием. Кое-кто из молодых тогда почитал и свои стихи, что само по себе уже отраднo. Жаль, что Иришка не решилась тогда. Скромница.

Не помешает ли ей застенчивость стать журналисткой? Ведь грамотно изложить свои мысли умеют многие, а исследовать и расследовать, проявить характер, настырность дано не каждому. И тут мне пришла в голову благая мысль. Поделившись ею с Анной Ивановной и заполучив её одобрение, я и реализовал свой замысел.

Сходив в правление по неотложным надобностям, я через пару часов завернул к Федякиным. Причём обставил свой приход так, будто до этого и не бывал здесь, сада не видел, яблоков не отведывал, о судьбе Иришки разговора с её матерью не вёл. Анна Ивановна встретила меня у палисадника.

– Анна Ивановна, – начал я разработанную нами операцию. – Ириша ваша дома?

– Дома, где ж ей быть. А на что она тебе? – искренне удивилась Федякина. – Какой такой у тебя к ней интерес?

– Дело важное, – озабоченно объяснил я, а увидев в окошке любопытную иришкину рожицу, ещё серьезней добавил: – Помощь её нужна.

– Проходи, коли так. Чего ж на улице стоять? – пригласила Анна Ивановна.

Но не успел я переступить порог дома Федякиных, как Иришка сама объявилась в дверях. Поздоровалась, порозовев от смущения, и повела меня не в дом, а всё в тот же сад, к тому самому столу, за которым мы недавно чаёвничали с Анной Ивановной. Яблоками она меня не потчевала, ей было не до этого, она всё ещё полыхала ярким пламенем от сознания того, что у взрослого человека, аж из газеты, к ней важное дело, и от нетерпения узнать, что это за дело.

– Дело такое, – не стал я долго мучить девушку, дразнить её любопытство. – Заданий у меня в вашем колхозе тьма, а времени в обрез, не успеваю. Нужен помощник. Резерв, так сказать. В правлении тебя назвали. Говорят: в стенную газету пишет. Пишешь?

– Пытаюсь, – улынулась она и, как мне показалось, уже не смущалась.

– Вот и хорошо! – обрадовался я. – Поможешь?

– Смогу ли? Это ж вон куда!

Она была уже серьёзна и спокойна. Я решил предложить ей самое простое: репортаж из пропастного звена Кустова.

– Не буду! – неожиданно твёрдо и категорично заявила Иришка.

Я опешил. Предполагал, что она станет робеть, отказываться из-за боязни, а тут было нечто совсем другое, совсем иной поворот, к которому я не был готов.

– Не буду! – повторила девушка. – Он плохой хозяин, ваш Кустов. Я его в стенгазете протянула.

“Вот это да! – подумалось мне. – Председатель хвалит, агроном не нарадуется, а тут какая-то пичуга, сморкуля, такой приговор выносит”.

– Вижу, не согласны, – заговорила Иришка, и я увидел перед собой не пичугу, не сморкулю, не школьницу, а толкового, неравнодушного, основательного человека. – Поглядите, сколько у него в звене техники, посчитайте отдачу. Во что его картошка обходится, знаете?

Честное слово, такого я не ожидал. Она же в корень глядит! Она же главное видит! – хотелось мне крикнуть. – Есть зёрнышко, да ещё какое! Но эмоций своих я не выдал, спросил как можно равнодушнее:

– Сама додумалась? Или надоумил кто?

– Так видно же! Он, как куркуль, всё к себе тянет. Я экономиста об этом спросила, и получается, что каждая третья машина у него лишняя.

– Кустову ты про это говорила?

– А как же! И напрямую, и через стенгазету.

– А он что?

– Смеётся. Иди, говорит, к нам учётчиком, вместе считать будем.

– Хорошо, – решил я, – будем считать вместе. Собирайся, пойдём к Кустову.

Идти нам не пришлось. Анфиса ехала в поле на лошадке и подвезла нас.

– Кое-кто говорит, – обратился я к Анфисе, – что куркуль ваш Кустов. Нужно не нужно – все машины себе гребёт.

Анфиса засмеялась:

– Неверная формулировка! Куркуль, то есть кулак, считать умеет. Он лишнего держать не будет. А Пашка набрал колёс – и доволен. А в какую копеечку его колёса влетают – ему и горя мало. Правильно Иришка его в стенгазете пропесочила.

Анфиса шевелила вожжами, изредка показывала лошади длинную хворостину, и ленивая закормленная кобыла усерднее махала хвостом, отгоняя мух, и чуть резвее бежала.

– На хозрасчёт его, вашего героя, – предложил я. – Враз считать научится.

– Хозрасчёт – хорошо. Будет у Кустова хозрасчёт. Только вы одного учесть не хотите, – возразила Анфиса. – У Пашки каждая машина – это он сам, каждая железка – кусок его самого. Без боли не оторвёшь.

– И надо сделать больно, – вмешалась Иришка. – Ему это на пользу пойдёт.

Анфиса ничего не ответила, лишь пожала плечами: мол, кто его знает, может, и так.

Приехали на поле. Анфиса, привязав к придорожному дереву лошадь, пошла по междурядьям, проверяя качество обработки картофельных посадок, а мы с Иринкой, дождавшись Кустова у края поля, заставили его остановить трактор и выйти к нам. Пашка с удовольствием потянулся всем своим большим телом. Видно, затекли руки-ноги, спина занемела за целый-то день. Пожав мне руку чумазой ладонищей, он с напускной серьёзностью, как обычно говорят с детьми, обратился к Иришке:

– Это кто же к нам пожаловал? Счетчица-учетчица? Разведчица-газетчица? Что считать будем? Про что сочинять станем? Про колёса, лемеха, предплужники, культиваторы? Или ещё про что?

– Я давно всё посчитала, – ответила Иришка, и я вновь поразился её – не по возрасту – рассудительности и строгости. – У тебя техники на полтора звена. Разве не так?

– Не-е! – засмеялся Пашка. – У меня всё при деле, всё работает. Эта вот штука – картошку окучивать, а эта – таких, как ты, красоток катать.

– Покататься можно, – всё так же строго, не настраиваясь на пашкин лад, говорил мой резерв. – А платить кто будет?

– Детей мы бесплатно катаем.

Мне стало неловко за пашкину бестактность, я хотел заступиться за Иришку, но она нашлась сама:

– Оскорбляют, когда нечего возразить.

Она повернулась к великану спиной, маленькая, щуплая, и не спеша пошла в другой конец поля, где хозяйкой вышагивала Фиска Красивая. Пашка поглядел девушке вслед, сдвинул кепку на самый лоб и крутнул головой:

– Чертовка! Доконает она меня. И откуда в ней такая настырность?

– А главное, в точку, – добавил я.

– Угу, – согласился Пашка. – Ты что ль её настропалил?

– Не поверишь, она меня.

– Иришка может, – поверил Кустов, – железная!

– Значит, доконает? – как подсказкой воспользовался я его словом. – Перейдёшь на хозрасчёт?

Пашка полез в карман, вытащил пачку бумаг, потёртых, замасленных, выбрал одну из них и протянул мне:

– Вот расчёт-пересчёт. Сам давно прикидываю, что оставить, что отдать. Как от живого отдираю.

– Куркуль! – не зло, почти в шутку бросил я.

Он понял, что в шутку, и объяснил:

– Не потому жалко, что жадный. А потому, что каждая машина через эти вот руки прошла, каждая как часы крутится. А теперь – в какие руки попадёт? Ну да ладно! Хозрасчёт так хозрасчёт... А Иришка какова, а? Во кадра растёт!

Хорошая кадра, согласился я про себя. Зря Анна Ивановна сомневается.

А Иришка, не слыша нас, ходила с Анфисой по междурядьям и о чём-то спорила с ней. Спорила горячо, убеждённо. Анфиса остановилась, выслушала Иринку, засмеялась и потрепала её по плечу.

– О чём спорили, если не секрет? – полюбопытствовал я, когда они подошли ко мне.

– Не секрет, – ответила Фиска Красивая. – Согласится Пашка расстаться с лишней техникой или нет?

– И конечно, Ира считает, что этот упрямый куркуль на уступки не пойдёт? – попытался я угадать.

– Конечно, не пойдёт! – загорячилась Иришка.

– Плохо ты его знаешь, – опять засмеялась Анфиса и точно так же, как прежде, потрепала девушку по плечу.

– Поживём – увидим, – решил я их примирить.

А Пашка разговора не слышал. Он уже сидел в кабине своего трактора, который шустро бежал по расчерченному картофельными бороздами полю.

Глава четырнадцатая

СНОХА

Время скакало резвым жеребёнком. Пересудов по поводу пашкиной женитьбы, как нетрудно догадаться, поначалу было великое множество. Кто осуждал Пашку, кто говорил: “Его дело”. Но все, почти все сочувствовали застенчивой, симпатичной горожанке, с простым на удивление именем Маша, которую он привёл в дом и которая, конечно, не подозревала о причинах, побудивших его на этот шаг. Девушка была тихой и ласковой и сразу полюбилась свекрови. Степанида Кустова, мудрая, тактичная женщина, зная, что говорливые бабы немедля просветят невестку насчёт Зиночки, сделала это сама, деликатно и осторожно. И у Маши хватило такта не скандалить из-за этого, с уважением отнестись к первой и, как говорят опытные люди, не проходящей любви. Что ж, думала Маша, он любит её, я буду любить его. Поглядим, чья возьмёт.

Но хоть и приняла Степанида меры предосторожности, уберечь невестку от бабьих языков ей не удалось. Как только появилось в семье Кустовых новое существо, неусыпными грозными бойницами нацелились на их дом окна Дашки Богатой и Клашки Горбатой. Не сговариваясь, повинувшись интуитивному побуждению, они прекратили боевые действия между собой и затаились, выжидая момента, чтобы наброситься на новую жертву. Не сладко придётся тому, кто попадёт под их перекрёстный огонь. А в тихой, скромной Маше они безошибочно учуяли подходящую мишень. То одна, то другая, то обе сразу, глядели они через дорогу, не появится ли на крыльце хрупкая, — совсем ещё девочка, горожанка.

Пассивное ожидание им, в общем-то, не по нутру, и, естественно, они делали попытки проникнуть на чужую суверенную территорию, но наткнулись на колючий взгляд Степаниды, перехватившей их ещё на подступах к сенцам и сурово ставшей на их пути со скрещенными на груди руками. Со Степанидой они бы, пожалуй, сладили, а вот Пашка... Пашки они побаивались.

Приходилось ждать и выслеживать. И конечно, эти ушлые бабы выследили бедолагу.

Пошла Маша на речку полоскать бельё. Не то чтобы такая уж ос-

трая нужда была или свекровь понуждала. Просто не умела она сидеть без дела. Выросшая в многодетной, знающей нужду семье, она любую домашнюю работу делала легко и просто. Правда, к особенностям сельского быта надо было ещё приноровляться. Непривычно без водопровода и стиральной машины, непривычно греть воду в чугунах, стирать в корыте, а полоскать в речке. Непривычно, но не страшно. Все так стирают, сможет и она. Да и хрупкая она только с виду. Руки у неё крепкие, умелые. На швейной фабрике, где она после школы успела поработать, хвалили её. Хорошей портнихой стала. Пашка сказал:

– Заставлю Морозова ателье открыть, будешь наших девок обшивать. Пускай как городские одеваются.

– Я же не закройщица, – засмушалась она.

– И я не трактористом родился, – возразил он. – Научишься, была б охота.

На том и порешили. Василий Михайлович пашкину идею одобрил, осталось подыскать помещение.

Итак, пошла Маша на речку. Она успела приглядеться, как и в чём ходят здешние женщины и девочки. На их манер повязала голову косынкой, тазик с бельём на правое бедро пристроила и вышла за порог.

Сразу не одни только Клашка с Дашкой, а все женщины, кто в ту пору был дома, приникли к окнам.

– Ишь как идёт-то! Будто пишет, – одобряли одни.

– Тошша, в чём только душа держится, – осуждали другие.

– Не гонористая, без форсу, – примечали одни.

– Не помощница Степаниде, – делали вывод другие.

– Пообыкнет, нашей станет, – надеялись одни.

– Сбегёт, – пророчили другие.

Маша шла себе по сельской улице и не догадывалась, сколько пар глаз глядят ей вслед и оценивают по своим меркам.

А Дашка и Клашка засуетились. Наскоро побросав в тазы кое-какие тряпицы, они заспешили к речке.

– Дашка, – удивлялись бабы, – у тебя же вчера стирка была.

– Дак, вишь, не управилась, – оправдывалась та.

– И Клашка не управилась, – ухмылялись соседки, видя семенящую следом за Дарьей согнутую фигуру. – Понятно.

А когда воительницы свернули в проулок и вдоль огородов стали спускаться к берегу, кто-то из женщин зашёл к Степаниде:

– Выручай сноху. Дашка с Клашкой к речке подались.

Маша весело сбегала к реке по утопанной, потрескавшейся от жары стёжке, мимо огороженных от скотины жердями, плетнями и проволочной сеткой картофельных и огуречных грядок. Она вышла к берегу, где тропка ныряла в поросший ивняком буерак и полого уходила к воде.

Маша взошла на мостки, тазик с постирушкой у ног поставила и залюбовалась дальними холмами и перелесками, крутыми берегами, тихими затонами, где в оконцах меж кувшинками плескалась рыба. Было тихое, тёплое сентябрьское предвечерье. На том берегу голенастые сосны тянулись к небу, норovia зацепить солнышко, а оно, будто не желая садиться, отталкивалось лучами от их макушек, глядело на всё вокруг озорно, задорно, на радость не желающим желать деревьям, кустам и травам, беспечным, неугомонным пичугам.

Долго глядела на всё это Маша, радовалась тишине и покою, переменам в своей судьбе, щурила глаза от солнечной дорожки на речной глади. Потом сбросила свои парусиновые босоножки, уселась на краю мостков, свесила ноги в парную воду и болтала ими беззаботно, по-детски. Стаи мальков прытко отпархивали от её ног.

Чуть в стороне, за кустами краснотала, не сразу замеченный Машей, расположился с удочками дед.

– Дедуля! – позвала Маша не очень громко. – Я не мешаю, рыбу не пугаю?

Тот махнул рукой: ничё! Видно, не очень клевало. Дед сидел недвижно, будто дремал. Дремали поплавки, жёлтые и белые кувшинки вокруг них. Дремала стрекоза, усевшаяся на удилище.

Маша обернулась и увидела, как, шумно переговариваясь, к воде скатываются две женщины. Она встала, одёрнула платье, и принялась полоскать бельё. У неё не очень получалось. Она с трудом дотягивалась до воды. Тогда Маша стала на колени, вода оказалась вроде бы поближе, зато ноги быстро устали.

А женщины, заметила Маша, делали не так. Они, подоткнув подола, забрели в воду, а тазы и постирушки разместили на мостках.

– Это чья же такая? – словно впервые увидев Машу, спросила Клашка Дашку. – Не Кустовых ли сноха?

– Сноха-сношенька, береги ноженьки! – с поговорицы, ласково начала Дарья. – Ты чего ж, милая, впустию полощешь? Какой прок? Ты вальком побей. Вот возьми мой.

– Да нет, я так, – засмушалась та.

– Городская, – принялась рассуждать Клашка. – К нашим удобствам непривычная. А может, брезгаешь?

Совсем залилась краской Маша, пожалела уж, что затеялась со стиркой. А Клавдия наседала:

– И Степанида хороша! Эдакую вот птаху охомутать. Нет чтоб самой... Небось, Зиночку бы не обратала.

Маша заспешила, замельтешила, забулькала бельишком по воде, чтоб скорей уйти. Да не очень-то уйдёшь. Дорогу отрезали Дашка с Клашкой. Всю ширину мостков занимали их тряпки, по которым они с ожесточением лупили вальками, и тазы.

– Кустовы, они такие, – поддержала Клашку Дашка. – У них без дела не посидишь! У них паши да паши... Зиночка не зря сбёгла. Чего на ихней каторге уродоваться?

– А ты вон какая былинка! От ветра переломишься, – вела свою песню Клашка – Им разве такую сноху надо? Им бы двужильную. Думаешь, чего Пашка без конца в город снаряжается? Зиночку вернуть хочет. Он зовёт – она артачится. Мол, батрачкой при Степаниде не желаю...

– Кабы не мальчонка, она б там осталась, – подхватила Дарья. – А так воротится, куда ей деться. Она Пашку не упустит.

Поглядела на жертву, убедилась, что попала в цель, и, чтобы доконать эту пигалицу, добавила:

– Да и сынишке батька нужен.

Сложив свои вещички в тазик и подхватив его на руки, Маша попыталась пройти – не получилось. Дашка и Клашка молотили вальками, взмахивая ими чуть не до самого неба.

– Ты, девка, послушай, что мы тебе скажем, – изображая сердобольность и кротость, молвила Дарья. – Пашка, он, конечно, парень ничего. Да только кулаки у него не для твоих ребрышков. А они у него, кулачищи-то, не привязанные. Кого хочешь спроси, любой скажет: чуть что не по нём – сразу в драку.

– Он меня любит, – растерянно пропищала Маша.

– Любит? – залилась смехом Клавдия. – Ой, не могу! Ой, помру! Любит!.. Да Пашка сроду никого, окромя себя, не любил. Уж на что Зиночка... Не тебе чета... И то...

– Ты, милая, может, и не знаешь, кто такая Зиночка и какая такая история промеж ей и Пашкой случилась, – напрямую повела рассказ Дашка Богатая.

– Знаю, – тихо сказала Маша. – Я всё знаю.

– Откуда тебе знать! – стала набирать обороты Клашка. – Разве ж Кустовы правду скажут? Ты послушай, что народ говорит.

Не пожелав слушать, что говорит народ, Маша спрыгнула в воду, охнула, окунувшись по пояс, и заспешила к берегу. Но не за тем сюда пришли Дашка и Клашка, чтоб так просто выпустить добычу. Клашка отложила валёк и обеими костлявыми ручищами вцепилась в Машин таз.

– Не гоже так, соседка, – зашла спереди и заблокировала Машу Дарья. Аль знать не хочешь, кому ты дорожку перешла? Не по-людски так-то. Не твой он!

Растерянная и побледневшая Маша ничего сказать не могла. Она судорожно дёргала из рук Клавдии свой таз и двумя ручьями роняла в речку слёзы. Вырвать таз ей не удалось, Клашка держалась цепко. Тогда Маша со всей силой и злостью пхнула посудину от себя, да так, что Клавдия потеряла равновесие и плюхнулась в воду, вереща на всю округу.

– Ты руки-то не распускай! – рявкнула Дарья и вцепилась Маше в платье.

– И ты тоже! – спокойно и твёрдо сказала подоспевшая свекровь. Она отцепила дашкины руки от платья невестки, обняла Машу за плечи и, подталкивая её к берегу, приговаривала:

– Пойдём, дочка, пойдём! Плюнь на них. Одно слово – Дашка с Клашкой.

Они вышли на песчаную отмель. Но прежде чем подняться по бугорчатому склону, Маша вдруг резко повернула назад, вошла в воду, подобрала тазик и все его содержимое, забрала свои босоножки, сухими глазами глянула на обидчиц и проговорила убеждённо и твёрдо:

– Мой он! И моим будет!

И вскоре краснотал скрыл Степаниду и Машу внутри буерака. Дашка с Клашкой на минуту опешили: у девки, оказывается, характер; она, оказывается, зубастая. Но лишь на краткий миг умолкли эти громкоговорители. Не успели их супротивницы подняться наверх, как вслед им понеслось:

– Погоди, возвернётся Зинопочка, она тебе косицы причешет! Ишь краля какая!

Это горланила Клашка. А Дашка добавляла:

– Отыграются тебе зиночкины слёзки! Попомни наше слово!

– Что, городским не нужна стала? Наших подбираешь?

– Разберётся Пашка, кого в дом привёл.

Свекровь и сноха поднимались в гору петляющей тропкой и не прислушивались к тому, что кричали внизу. А поднявшись к огородам, они вдруг услышали, что Дашка и Клашка не бранятся, а визжат благим матом. Оглянувшись, Маша увидела, как сплетниц гоняет по отмели и хлестает ореховым удилищем старик-рыболов.

– Так их, Аверьяныч, так! – крикнула Степанида.

Глава пятнадцатая

ВОТ ПРИЕДУТ СТУДЕНТЫ...

Уходило бабье лето. Сентябрь всё реже дарил тёплые дни. Летевшая над полями и перелесками и задиристо цеплявшаяся за всё и вся паутина теперь беспомощными клочьями висела на кустах, будильях чертополоха, по утрам покрываясь мелкой холодной росой.

Посохла картофельная ботва. Пашка понимал, что упускает время, что уже пора – пора! – копать картошку. Но традиционно считалось: своими силами не управиться. На нетерпеливые пашкины “Ну, когда же?” Василий Михайлович неизменно изрекал:

– Дождёмся студентов.

Кустов злился:

– Дождей дождёмся! И студенты не помогут.

Морозов раздражённо отмахивался:

– Где я тебе возьму людей? Коровники ремонтировать надо? Надо. Затянули – дальше некуда...

И Василий Михайлович начинал загибать пальцы, подсчитывая, куда ещё совершенно неотложно надо послать работников.

Пашка напорочил: заморосил дождь, тот нудный, мелкий, холодный дождь, который незаметно начинается середь ночи и неизвестно когда кончится. И словно ожидавшие этого сигнала, приехали студенты. Пашке бы облегчённо вздохнуть, а он сокрушённо глядел на небо. Впрочем, какое там небо! Над самыми макушками деревьев висело и клубилось что-то мутно-серое – тучи не тучи, туман не туман. Осклизлая земля назойливо липла к сапогам, тракторным шинам. Съжились от холода и понуро опустили порывевшие и начавшие

лысеть ветви поздние яблони, всё чаще сбрасывая в грязь и в пожухлую траву тяжёлые плоды.

В первый день студенты в поле не успели: поздно приехали, долго размещались в отведённом им клубе, долго спорили между собой и с Анфисой Батуриной, где, как, чем и в чём им работать, ещё дольше обедали.

– Ну, помощнички! – чертыхался Пашка, сознававший, что потраченный его звеном труд грозит остаться в земле.

С вечера он прошёл картофелекопалкой несколько борозд в надежде на то, что горожане назавтра пораньше начнут подбирать клубни. Но когда звено утром собралось в полном составе, студентов ещё не было: проспал шофёр, которому поручили их возить в поле и назад. Пашка то залезал в кабину трактора, то мерил саженными шагами кромку поля, то беспричинно орал на своих ребят.

Наконец, показалась машина, заверещали, спрыгивая на землю и гремя ведрами, парни и девчата.

– Веселей, хлопцы! – оживился Кустов. – Фронт работы готов.

Студенты быстро, без раскачки принялись за дело. Расторопно командовал их собственный бригадир. Пашка нырнул в кабину и прошёл ещё борозду, а на обратном пути стал приглядываться, как работают горожане. Долго глядеть не пришлось. Работали вроде бы шустро, но подбирали лишь то, что лежало сверху. А чуть присыпанные клубни так и оставались в земле.

Пашка остановил трактор, вылез из кабины и пошёл туда, где шумной стайкой рассыпались вдоль борозд молодые, симпатичные, весёлые помощники.

– Та-ак, – мрачно процедил он, сапогом колупнув несколько раз землю и выбросив наружу ядрёные картофелины. – А ну, хлопцы, давайте все сюда!

Когда студенты, недоумённо прекратив работу, собрались вокруг него, звеньево процитировал знаменитую чапаевскую формулу:

– Это как же понимать, товарищи бойцы? Половина, коли не больше, в земле остаётся.

– Её же не видно, – объяснила бойкая девица. – Она же в земле.

– А ты пальчиками, вот так, – показал Кустов. – Коготков жалко? Не бойсь, отрастут.

Ребята не были лодырями. Просто по-другому не умели. Подумаешь, казалось им, две-три картофелины в поле останутся – не велика беда! Но оставалось не две и не три.

– А что у тебя за машина, что картошку не выкапывает, а закапывает? – с издёвкой спросил здоровенный парень, откровенно играя бицепсами и столь же откровенно напрашиваясь на скандал.

Пашке очень хотелось посрамить этого наглеца и его культуристские мускулы, особенно перед девушками, но он сдерживал себя.

– Такая у меня машина, – спокойно отпарировал он, – какую мне вчерашние студенты, нынешние инженеры придумали. Ты, небось, тоже без пяти минут инженер? Вот и изобрети такую, чтоб вместо тебя работала. Чтоб не пуляла картошкой по сторонам и в землю не прятала, а аккуратно выкапывала, сортировала и паковала.

– Мы не по этому профилю, – стрельнула глазками всё та же бойкая.

– А раз не по этому, значит, один профиль остаётся – руками собирать.

– В приличных хозяйствах комбайны есть, – басил культурист.

– Приличные хозяйства есть. Приличных комбайнов нету, – не сдавался Пашка.

– А может, специалистов?

– Может, и так, – согласился Пашка. – Вон от стоит, на обочине, твой приличный агрегат. Садись, попробуй!

– Он не по этому профилю, – съязвил кто-то из студентов под смех остальных.

– Ты о своём профиле подумай, – обиделся атлет, – а то ненароком испорчу.

– Драться у нас не полагается, – миролюбиво остановил его звеньевой. – У нас полагается вкалывать.

– По такой погоде, в грязи! – загудели девушки.

– Как собирали, так и будем, – заявил тяжеловес.

Пашка стал терять терпение.

– Значит, так, – категорично произнёс он. – Вы же в свои деканаты-ректораты бумажку представить должны, что ударно копали картошку. Ударно не получается – и бумажка не получится.

Девчата загалдели пуше прежнего.

– Ты нас не пугай! – надвинулся на Кустова силач. – Пугать мы сами можем.

– А работать? – насмешливо спросил Кустов. Он пригляделся к мощной фигуре, озорно улыбнулся, выдохнул “Э-эх!”, легко приподнял парня и переставил его в поблескивающую жирной влагой свежую борозду. – Здесь твой профиль.

И провожаемый восхищёнными взглядами девушек, Пашка зашагал к трактору. Студент кинулся следом и, догнав Пашку, замахнулся. Но Кустов перехватил его руку, резко вывернул её, так что пареньё вскрикнул.

– Не озоруй! – всё так же невозмутимо сказал Пашка и подтолкнул силача в сторону его друзей. – Там твоя сила нужна.

– Ладно, – злобно прорычал богатырь, – мы ещё поговорим.

– Можно, – снова согласился Пашка и мрачно предостерег: – Но не советую.

Обозлённый пареньё, больше не сказав никому ни слова, зашагал к дороге. Девчата бросили ему вслед несколько язвительных реплик. Атлет зашагал быстрее, поскользнулся и едва не упал, вызвав общий хохот. Схватив картофелину, он запустил её в своих товарищей. Ответом ему был свист и улюлюканье.

Студенты стали подбирать клубни аккуратнее. И всё равно Пашка понимал, что в земле остаётся до трети урожая. И перепашка не намного поправит дело.

– Анфиса, давай посчитаем, – рассуждал он, когда Фиска Красивая завернула свою лошадку на его плантацию. – Какая у нас урожайность получается? Неважнецкая. Предлагаю: забирайте у меня этих культуристов, я сам скликаю людей, обеспечим полуторный по сравнению с этим сбор картошки, а что сверх того – люди берут себе. Идёт?

Анфиса задумалась. Простая логика, крестьянская сметка подсказывали ей: Пашка прав. И всё же что-то настораживало её.

– Не слишком жирно будет? – засомневалась она.

– Пожалела? А вдвое больше теряем – не жалко?

– Что экономисты скажут? – продолжала колебаться агроном.

Кустов досадливо махнул рукой и хотел было идти к трактору, но увидел председательский уазик.

– Спросим Морозова, – решила Анфиса.

Василий Михайлович был возбуждён. Он ещё издали размахивал руками и призывал всяческие кары на голову Пашки.

– Снова за старое? – рывкнул он, подойдя к Кустову.

Недоумённо глядела Анфиса, не понимая, о чём речь. Недоумевал и Пашка, уже забывший про конфликт с атлетом.

– Имей в виду, – продолжал шуметь Морозов, – я твои фокусы терпеть не намерен.

– Это ты про того бугая, что ли? – догадался Пашка. – Неужто жаловался? А с виду такой большой.

– Люди помогать тебе приехали, а ты... – гремел председатель.

Подошли привлечённые шумом студенты. Бойкая девица заступилась за Пашку:

– Что вы, товарищ председатель! Ваш звеньевой его не обижал. Он его даже на руках носил.

Студенты засмеялись.

– А чего же он сбежал? – смягчился Василий Михайлович, видя, что на Пашку никто не в претензии.

– Работать не хочет, – ответили ему.

– Ой, Кустов! Хватанёт меня кондрашка из-за тебя! Что ни день, то новость. Что-нибудь да отмочишь! – ворчал председатель.

– Давай вместе что-нибудь отмочим!

– Не до твоих шуток.

– У меня не шутейное предложение.

И Пашка изложил свою концепцию.

– А что экономисты скажут? Как они по бумагам всё это проведут? – повторил Морозов своего агронома.

Опять бумаги. Когда же они перестанут нами править? Когда же мы, наконец, для людей дело будем делать, а не для отчетов? Когда судить друг о друге научимся по реальному результату, а не по бумажному благополучию?

– Ну и копайся в своих бумагах! – психанул Пашка.

– Шут с тобой! Согласен, – остановил его Морозов.

Глава шестнадцатая

“КОГДА ЭТО КОНЧИТСЯ?”

Нет, с Кустовым не соскучишься! Вроде специально он ничего не придумывает, нормально живёт и дело делает, а всё у него наперекоса выходит, всё какие-то истории с ним приключаются.

– Что за шум? – недовольно спросил Алексей Борисович Локотков и выглянул в окно.. Выглянул и возмутился. Посреди площади, прямо перед его окнами стоял трактор с прицепом, нагруженным картошкой. В прицепе стоял здоровенный парень и, накрыв голову от дождя своим промасленным ватником, орал на всю округу:

– Продаётся картошка! Кому картошки? Цена пустяшная, а качество наоборот. Подходи со своими мешками!

Не успел парень затарить и одного мешка, как был блокирован усиленным нарядом милиции в количестве двух сержантов...

“И когда это кончится?” – с тоской думал Морозов, погоняя уазик, доставлявший его в район.

– Ваш человек, – сказала ему телефонная трубка, – опять учинил в райцентре дебош, оскорблял районное руководство, выражался, разбазаривал общественную собственность, оказал сопротивление.

“Опять учинил...” Это напоминание о предыдущем скандале.

Ездил звеньевой в райцентр по хозяйственным делам, зашёл в столовую пообедать. Дали ему винегрета, ковырнул он его вилкой раз-другой и есть не стал: кубик свеклы да кусок капустной кочерыжки. Конечно, Пашка не смолчал, своё мнение о кулинарных способностях работников общепита высказал.

– Ваши яства лошадь есть не станет, – кивнул он на стоявшую во дворе, запряжённую в телегу понурую кобылу.

– Проголодается – съест, – отпарировала массивная повариха и ухмыльнулась, явно с намёком недовольному: дескать, не голодный, вот и привередничаешь.

Пашка осерчал. Недолго думая и в дельнейшую полемику не ввязываясь, он зашёл на кухню, схватил трехведёрную кастрюлю с винегретом, вынес её во двор и пододвинул лошади. Та сунула морду в кастрюлю, фыркнула, так что содержимое фонтаном полетело наружу, извлекла ставшую бордовой голову из ёмкости и помотала ею.

– Вот, видали? – восторжествовал Пашка. – Не хочет.

Оцепеневшие было служители пищеблока дружно возопили и кинулись звонить в милицию. А Пашка пошёл в кассу и оплатил весь винегрет. Так что явившийся страж порядка не знал, как поступить. С одной стороны, нарушение налицо: лошади – винегрет. А с другой, – человек оплатил этот винегрет и, значит, волен делать с ним что хочет.

– А клиентов чем кормить? – неслоь с кухни.

– Непорядок, – соглашался милиционер.

– Не кормить, а травить, – возражал Кустов. – Найдёте чем. У вас всё такое же.

– Непорядок, – опять признавал милиционер.

Признавать-то признавал, а протокол составил и нарушителя в отделение привёл. Подержали его там и отпустили, но сообщение “по месту работы” полетело, и штраф выплатить пришлось.

И вот новый инцидент. “Ваш человек опять...” И Василий Михайлович ехал выручать “своего человека”, которого он послал сдать в заготконтору картошку и который вместо заготконторы оказался в милиции.

“Когда это кончится?”

Что Морозов имел в виду? Пашкины выходы? Затянувшиеся дожди? Неубранные поля? Вечную перестройку? Или, может, звонки из района: “Это в землю, то не сей; это делай, то не смей!”? Кто знает.

Морозов застал оплот районного правопорядка в полном смятении, а его начальника майора Дягилева (он лично занимался Пашкой!) в поту.

– Протокол не подписывает, – промокая багровую лысину рукавом кителя, пожаловался он Морозову.

– И не подпишу, – спокойно сказал Кустов. – Во-первых, требую...

– Он требует! Видал? – свирепо ухмыльнулся Дягилев.

– Во-первых, требую, – невозмутимо повторил Пашка, – приложить к протоколу вещественное доказательство – прицеп картошки. Во-вторых, в протоколе написана неправда.

– Как это неправда!? – вскинулся майор.

– Не дури, Павел! – устало сказал Василий Михайлович. – Дебоширил?

– Ещё как! – вскочил Дягилев.

– Ничего подобного, – возразил Пашка.

– Как это “ничего подобного”!? – кипятился майор. – А кто нарушал путём распродажи?

– Так и пишете в протоколе: пытался продать трудящимся районного центра колхозный картофель. Причём, не забудьте отметить, по доступной цене.

– А это и есть нарушение общественного порядка... Ты знаешь, – обратился майор к Морозову, – как его деяние расценил Алексей Борисович? Как политическую демонстрацию. Понимаешь? Политическую!

Милицейский перст высоко взнялся над лысиной.

– Так и есть, – согласился Пашка. – Дело тут политическое. Я картошку своими руками, вот этими, холил. Для себя? Не, у меня своя есть. Привёз вам. Nate, берите, ешьте на здоровье! Не берут. Десять раз под дождём весь райцентр вдоль и поперёк прочесал. Не берут: некуда, хранилищ не хватает. Я к властям – не пускают. Что я

мокрый до нитки – ладно, не растаю. А в прицепе у меня что? Воды больше чем картошки. Куда мне её деть, картошку эту? В бусрак вывалить? А на кой хрен я всё лето вламывал?

– Не выражайся! – стукнул кулаком по столу Дягилев. – Вот слышишь, Морозов? Он и в приёмной у самого так же. Оскорблял руководство. Выражался...

– Какими словами? – спросил Морозов.

– Какими? Сейчас поглядим... Вот в протоколе сказано: “Вёл себя вызывающе, цитировал Маркса”.

– Правильно, цитировал, – согласился Пашка. – Что плохого? Я ж не где-нибудь, а...

– А то плохого, что руководство оскорбил.

– Как так? Марксом? – изобразил Кустов детскую наивность.

– Ты дурачка из меня не делай! – окрысился майор. – Противопоставлял. Компрометировал.

– А пусть бюрократию не разводят. Я ж цитировать стал когда? После третьей попытки прорвать их оборону. А там такая сидит... Не пускает – и всё.

– Не смей оскорблять женщину! – гаркнул Дягилев. – Она при исполнении... Вот гляди, Морозов, любуйся на свои кадры. Ведь до чего дошёл – оказал сопротивление.

– Товарищ майор, если б я “оказывал”, вы бы сейчас своих сержантов в кювете по частям собирали. Я только сказал: “Стойте, ребята! У меня же картошку растащат. Давайте вместе с прицепом”. Ну, поторговались маленько.

– На чем сошлись? – полюбопытствовал Морозов.

– Видишь, без рукава остался, – пожаловался Пашка. И Дягилеву: – Кстати, отметьте это в протоколе.

– А зачем сопротивлялся? – огрызнулся майор.

– Ничего не сопротивлялся. Просто стоял. Поставили дружинника у прицепа – на том и сошлись.

– Ладно, Дягилев, – примирительно сказал председатель. – Вы тут остыньте оба, а я к начальству схожу.

Вскоре он сидел в кабинете Локоткова и получал выволочку:

– Распустил, понимаешь, кадры! Сам анархист, и люди такие!

А получив, сокрушённо вздохнул:

– Когда это кончится?

– Пусть никогда не кончается! – неожиданно ответил Алексей Борисович. – Если кончится, труба дело, мы с тобой кончимся... Значит,

Кустов? То-то я смотрю, вроде знакомый парень. Это же он тогда на семинаре выступал?.. Да твоему Кустову цены нет!

Он захохотад басовито, заразительно, так что улыбнулся и мрачный Морозов.

– Надо же! – рокотал Локотков. – Под моими окнами!.. А что ему бвло делать?

– Политическая демонстрация, – решил съязвить Василий Михайлович.

– Точно! – согласился хозяин кабинета. – Ещё какая! Чётко продуманная и хорошо организованная. А главное – результативная, Я заготовителям таких чертей вломил, что через полчаса у меня на столе лежала накладная на твою картошку. Вот, возьми!

Он остановился у окна, поглядел на унылые ручки, бегущие по стёклам, и опять захохотал:

– Маркса цитировал! Ну, силён!

– И всё-таки, – с горечью спросил председатель. – Когда мы перестанем зависеть от каждой таракашки-букашки? Не с той ноги встала приёмщица – кричи караул, миллионные убытки! Я эту картошку из грязи достаю... Каторжно...

– И когда это кончится? – передразнил его Локотков.

– И когда это кончится? – всерьёз спросил Морозов.

Глава семнадцатая

“ВСЁ!” – СКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

– Проснись, рабочийчек! Проснись! – толкал и тряс Морозов бригадира Федота Замашкина. Участковый помогал ему. Федот открывал глаза и опять закатывал их под лоб, приподнимал голову и тут же ронял её на подушку.

Поняв, что легче мёртвого поднять, чем пьяного Замашкина, Василий Михайлович с досадой плюнул и изрёк:

– Всё!

Это означало, что терпение его лопнуло, что Замашкин больше не бригадир, что за украденное у колхоза и пропитое сено ответ ему придётся держать перед судом.

Дело было вчера. Ближе к ночи, когда основательно стемнело, по заснеженной сельской улице к дому Дашки Богатой, крадучись, почти беззвучно подъехали сани, груженные сеном. Короткие переговоры с хозяйкой на крыльце – и открылись ворота. Сани въехали во двор. Возница, ведя лошадь под уздцы, умело опрокинул воз. И пяти минут не прошло, как Дашка стала обладательницей стожка отличного сена.

Может, всё обошлось бы без шума, как не раз обходилось, да только заговорщики допустили тактический просчёт: забыли про Клашку. Предложи они сена и ей – всё было бы шито-крыто. Но подвела Дашкина жадность и беспечность пьяницы-бригадира.

Как ни таились Дашка и Замашкин, скрип вползающих во двор саней и открываемых ворот, фыркание лошади, приглушённые голоса – всё это насторожило Клашку. Выходить во двор она не стала, а наблюдала через шёлку в сенцах. Она, конечно, узнала Федота, видела, как Дашка вынесла ему из дома две бутылки. “У Макарки с Лизаветой куплено”, – безошибочно определила она происхождение спиртного.

Выпроводив бригадира, Дарья вооружилась вилами и стала споро убирать сено под навес. А Клавдия тем временем по-быстрому оделась и заковыляла к председателю дому, оглядываясь, не следят ли за ней.

– Вот ты, председатель, всё меня коришь, – начала она, войдя в дом Морозова. – А за что? Али хуже других работаю? Взяла когда-нибудь хоть щепотку колхозного?

– Ближе к делу! – перебил её Василий Михайлович. – Ночь на дворе, полседа спит уже.

– Кто спит, а кто и нет, – многозначительно намекнула Клавдия.

– Вижу, ты не спишь, новости разносишь.

– А ты, куда спишь, весь колхоз проспичь. Вот!

– Выкладывай, выкладывай, кого ты усекла и на каком рубеже.

– Дело, конечно, не моё. Может, это с согласия начальства. Известно, богатому всё в руки плывёт. А только ежели ты это дело так оставишь, я куда надо сообщу... Думают, ежели ночью, так их никто не видит.

– Значит, Дарья, – догадался Морозов. – И что она умыкнула?

– А ты поди да погляди! Полюбуйся, какого сенца ей твой любимец-бригадир, пьянчуга проклятый, привёз. Это ж за какие такие заслуги? Одни всю жизнь уродуются, отдыху не знаючи, а другие...

– Всё, понял, – попытался остановить её председатель. – Разберусь.

– Вечно так: один тянет воз в колхоз, а другой себе под нос... А сено-то!.. Ты бы поглядел! Былинка к былинке, цветочек к цветочку.

Это уже клавкина зависть дорисовала картину. Вряд ли в темноте, да ещё со своего подворья могла она разглядеть, каким кормом одарил Замашкин дарьину скотину.

– Всё! – Василий Михайлович хлопнул ладонью по столу. – Сказал, разберусь...

Клашка ушла, нехотя, бурча на начальство, которое завсегда жуликов покрывает, и грозя обратиться к начальству повыше.

– Та-а-ак, – зловеще процедил Василий Михайлович, проводив взглядом неурочную гостью. – Посидим-помолчим-покурим.

Сидел он секунду, не больше. Вскочил, покрутил телефон, крикнул в трубку:

– Анфиса, собирайся! Срочное дело. Я сейчас за тобой зайду.

Когда председатель и главный агроном явились к Дашке Богатой, та уже подгребала остатки сена.

– Купленное, не краденое, – заверещала Дарья, заслоня Фиске Красивой доступ под навес.

– За две бутылки самогона? – уточнил Морозов.

– Сроду у нас его не было, самогону. Не занимаемся, – храбрилась Дашка, хотя скрыть испуга не могла.

– Кто занимается, известно. За это с кого надо спросится, – пообещала Батурина. – А с тебя вот за это спрос.

– С заливного луга сено? – спросил Василий Михайлович агронома, растирая в ладонях ароматный клочок.

Та молча кивнула.

– Всё! – рявкнул Морозов. – Утром вызываем участкового, оформим протокол.

– Почём мне знать, откуда оно, сено-то! – перешла в контратаку Дашка. – Мне предложили – я взяла. На нём не написано, краденое оно или нет.

– Кто предложил? – спросил председатель, сохраняя внешнее спокойствие, но играя желваками и раздувая ноздри.

– Я у него паспорт не спрашивала, – огрызнулась Дарья.

– Зачем тебе паспорт? Что ж ты своего бригадира в лицо не знаешь? – съязвила Анфиса.

– А-а-а! – заорала Дарья. – Это Клашка, паскуда, донесла! Я ей сейчас стёкла побью!

– Сама ты!.. – зарокотала Клашка, до этих пор тихонько подглядыва-

вавшая и подслушивавшая. – Дохалась! Попалась! Сколь верёвочка ни вейся... Воровка!

– Пусть разомнутся маленько, – покидая вместе с Анфисой Дарьино подворье, сказал Морозов. Они знали, что перепалка будет долгой и ожесточённой, что терять время на примирение Дашки и Клашки не стоит. Это мог сделать лишь Пашка Кустов. Кстати, услышав гвалт на противоположной стороне улицы и различив в нём голоса председателя и главного агронома, Кустов накинул на плечи кожаную сумку и вышел на улицу.

– Что за шум, а драки нет? – произнёс он традиционное присловье.

– Драка будет завтра, – хмуро пообещал председатель, имея в виду, что не оставит в покое ни Замашкина, ни Дашку, ни самогонщиков. Он рассказал Кустову “сенную” историю.

– Сам виноват! – упрекнул его Пашка. – Сколько раз я предлагал: давай свезём сено на фермы, уберём на чердаки, пока навесы строятся.

– Думаешь, с чердака не украдут? Опять же, пожарная инспекция... – упрямылся Морозов. Всё время упрямылся. Вот и доупрямылся.

Утром чуть свет примчался на мотоцикле в закуржавленном от мороза чёрном полушубке участковый, извещённый Морозовым ночью по телефону. Вместе с председателем они зашли к Федоту, вместе пытались вывести его из пьяного сна.

– Проснись, работничек! Проснись! – тормозил и тряс бригадира Василий Михайлович.

– Вставай, твоё благородие, карета подана! – острил участковый, помогая председателю поднять Замашкина. Но тот лишь мычал, закрывал глаза, а в себя не приходил.

– Пустой номер, – утерев пот, капитулировал участковый.

Они поехали к Дашке.

– Ну, что, Дарья, – мирно спросил председатель, – сама отвезёшь краденое или людей вызывать?

– Тебе надо – ты и вези, – зло буркнула Дашка. Голос у неё сел после ночной потасовки с Клашкой, а лицо опухло от пролитых слёз. Она и сейчас не отнимала платка от глаз, причитала и охала, жалуясь на свою долю и на человеческую несправедливость.

– Будь по-твоему, – согласился председатель. – Сами погрузим. Через всё село повезём. Пусть все видят!

– Вскоре подъехал Кустов на тракторе с прицепом. Он прихватил с собой двух ребят из своего звена.

– Тётка Дарья! – озорно крикнул один из них. – Погрузку оплачивать как будешь? Наличными или через Макара?

Все засмеялись, кроме Дарьи, естественно. Даже хмурый председатель улыбнулся.

Участковый, Морозов и подошедшая Анфиса зашли вместе с Дашкой в её дом, чтобы подписать протокол. А Пашка и приехавшие с ним парни лихо заработали вилами, перебрасывая сено из-под навеса во двор, со двора в прицеп. За происходящим злорадно наблюдала из своего укрытия Клашка Горбатая.

Вскоре председатель и агроном вышли на крыльцо, и Морозов сказал:

– Надо бригадное собрание провести. Выберем нового бригадира.

– Кого? – спросила Батурина.

Председатель движением головы указал на орудовавшего вилами Кустова. Анфиса согласно кивнула.

– Василий Михайлович! – крикнул Пашка, закончив погрузку. – Мы поехали. Значит, как договорились, обратно в пойму?

Спросил и ехидно поглядел на председателя. Тому эти шпильки были явно не по нутру. В шутку обратить их он не был расположен, потому и закипятился:

– На ферму вези! На чердаки! Сколько можно говорить!

Повернулся, чтобы уйти, но, чувствуя на себе насмешливый взгляд Кустова, окончатекльно рассердился:

– Сдай заведующему фермой под расписку, как полагается! Работнички!

И не оглядываясь, зашагал в сторону правления.

– Ну-ну, – ухмыльнулся Кустов. – На ферму так на ферму.

Глава восемнадцатая

ФЕДЯХИНА БОРОЗДА

Прилепилась к Фёдору Белоусову обидная кличка – Мукосей. В глаза, само собой, не каждый рисковал такое слово произнести (был Федяха, хоть и хлипок, но задирист), а за глаза говорили. И качали головами:

– И смех, и грех!

И вправду, то, что с ним приключилось, было и смешно, и грешно. Работал Фёдор в пашкином звене и после той шумной истории с бутылкой работал справно. Пашка стал сдержанней, и вся его команда тоже: подтянулась, повзрослела. И Федяха, конечно. Но, занозистый, упрямый, он не хотел меняться в том, что касалось Зиночки и Нины. Не мог он Пашке простить изломанной сестриной судьбы и, как выпьет, принародно грозитя Пашке врезать. До Пашки эти разговоры доходили, но он лишь смеялся: Федяха против него щенок. И всё-таки пришло время когда Фёдор сунулся к Пашке со своей угрозой. Но об этом потом. А пока про Нину.

Всё село знало, что Нина сохнет по Федяхе Белоусову. Задурил девке голову, а теперь нос воротит. Нина с ним и так, и этак, и похорошему, и с припугом. А он ни в какую.

Много слёз пролила Нинка из-за этого непутёвого. И подружки ей без конца шепотком доносят: то с одной его видят, то с другой. На селе так уж водится, что о любом событии известно по меньшей мере за сутки до того, как оно случится, о любом поступке знают прежде, чем человек надумает его совершить. Пригасли сплетни про Пашку с Зиночкой, занялись про Федяху с Ниной.

– Где баба – там базар, где пять – там ярманка, – говаривал Аверьяныч.

И впрямь, как на ярмарке, шумно бывало, когда выносили случайно встретившиеся кумушки (а случаи такие теперь почему-то выпадали всё чаще) на свою повестку дня животрепещущий вопрос.

Устала Нина от этих пересудов, осердилась на всё вокруг и отчаялась на нелепый шаг, на смешной, жалкий поступок.

Ранней весной приехали шефы из области. С ремонтом техники помогали, на ферме копошились. И засмотрелся на Нину инженер, молодой да ладный. Такой весь из себя заметный, что девчата сразу, как только увидели его, зашушукались. Он засмотрелся на Нину, и она благосклонно ему улыбнулась. Расчёт был прост: она знала, что Фёдору про это немедленно доложат. “Пускай позлится”, – думала она.

Ему доложили, конечно. А он лишь ухмыльнулся и злиться не стал. Нина прошлась с инженером по селу – Фёдор и ухом не повёл. Тогда Нина, встретив инженера поутру, повела его за околицу, к полю, к тому самому, на котором работало пашкино звено, подкармливало озимые и где – Нина это знала – был и Фёдор.

Кабы ведать, что случится позже, – разве решилась бы она на это? Могла ли она думать, что где-то тут, совсем рядом, под добрым и щедрым пластом земли затаилась беда. Что опалит её эта беда, и будет болеть в ней та опалина всю жизнь.

Нина вела инженера, не спеша, вглядываясь туда, где рокотали трактора. Вроде ничего не изменилось вокруг. Заспанное солнце, не так давно выкатившееся из-за косогора, вяло протирало глаза, похрустывал тоненький ледок под каблуками. Удивляясь непривычному безветрию, тянулись вверх печные дымы.

И всё-таки что-то переменялось. словно перед грозой, всё напрягло и затаилось.

Двое шли, будто никого не видели. Он что-то рассказывал (умел, стервец!), а она хохотала с подвизгиваньем, намеренно громко и всё поглядывала исподтишка: как там Федя? Никто, поначалу казалось, не обращал на них внимания. Всё так же ровно и спокойно гудели трактора, оставляя за собой белый пышный хвост рассеиваемых удобрений. Но вот один из них остановился. Нина это увидела. Не увидела даже и не догадалась по изменившемуся звуку мотора, а почувствовала. Ей очень хотелось оглянуться и убедиться, что это именно Фёдор остановился, но она пересилила себя.

“Ага, клюнул!” – удовлетворённо подумала она и будто незаметно, невзначай свернула с бульжного просёлка в подлесок. Оттуда, от тракторов, было видно, как удалялась парочка по песчаной тропке, как скрывают её от посторонних глаз приземистые кустики и дерева.

Как повёл себя Федяха? Деланное его равнодушие рассыпалось, как удобрение, которое он распылял по мартовскому морозцу. Он развернул свой трактор в ту сторону, куда Нина повела кавалера. Федяха очень спешил и наверно поэтому не сразу их увидел. Проехал по тропке – не видать. Обрато по тому же маршруту пробежался, поглазастее приглядываясь. Сосняк мохнатыми лапами утирал трактору нос, обметал пыль с кабины, цеплялся за разбрасыватель. Хрустко лопались под шинами вымерзшие до дна лужицы.

“Где же они? – всматривался Фёдор. – Ага, вон где разместились, славную берёзку облюбовали”.

Видно, характер рассказа городского ухажёра изменился; наверно, он перешёл на лирический лад – нининогo визгливогo смешка не было слышно. А может, не было слышно из-за заполошно голосившего мотора? Нет, она подпирала спиной белый ствол и в самом деле не смеялась.

“Вот вы где”, – ещё раз сказал про себя Фёдор, сказал злорадно, торжествующе. Он придержал расфыркавшийся трактор, прочёл недоумение в глазах инженера (“Трактор в лесу?”), смятение в нининном взоре (“Что этот сумасшедший удумал?”).

А удумал он вещь простую. Да и не удумал вовсе. Думать времени не было. Если б подумал, он бы себя, может быть, остановил. Она, эта вещь, как бы сама собой сделалась. Он включил агрегат, проехал мимо парочки, не торопясь, и опудрил фосфоритной мукой кустики, деревца и, разумеется, распустившего павлиний хвост чужака с его голубкой. Опудрил основательно, добротнo. Да ещё приговаривал при этом:

– Растите, детки, большие и умные. Взрослых слушайтесь! По кустикам не ховайтесь!

А увидев итог своего усердия, осклабился:

– Какие вы беленькие, ну прямо ангелочки! Женишок с невестушкой! Хоть сейчас под венец.

Понятно, что когда побелённая парочка вернулась в село, смеху было – не передать. Инженер в тот же день исчез из колхоза. В милицию? Нет, срамотно.

– В химчистку, – ржали парни.

Нина пролила дополнительную дозу слёз. А над Федяхой стугнулись тучи. Анфиса Батурина напустилась на Фёдора, совестя его и укоряя. А он спокойно изрёк:

– Пусть спасибо скажут, что мы не навоз разбрасывали.

– Мукосей! – распалившись, бросила Фиска Красивая, не предполагая, что в сердцах обронённое ею слово сходу припечатается к Фёдору. Она доложила о происшествии председателю. Хотели выгнать Белоусова из звена, да Пашка вступился. Обошлось потерей премии. Парни успокаивали Фёдора:

– Подумаешь, сотни-другой недосчитаешься.

И хохотали:

– Тот, небось, и за тыщу не отчистится.

Белоусов, конечно, из-за потерянных денег не очень огорчился. Больше страдал из-за противной клички. На селе, как только видели его, прыскали:

– Мукосей!

И качали головами:

– И смех, и грех...

Но недолго носил Фёдор этот обидный ярлык. Всего-то две неде-

ли. Через две недели уже никто не скажет “И смех, и грех”. Но никто ещё не знает, что произойдёт через две недели.

— А пока огорчённый Федяха ходит Мукосеем. Видно, от этих огорчений он в очередной раз напился и полез на рожон. Нашёл Пашку и выдал, еле ворочая языком:

— Как хошь, Паша, а я должен тебя побить.

Пашка несердито отшутился:

— Как пьян — так и атаман, а проспится — курицы боится.

— Не, Паш, ты зря! Ты мою сестру обидел? Обидел. Я ей брат или не брат? Брат. Кто же за неё заступится, если не брат?

Пашка хлопнул его по плечу. Фёдор осел на землю, просхав спиной по дереву, под которым стоял и на которое опирался. Кустов собрался было уйти, но вернулся к вытаращившему на него глаза Федяхе:

— А меня бить?.. Меня бить надо...

— Паш, — крикнул ему вдогонку Фёдор. — А я женюсь. На Нинке. Но не женился Фёдор, не успел.

Не ревнуй его, Нина! Не брани своего зазнобушку, что так жадно припал он к земле, что в жаркой истоме обнимает её, а не тебя, что от неё, а не от твоих плеч не оторвать его руки. Видишь, он лежит, будто спит, недвижимый, успокоенный. Лежит, и никакого дела ему нет до того, как тепло, взаправду весенне греет солнце, как крохотным вертолётчиком висит над ним жаворонок, заливая округу полными восторга и любви песнями. Зачем ты так пронзительно, так горько глядишь на него сквозь дождевую пелену слёз, зачем хрипло выкрикиваешь его имя и тискаешь у подбородка затёкшие от напряжения кулачки? Он не видит этого и не слышит. Не видит, сколько народу набежало к этому полю, где суждено ему было прочертить последнюю в своей жизни борозду. Не слышит, как дивятся люди тому, что трактор его, завалившийся на бок, с помятой кабиной, вот здесь, а сам он в двадцати шагах в стороне.

И невозможно было постичь: как же так, почему, по какому такому предназначению на этом поле, изъезженном и испаханном вдоль и поперёк, разбудил Федяхин плуг полвека с лишним дремавшую смерть?

Было что-то неодолимо жуткое в том, как, опустив головы, стояли люди вокруг. Стояли и молчали, словно не в силах противиться чему-то сверхъестественному, неподвластному им, способному вот так просто, будто по капризу, взять из жизни любого из них. До каких

же пор это страшное, ненасытное, казалось бы, давно умершее, а на самом деле живучее чудовище – война будет убивать нас?

Этот вопрос стоял в горьких глазах людей. Его исторгала глубоко раненая земля. Он словно исходил от липового взгорка со скромным обелиском.

И умолк, объятый общей скорбью, жаворонок.

Глава девятнадцатая

БЕДА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Правду говорят, что беда не ходит одна. Долгие месяцы в растерянности и смятении была Зиночка, осваиваясь на новом, непривычном для неё – и в профессиональном, и в простом житейском смысле – месте. Только начала нащупывать свою певческую стёжку – тяжело захворал мальчонка. Едва выходила сына и отправила его с матерью в Липовку – страшная весть оттуда. Зиночка ехала в родное село на похороны брата в тягостном состоянии, в полном душевном разладе. Это состояние усугублялось тревожным ожиданием новой беды.

Откуда она ждала эту беду? Конечно, от Пашки. Тяжкие думы о брате, о горестных похоронных хлопотах перемежались мыслями о нём, хоть ей и казалось кошунственным думать о Пашке сейчас. Но думалось помимо её воли. И напротив, чем строже она приказывала себе не думать о нём, тем упорнее вставал перед глазами его образ.

– Господи, – терзалась Зиночка, – что-то будет?

Зная свой и его непростой нрав, она не могла предсказать, как поведут они себя при встрече.

Нет, верила она, даже глянуть в его сторону не захочу. А если он подойдёт? Он обязательно подойдёт. Сделает вид, что просто так подошёл, поздороваться, в горе посочувствовать. А она? Тоже сделает вид, что не встревожена, не растеряна? А сердце не выскочит из груди? А глаза не сгорят от молний, которые в них вспыхнут?

Зиночка беспокойно ёрзала на автобусном сидении и всю дорогу вздыхала. Дома тревога поулеглась. Не до любовных дум, когда в доме покойник и приходится он тебе родным братом. Но когда скорбная процессия двинулась на кладбище, Зиночка, идя за гробом и под-

держивая под руку мать, украдкой косилась по сторонам. Нет, зазнобушки не было видно. Может, сзади? Не оглянешься, не спросишь.

На кладбище она смогла уже оглядеться пошире, но опять не увидела того, кого искала. Тихонько зароптали старухи, намётанным оком определившие смятенное состояние её души, безошибочно знавшие, как оно проявится, это смятение, поймавшие блуждающий зиночкин взгляд и осудившие такое святотатство.

После того, как всё кончилось – отгремел приглашенный Морозовым оркестр, аккуратный холмик покрыли венки и разошлись люди, к Зиночке подошла Нина. Она уронила голову на плечо подруги, и они заревели, зарыдали в полный голос, не сдерживая себя, выплакивая все болести и страдания, которые у каждой накопились. Рыдали они, причитала, упав на могилу, Прасковья Белоусова, горемычная, многострадальная мать.

Помаленьку, время от времени взрыдывая, все три стали утихать. И тогда, отирая покрасневшие глаза, Нина сообщила:

– Не ищи! Нету его.

Значит, заметно было, как она искала, всполошилась Зиночка. Стыд-то какой! Схлынуло ожидание беды. Отлегло от сердца. И тут же накатили жгучее разочарование, обида, ревность, желание сотворить что-то такое, что сломало бы благополучную пашкину судьбу. Зиночка была уверена, что она благополучная. И тут же ей стало совестно за такие мысли, совестно за то, что в эту минуту она опять думает не о брате, а о нём.

«Стыд-то какой, – вновь укорила она себя. – Что люди подумают?»

А люди думали по-разному. Кроме бескомпромиссных старух, были и такие, кто понимал и сочувствовал. Были и огорчённые тем, что встреча, которая могла бы потрясти село и надолго стать главной темой пересудов, не состоялась.

Что же случилось? Что теперь помешало этим вечно ищущим и не находящим друг друга людям встретиться? Конечно, злодейка судьба!

Победив на областном конкурсе пахарей, Пашка уехал в далёкий город добывать славу побольше. Первого места он, правда, не завоевал, но был отмечен в числе искусных. Получив телеграмму о беде с Фёдором Белоусовым, Пашка не стал дожидаться вручения наград, уложил свои вещицы, подарки жене и матери и помчался к самолету. До Москвы добрался легко, а в столице застрял. Прокантовался ночь на скамейках в ожидании билета и к похоронам не успел.

Надеялся ли он встретить Зиночку? Кто знает. Он и самому себе не признавался, что всё ещё думает о ней, что не выдержал из сердца занозу. Может быть, и впрямь не к ней спешил сейчас. А только, когда, вернувшись, узнал, что она была, испытал глубокую боль, какой никогда прежде не испытывал.

Глава двадцатая

ЭПОХА ПАШКИ КУСТОВА

Фразу эту, про эпоху Пашки Кустова, не я придумал. Её произнёс Степан Степанович Пантелеев. Произнёс, подводя итог своей собственной эпохе. Он хоть и удержался, когда менялось руководство, но стало ему шатко; впервые в жизни он почувствовал себя неуверенно, засомневался, заколебался.

Опять пришло хлебное лето. Морозов повёз меня на дальнее поле, к пшеничному массиву, где вот-вот начнётся жатва. Он взял с собой Кустова.

– Сядешь на комбайн! – сказал председатель Пашке. – Не чертыхайся! Знаю, что у тебя картошка. Знаю, что у твоего звена свои заботы. Не хватает людей, хоть разорвись.

И Пашка молча кивнул.

Василий Михайлович смачно почмокал, прикуривая, и свернул с мощёной дороги. Встречный ветер не успевал вытягивать махорочный дым из кабины. И кто это придумал, что донник облагораживает махорку? По-моему смрад от него ещё пуще. Видно, и Пашке не по вкусу этот аромат, он потянулся за сигаретами. Я начал кашлять, не дожидаясь двойного окуривания.

Машина не спеша пылила по ухабистому просёлку. Морозов специально не поехал по асфальту, чтоб показать мне хлеба – ровные, налитые, буквально на глазах желтеющие.

– Хороша у тебя пшеница! – восторгался я, зная, что этой искренней похвалой погрею ему душу.

– Не у меня, – скромничал он. – У агронома моего. Вот про кого тебе написать бы. Золотой человек, ума палата. Возьми на заметку.

– Она у меня не то что на заметке, вот тут, – похлопал я себя по лбу.

– Слыхал, как у нас её зовут? – улыбнулся председатель.

– Ещё бы! – улыбнулся и я.

Пашка заёрзал, насупился. Разговор напомнил ему неудачное сватовство.

Написать очерк об Анфисе Батуриной мне давно хочется. Несколько раз принимался. Только получалась она у меня какая-то неживая, и я всё откладывал. Стал перебирать в памяти то, что удалось узнать об Анфисе, из чего собирался выстроить очерк, и отключился от разговора.

Попетляв по полям, узик вынырнул на асфальтовую магистраль, перестал недовольно урчать, задышал свободно и побежал резвее. Издали мы увидели комбайны на краю поля и серую “Волгу” возле них. Люди собрались в кружок, и по тому, как энергично они размахивали руками, было ясно, что они горячились.

– Ух ты! – присвистнул председатель. Оказывается, тут начальство. Степан Степанович пожаловали.

– Почему не косишь? – ошарашил Пантелеев вылезшего из машины Морозова. – “Новый путь” уже пять процентов дал, а у тебя прочерк в сводке.

– Вы же видите, – объяснил Василий Михайлович, – комбайны наготове, люди тоже.

– Всё на “товьсь!”, – подтвердил Кустов.

Морозов говорил спокойно, но я знал, что спокойствия этого надолго не хватит, что он взорвётся и скандала не миновать.

– Ускоряетесь, да? – язвило начальство.

– Мы бы со всей душой, да пшеница не ускоряется, – съязвил в ответ Пашка.

– Степан Степанович, – начал закипать Морозов, – сами поглядите: сыровато зерно.

– В “Новом пути” подошло, а у тебя сырое? Солнце у тебя другое! Настроение у тебя сырое! Пускай комбайны!

Комбайнеры потёрли в руках колосья и с сомнением покачали головой: вымолачиваться не будет. Председатель посмотрел на Кустова. Тот понимающе кивнул и поднялся на мостик комбайна. Забухтел мотор, завертелись лопасти мотовила, задвигались ножи косилки. Комбайн медленно вполз в загонку, прошёл десятка два метров и остановился. Пашка соскочил на землю:

– Может, сами сядете, Степан Степанович? У меня не получается. Барабан забивается.

В прежние годы учинил бы Степан Степанович всем – комбайнерам и председателю – головомойку. А теперь сверкнул глазами, прошипел “Саботажники!”, нырнул в свою “Волгу” и запылел в сторону райцентра.

Поговорив с комбайнерами и осмотрев массивы, мы с Морозовым возвращались назад. Пашка остался в поле. Ехали теперь уже по шоссе.

– Нет, сосед хитрее делает, – мрачно доказывал Василий Михайлович. – Думаешь, он косит? Чтоб не цеплялись, он в сводке пять процентов показал. Да ещё добавил: выборочно косим, по снопу, по зёрнышку вырываем у погоды. Почёт ему и уважение.

– А если проверят?

– Едут к тем, кто с прочерком. А если к нему приедут через день-два, он уже косить будет. Тоже дежурит в поле.

Морозов ещё не остыл от стычки, узик нервничал, отражая настроение хозяина. Но помаленьку оба успокаивались – автомобиль и водитель. И вскоре мы уже готовы были забыть встречу с Пантелеевым. Однако, отъехав несколько километров от комбайнов, увидели знакомую серую “Волгу”,двигающуюся нам навстречу.

– Недоказал, – разозлился Морозов и остановился.

Степан Степанович вылез из своей машины, сказал что-то шофёру и шагнул к нам. Я пропустил его на заднее сиденье, он уселся и командовал:

– Поехали.

И я оказался свидетелем знаменательного разговора. Поначалу Пантелеев хмуро сопел. Василий Михайлович рулил на удивление спокойно и ждал, когда высокий гость заговорит. А мне затевать диспут и вовсе было ни к чему. Так и молчали какое-то время. Сзади за нами плелась серая “Волга”.

Пантелеев несколько раз вздохнул и неожиданно изрёк:

– Слушай, Морозов! Возьми к себе в агрономы.

– Кого? – сделал вид, будто не понял, Василий Михайлович.

– Ты же знаешь, я специалист неплохой. Жалеть не будешь.

– Не могу, Степан Степанович! Вы номенклатура.

Пантелеев выругался остервенело, откровенно, зло:

– Не рвался я в номенклатуру.

И опять засопел. Но вулкан, кипевший в нём, требовал выхода, просился наружу, помимо его воли.

– Вот на тебя нашумел, на ребят твоих. Знаю, что не по делу. А не

нашими – что за начальник, зачем приехал, спрашивается. Думаешь, не знаю, какие вы про меня байки сочиняете, какие прозвища даёте?

Мне стало неловко: ведь Степан Степанович исповедовался перед Морозовым, а я как бы подслушивал. Я заёрзал на своем переднем сиденье, рядом с председателем, чтобы напомнить о себе. Но Степан Степанович на это не отреагировал. Значит, моё присутствие его не смущало. Он сидел сзади, широко, упершись кулаками в сиденье, словно костылями себя подпирал. От этого плечи его поднялись до самых щёк, на которых, несмотря на излишнюю припухлость, были видны перекатывающиеся желваки. Он опять несколько раз вздохнул, тяжело, сумрачно, и начал свой долгий монолог, изредка прерываемый репликами Морозова.

– Кричат кругом: новое время, по-новому работать надо! И я понимаю: надо! А вот кто бы сказал – как. Что оно такое, по-новому? У газетчика, небось, и ответ готов: новый этап – новые задачи – новый стиль.

И меня задел. Стало быть, и впрямь моё присутствие ему не мешало. Отвечать на его колкость я не стал, и он продолжал свою исповедь:

– Время диктует... А если оно мне ничего не диктует? Даже не шепчет... Конечно, не время в этом виновато. Моя вина. А может, не вина, а беда. Прямо говорю: растерялся, не знаю, как теперь надо. А если ещё прямее, то, наверно, и раньше не знал.

Я сидел вполоборота и краем глаза видел Пантелеева. Он убрал свои руки-костыли, откинулся на спинку сиденья, полы расстёгнутого пиджака раздвинуло раннее брюшко. Он был сравнительно молод, Степан Степанович Пантелеев, чуть за сорок. Свою полноту он, видимо, тоже считал неременной принадлежностью руководителя, начальственной полнотой.

– И кому в голову тюкнуло двинуть меня в район? – с тоской говорил он, глядя не на нас с Морозовым, а в сторону, за окно, на поля, мелиоративные каналы, перелески да взгорки. Только вряд ли он видел всё это, не о том были его думы. – Всю жизнь к земле тянуло. Сам чую: агрономом был не по обязанности, не по диплому только. Было во мне зёрнышко. А теперь нет. Ничего нет.

И он вышел на “зёрнышко”. Случайно ли? Может, спорил с Морозовым и тот обронил это слово, как тогда в разговоре со мной? А может, из моего газетного материала почерпнул? Я даже чуть-чуть возгордился.

– Для каждого дела, для любой работы такое вот зёрнышко, искра

Божья нужна, – продолжал он. – А уж для руководящей – особая: судьбы людей тебе доверены. Нет у меня такой искорки.

Степан Степанович делал маленькие паузы, но не для того, чтобы услышать наши с Морозовым возражения или утешения, а чтобы дух перевести.

– Помню, в райкоме, когда меня утверждали, перехватил я твой, Морозов, взгляд. Ты же тогда членом бюро был. Да, и говорил твой взгляд: “Нет, Степан, не своё место занимаешь”...

– Почудилось, – отозвался Василий Михайлович.

– Уловил я этот взгляд, – не стал он вступать в спор, – понял его смысл. Мне бы задуматься да вовремя одуматься. Где там! Я с тобой внутреннюю полемику учинил. Мол, там моё место, куда партия бросит... Мой предшественник тоже всё на каждом шагу партию поминал, намёками на указания свыше собственную бездеятельность и безынициативность прикрывал. “Куда партия бросит...” Она уж не знала, куда его бросить, чтоб под ногами не путался. Как гнилое бревно в половодье, болтался меж берегов. И никто багром не зацепит, а каждый норовит подальше отпихнуть. Футболили, футболили – кое-как до пенсии дофутболили. Мне бы тогда об этом подумать. А я только теперь спохватился. Спыхватился и себя таким же увидел. Жутко стало. И вот говорю сам себе: так ведь и тебя, голубчик, поллой водой мимо жизни пронесёт... Ты не очень спеши, неожиданно сказал он Морозову. – Выговориться не успею.

– Извините, правление у меня.

– Кстати, насчёт правления. Давно хотел тебе сказать: непонятную линию ведёшь. У тебя одни старики в правлении.

– Значит, совет старейшин, – засмеялся Морозов.

– Слушай, не надо! – поморщился Пантелеев. – Это ж твоя опора. А какая тебе опора, к примеру, Аверьяныч? Какой от него прок? Возраст, сам понимаешь, того. К земле человек клонится, в сапоги свои глядит.

– Под ноги глядеть и вождю не грех. Чтoб не оступиться, – зафилософствовал Василий Михайлович. – Аверьяныч – старик мудрый. Согнули его годы, верно. Да ведь не зря говорится: низко смотрит, да высоко видит.

– Слушай, не надо! – вновь поморщился Степан Степанович. – Давай без этого... Без демагогии.

Он и не заметил, наверно, что опять сбился на свой прежний тон, что выявилось тут всё его естество, вся суть неполучившегося руководителя.

– Ну, вот, – вернулся Пантелеев на свою колею. – Каюсь: мне новое время ничего не диктует. Да если бы мне одному! Только я, видишь ли, бью себя кулаком в грудь и честно признаюсь: не умею, растерялся, не знаю... А у иного важности прибывло, повторяет, как попугай: рынок, прогресс, новый стиль. Будто оттуда, сверху, принесли ему рынок и прогресс. Будто дядя подарит новый стиль. Раньше долдонили: “Партия учит... Партия нацеливает...” А теперь клянет ту партию, будто его силой в неё тащили...

– Меняется обстановка – меняется и курс, – возразил Морозов.
– Ветер другой...

– Обстановка меняется, а земля не меняется. Она насилия не терпит. Да и нельзя так работать: куда ветерок – туда и умок. Обстановка меняется... Обстановка может меняться, оценки могут меняться, а убеждения... Это же как отца с матерью поменять. А ты погляди, что творится. Или мы все отцеподавцы?

Он опустил стекло и стал жадно дышать, будто задыхался. А мне подумалось: сам-то ты каков? Не из этой ли когорты? И Пантелеев, словно не соглашаясь со мной, начал размышлять:

– По команде жить привыкли. И убеждения сейчас меняем по команде. Уж не знаю, по гласной или не гласной. Опять все единым строем, сплочённой колонной, только в другую сторону. Опять всё и вся под одну гребёнку. А условия везде разные. Вот и думай, как в этих условиях лучше дело делать.

– Как говорит неугодный вам Аверьяныч, под козырёк не спеша, сперва под козырьком почеша, – вроде бы и поддержал его, но явно съязвив, Василий Михайлович.

Пантелеев на этот выпад не ответил, только снова поморщился.

– Что получается? – продолжал он рассуждать. – Народ ждёт перемен. Они не только назрели, а уж давно перезрели. А иной сидит, ждёт указаний, как и что менять. Раньше от партии ждал, теперь от новой власти. А способен он что-нибудь менять? Ведь он весь вчерашний. Хоть и счиатет себя самым новым новатором. А вся новизна у него на языке. Ведь думать отучились. И ни за что не отвечать привыкли. Мол, не я, такая была установка. А самим нам, что же, глядеть не надо? Глаз у нас нет? Голову дома забыли?.. А о чём правление, какая повестка?

Меня удивила эта способность Пантелеева перебрасываться с глобальной, обуревавшей его проблемы на дела текущие, повседневные.

– Много всего накопилось, – ответил Василий Михайлович. – Лодырей приструнить...

– Надо, да пожёстче! – одобрил Степан Степанович.

– Кустова бригадиром утвердить. А то уж почти год неутверждённым работает...

– Кого? – возмутился начальник. – Этого анархиста и дебошира? Хоть бы посоветовался.

– Парень он башковитый, хозяйствовать умеет, – не согласился председатель. – Мальчишество в нём перебродило. А в бригадиры не я, народ его выдвинул.

И в очередной раз поморщился Пантелеев:

– Не надо! Что ты за народ прячешься? Ты в районе его кандидатуру согласовал?

– Понятно! В районе лучше знают, кого народ выбрать должен, – рассердился Василий Михайлович.

– Ну, демагог! Ладно, дело твоё, утверждай кого хочешь. Тебе работать – тебе видней. А то ведь скажешь: на словах Пантелеев осознал, а сам прежнюю линию гнёт... Да, тяжело отвыкать, тяжело отрешиться от того, что в тебя годами входило... В старину в отставку подавали, коль ноша не под силу или с чем не согласен. Я вот, к примеру, подаю в отставку...

Пантелеев посопел сердито и добавил:

– Думаешь, это я уйду? Эпоха уходит.

Морозов не посочувствовал ему:

– Одна уходит, другая приходит.

– Да, – усмехнулся Пантелеев. – Эпоха Пашки Кустова.

– Зря иронизируете. За ним завтра.

– Ну, ты даёшь! Худо, коли нам на смену такие придут.

– Хорошо, коли такие. Спокойно помру, если на него хозяйство оставлю.

– Не будет твоего хозяйства. Фермеры будут.

– Русскому мужику без артели не выжить. Кто хочет – пусть фермерствует, а артель не умрёт.

– Ну-ну, – опять усмехнулся Степан Степанович. И уже серьёзно:

– Как, Василий Михайлович, возьмёшь в агрономы?

Подъехали к правлению. Морозов заглушил мотор, повернулся к Пантелееву:

– Взят бы, как на духу говорю, взял бы. Помню, какой ты агроном. – Морозов перешёл на “ты”, как бы подчёркивая этим полную

свою искренность. – Взял бы. Да у меня, видишь ли, есть агроном. И тоже с искоркой.

Наступал вечер. Но в нашем краю темнеет не скоро, чуть не до полночи всё вечер. Темнее стала вода в пруду. Подтянула к своему домику желтовато-серых, уже заметно выросших лебедей мама-лебёдушка. Чуть в стороне ходил дозором папа-лебедь. Низко, к самой воде опустили ветви радующиеся безветрию ветлы.

У правления гомонил народ. Увидев председательскую машину, а за ней и районную “Волгу”, поуняли говор женщины, загасили курев мужики, и помалу все потянулись в контору.

Пантелеев на отказ Василия Михайловича не обиделся.

– Ну, прощайте! – протянул он руку сначала Морозову, потом мне. – На правление не останусь, не до того... Значит, Кустовы на моё место придут? Ну-ну...

Глава двадцать первая

РВАТЬ НЕ РАЗОРВАТЬ...

Пашка искренне радовался своей семейной жизни. Машу лелеял и берёт.

И Маша была само внимание и ласка. Приугасла, подёрнулась пеплом сердечная пашкина боль. Приугасла, но не погасла. И Зиночка, как и обещалась, подула на эту искорку. Подула, сама того не ведая.

На вечер Морозов опять собирал правление. Пока его ждали (он поехал по фермам), собралось немало народу. В зиночкином предбаннике (и теперь ещё говорят “зиночкин предбанник”) не умолкая журчал говорок.

Я обеими руками вцепился в Кустова. Давно мне хотелось поговорить с ним. О чём? О нём самом, о его житье-бытье, о работе, о бригадирстве. И ещё у меня была тема, подкинута родной газетой: возвращение горожанина на село. Чем Пашка не кандидатура? Долго не удавалось его поймать. Да и здесь, наверно, не самое удобное место для откровенного разговора. И всё же я насел на него. Оттащил в уголок, чтобы никто не мешал, и пристал, как с ножом к горлу: объясни, что, как и почему.

Пашка, как я уже не раз убеждался, не любит газетчиков. Он и сейчас отбрыкивался, отшучивался, потянулся к ручке динамика, покрутил его туда-сюда, молчит радио. Я не отставал с расспросами. Он стал объяснять газетными штампами (мол, раз тебе надо – на вот готовый ответ). Говорил, а сам всё с репродуктором возился. Розетку потрогал, провод прощупал, достал ножик из кармана, чинить радио собрался. А я всё надоедал. И чувствовал, что осточертел ему своими расспросами. Он отложил на подоконник, возле которого мы обосновались, ножик, провод, уже раскрученную вилку и изрёк:

– Не про то спрашиваешь. Вернулся – это нормально. Домой вернулся. Почему удрал – вот вопрос. Почему другие бегут – вот о чём писать надо.

Так и быть, подумал я про себя, леший с тобой, не буду пристаывать, Что бегут – и без тебя знаю. А вот отчего бегут? Об этом давно думаю. Условия? Коммунальные удобства? Они сейчас почти как в городе. Оплата? Не пожалуешься. Театра нет? Так ведь и горожане не каждый день в театр наведываются, всё больше у телевизора сидят. А телевизор, он и на селе такой же. Видно, есть что-то притягательное в самом слове, в самом понятии “город”. Верно Морозов говорит: посудомойками, уборщицами – лишь бы в город. Но ведь и вот что правда: обратная линия наметилась, исконные горожане потянулись в село. К природе, к земле, к свежему воздуху потянулись? Вряд ли дело только в этом. Тут сложные процессы, и лихим наскоком их не осилишь, не осмыслишь. Да, всё это грани одной темы.

Шумно явился Морозов. Прежде чем зайти в кабинет, он успел чуть не с каждым накоротке поговорить: с Анфисой, с Аверьянычем, с другими правленцами.

– Ну что, будем начинать? – предложил он.

И тут его перехватила Казанчиха, невиннейшим голосом спросившая:

– Василий Михайлович, чегой-то нас опять вызвали?

– “Чегой-то вызвали...” – передразнил её председатель. – Будто не знаешь?

– Нет.

Голос Казанчихи утратил обычные басовые оттенки, звучал в верхнем регистре и источал искреннее недоумение.

– Ты, Иван, тоже не знаешь? – сверкнул председатель глазами в сторону Казанка.

– Знаю, – сознался тот.

– Вот и объясни ей. И сидите тут, ждите! Когда все вопросы решим, тогда за вас возьмёмся.

И Василий Михайлович закрыл за собой дверь кабинета.

– Испугались, как же! – перешла Казанчиха на свой обычный нижний регистр. – Подумаешь, ещё один выговор объявят. Выговор не чирей, не болит.

– Нет, больше выговоров тебе не будет, – бросил Кустов, продолжая возиться с репродуктором.

– И не надо, – мирно согласилась Мотря.

– Штраф будет,

– С меня штраф? – Мотря зарокотала уже не просто басовыми, а громовыми октавами. – Держи карман шире!

– И с тебя, и с Ивана, – спокойно продолжал Пашка.

– Она министр финансов, – засмеялся Казанок. – Так что с неё два раза.

– Не имеете прав! – грохотнула Мотря, а потом вдруг перешла на дискант и заголосила: – Я здоровьем слабая, не гожусь на чижёлую работу.

– Ты и на лёгкую не разбежалась, – мутузил её Кустов.

Мотря зарокотала ещё громче.

– В бригадиры выбился, так уж и нос задрал. Подумаешь – начальство! Не таких видали!

– Погодь, Мотря! – урезонил её Макар Петрунин. – Тарахтишь, ровно трактор.

Мотря осеклась, а Макар обратился к Кустову:

– Паш, правду говорят или нет, будто замест тебя Васятку Баева в звеньевые?

– Правду, – подтвердил Пашка.

– Да он же кулак! – возмутился Макар. – Личное хозяйство раздул!

– Хозяйство у него справное, верно, – согласился Кустов. – Зато вкальвает за семерых. За тебя в том числе. “Кулак...” – забурчал он, собирая репродуктор. – А ты кто? У тебя ни кола, ни двора. Один самогонный аппарат.

Макар даже рот разинул от неожиданности, но не нашёлся, что сказать. Тут на подмогу мужу кинулась Лизка Сопливая:

– Ты его видел, аппарат? Ты её нюхал, нашу самогонку?

– А кто не нюхал? Всё село вашим сивушным духом провоняло.

– Не твою ума дело! – обрёл уверенность Макар. – Может, я

изобретательство делаю. Да мне за это премия полагается. А ты меня страмотишь.

– Сейчас тебе Морозов выдаст премию, – под общий хохот пообещал Кустов. – Кончилось у людей терпение. Свёртывай производство, Макар!

– И чего взелись? – заверещала Лизавета. – Чего цепляются? Житья не дают! Чай, не убили никого, чужого не взяли, своим живём!..

– Всё, Лизавета, выключайся, – поднялся Пашка. – Включаем радио.

Но прежде чем он воткнул вилку в розетку, ещё раз прогремел гром. Мотря Казанчиха, какое-то время сидевшая тихо, вдруг рывкнула:

– Возьму и пожалюсь в район. Там не позволят честного человека трудового грязью обливать.

– Верно, Мотря, – съязвил Казанок. – Так, мол, и так: притеснение терплю, работать заставляют.

Казанок явно нервничал из-за предстоящей нахлобучки. Он ходил по предбаннику взад и вперёд и зло бросал Мотре:

– Помогите, мол, освободите от работы!

– Не скули! – гаркнула жена. – Сядь рядом и не мельтеши перед глазами.

– Молчать, торпеду тебе в бок! – взбунтовался Иван. – Хватит! Посидел я у твоей юбки, баста! Надоело от людей глаза прятать.

Казанчиха, само собой, такого выпада не снесла и загремела пуще прежнего. Но их перебранка носила уже локальный характер, и все решили: пусть пошумят, отведут душу.

Лизавета с Макаром бурчали негромко. их на фоне Мотри совсем не было слышно.

Пашка воткнул вилку в розетку, повернул ручку до отказа, и, покрывая мотрины рулады, комнату заполнили баянные переборы и чистый хрустальный голос, выводивший частушку:

*Запою, – мой голосочек,
Долетай до милого!
Не давай ему покоя
Часика единого.*

Все умолкли, даже расходившиеся Казанки и Петрунины оторопели.

*Я иду по берегу,
По берегу янтарному.
Брось-ка, дролечка, сердиться,
Улыбнись по-старому.*

Пашка побледнел и сжал кулаки так, что, казалось, ножик в его пятерне рассыплется в мелкую крошку.

*Я не знаю, как сказать,
Чтоб судьбу с твоей связать.
Чтобы путать не распутать,
Чтобы рвать не разорвать.*

– Слушайте! – ахнула первой пришедшая в себя Казанчиха. – Да это же Зиночка! Ей-Богу, она! Кому же быть, как не ей! Это сйный колоколец.

Все дружно загалдели, подтверждая: ну да, Зиночка, разве её с кем-нибудь спутаешь!

А репродуктор всё лил баянные переборы и хрусталинки-частушки:

*В поле белая березонька,
Не ты ли мне сестра?
Горя не было у девушки –
Не ты ли принесла?*

Пашка что было силы рванул провод. Упал, раскололся и замолк репродуктор, а Кустов с проводом в руке метнулся к дверям.

– Э-хе-хе, – искренне вздохнула ему вслед Казанчиха. – Мается, сердешный.

БОЖЬЯ КОРОВКА

ПОВЕСТЬ

Коль нарушится некая мера
Равновесия зла и добра...

Анатолий Краснов

I.

Писатель Еремей Еремеев и художник Аскольд Перцовский поссорились. А ведь друзьями были, казалось, по гроб жизни. И были бы друзьями по гроб жизни, не пристань мастер кисти к мастеру пера:

– Слушай, брат Еремей! Вези меня в это самое Пирятино. Ублажи! Душа исстрадалась, душа встряски вожделеет.

Они сидели воскресным вечером у Еремеева (на этот раз у него), глотали коньяк с лимоном и кофе, утопая в уютнейших, мягчайших креслах, и вели интеллектуальный диспут, а попросту – сплетничали. Аскольд, сложив пухленькие ладошки на выразительном чреве, разметав львиную гриву по спинке кресла и вытянув освобождённые от меховых бот ноги к жаркому камину, мешал с грязью собратьев по ремеслу и газетных рецензентов, разбранивших его картину на последней выставке. Хотя тут же и признавался:

– Не шедевр, конечно, сам знаю. Но надо же вникать: у меня спад, душевный холод. Сочувствия жажду, а не брани.

Он ослабил галстук на багровой шее и расстегнул давивший брюхо жилет.

Еремей встал, подошёл к своему рабочему столу, выдвинул верхний ящик, извлёк коробку с табаком, набил трубку, закурил и поддакнул:

– Завистники.

Посасывая трубку, он стал мерить длинными тощими ходулями диагонали своего кабинета. Потом остановился у подёрнутого морозным рисунком окна и повторил:

– Завистники!

– Лютейшие! – согласился Аскольд и тут же поморщился: – Ты бы не чадил! Ну тебя к лешему.

В писательском кабинете был полумрак. Люстру не включали, полагая, что игривый светильник на камине, блики уличных фонарей в снежном обрамлении, тихое пламя очага придадут их беседе нужный колорит и желанный интим. Но колорит этот был настолько привычен, что уже не воспринимался друзьями, занятыми творческими

проблемами. Еремей задёрнул тяжёлую занавесь на окне и вернулся в кресло, чтобы пускать дым не к потолку, а в жаркий печной зев.

– Везде завистники, – ещё раз сказал он. Сказал больше для утешения друга, потому что самому ему жаловаться нужды не было. Печатался он много, и в местном издательстве, и Москва его не обижала. Пьеса Еремея шла в театре уже второй сезон. Критика, хоть и не возносила его творений, но и не разносила вдребезги.

Перцовский идею чёрной зависти развил:

– Житья не дают!

Он протянул руку к стоявшей на каминной полке чёрной статуэтке, изображавшей какое-то восточное божество, и чуть не уронил её. Фигурка оказалась не по размеру тяжёлой.

– Из Индии что ли приволок? – повернулся он к Еремею.

– Угу, – промычал тот, не вынимая трубки изо рта.

– Чугун?

– Железное дерево, – всё так же, через трубку, ответил писатель.

Еремеев много путешествовал – и туристом, и по литературной потребности, потому его шкафы, столы, полки были уставлены экзотическими диковинами.

Бережно возвращая скульптуру на место, Перцовский вновь заговорил о больном:

– М-да... За горло хватают. А ты знаешь, как легко меня выбить из колеи. Я раним, я незащищён.

– Не гневи Бога! – ухмыльнулся Еремей. – У тебя кожа гиппопотама.

– Охальник! – не сердито ругнулся друг. – А под кожей что? Сердце ребёнка. Уставшее сердце... Вот и вези меня в народ. Припаду к роднику и возрожусь.

– Не повезу, Аскольд, ибо не родник. Ушлая бабенция, имей в виду. Обьегоривает честной народ почём зря.

Еремей ещё раз встал, выбил в камин трубку, отнёс её на свой стол и опять вышел на диагональный маршрут. Он неспешно ступал шлёпанцами по мягкому ковру, засунув руки в карманы шлафрока. Остановился перед креслом художника, долговязый и тощий, как Дон Кихот, подёргал усиками, которые любовно холил и потому стриг каждое утро, извлёк руку из кармана и вонзил палец в пузо Перцовского:

– И не проси! Не повезу. Душа твоя не обретёт покоя, в смятении пребудет.

– Темнота! – возмутился Аскольд. – А ещё писатель, инженер чьих-то там душ! Люди к ней тянутся не за истиной, за утешением – как ты не понимаешь! Им отрадно объегориваться. Усёк?

Ему очень хотелось вскочить, показать темперамент, но лень было двигаться, шевелить своё тяжёлое тело, и он выражал эмоции только голосом, причём делал это с фальшивым наигрышем, как плохой провинциальный актёр.

– Вези! – убеждал он Еремея. – Тебе же лучше: дармовой сюжет. Повестуху сварганишь или драму.

– Какая драма! – стоял на своём писатель. – Обмозговывал и повесть, и драму. Ан ничего не вышло. Там фельетонная коллизия. Под елейным религиозным флёром сплошное надувательство!

– И что? Тиснешь в газетку – всё хлеб! А я, глядишь, посрамлю нашу братию – выдам нечто в стиле ретро. Устал, понимаешь, от городских пейзажей и дежурных портретов. Напишу деревенскую прорицательницу. Как бишь её?

– Марфа. Марфута-Праведница... Не прорицательница, божья коровка.

– Перестань!.. Экстрасенс. Экстрасенс Марфа. Звучит!

– А дорога! – начал уступать Еремеев. – Снег, накат, гололёд.

– А ехать тут сколько? – давил Аскольд. – Тридцать вёрст и то без гака.

Он уговаривал, требовал, грозил, бранил, пока Еремей не сдался:

– Чёрт с тобой! Пакуй свои мольберты. Завтра едем.

Аскольд притянул к себе Еремея, облобызал в блестящую лысину:

– Золотой человек! Проникновеннейший мастер! Неоценённое перо! Преданнейший друг!.. Колёса твои, бензин мой.

Наутро они погрузились в еремеевские “Жигули” и подались в Пирятино.

II.

Сельцо это Еремей Еремеев почтил своим визитом впервые ещё прошлым летом. Тамошние жители стараниями библиотекариши Антонины знали его книжки и захотели поглядеть на живого писателя. Еремей охотно шёл к людям, умел их расположить к себе. И в Пирятине разговор получился дельный, не по пустякам, не по верхуш-

кам. Дотошные сельские книгочеи разговаривали с ним на равных, спорили и задирались. И хвалили, и не соглашались. Зато все, какие были, книжки его в магазине раскупили и в библиотеке заново расхватывали. А обаятельная и строгая Тоня сказала ему на прощанье:

– Вы теперь почётный гражданин нашего села. Наведывайтесь почаще.

И он не один раз наведывался. Ещё в первый приезд засел ему в голову, как заноза, замысел деревенской повестушки. Стали вырисовываться кое-какие сюжетные ходы, обрастали плотью герои. Начал писать. Но вскоре почувял, что его будущему шедевру чего-то не хватает. То ли особый персонаж должен появиться, то ли сюжетный излом, чтобы всё выстроилось и заиграло. Вот в поисках этого “чего-то” он и наезжал в Пирятино. Иногда жил по несколько дней, останавливаясь в одном и том же чистеньком домике у старичка со старушкой. Кое с кем успел подружиться. Слушал, расспрашивал, впитывал. А того, что ему было нужно, так и не находил.

И вдруг нашёл. Да не просто эпизод, решивший, казалось, все его творческие проблемы, а истинное потрясение.

Стоял лучезарный майский день. Но Еремесу было не до пейзажных красот. Он брёл по селу, переполненный думами, сомнениями, раздражением, не замечая ни пчелиного звона над яблоневым цветением, ни выщелков и высвистов восторженных скворцов, ни парного духа вскопанных огородов и палисадников. Так бы и уехал писатель ни с чем, кабы не наткнулся на толпившихся у старого обшарпанного дома женщин в чёрных платках. Он понял, что в доме покойник, и невольно остановился. Снял кепку, отёр платком белую, не видевшую солнца лысину, прочёл одобрение во взгляде старушки, надо полагать, одной из истовых ревнительниц обрядовых строгостей, отметившей его почтительно снятую кепку. Остановили Еремея даже не эти чёрные платки, неожиданно оказавшиеся на его пути, а доносившиеся из дома редкостные по нынешним временам причитания. Не безутешные вопли, не горестные рыдания, а поэтические импровизации.

“Вот оно! – стукнуло в сознание. – Вот чего не хватало”.

Он пока не представлял себе, как ляжет этот плач в его повесть, каких перемен в первоначальном замысле потребует, Но уже чувствовал, что придётся всё переделать, всё перевернуть. Он подошёл ближе и негромко заговорил с заметившей его старушкой. И вот что та рассказала.

– Пришли, вишь ли, проститься со своей товаркой. Померла,

Царствие ей небесное. Церкви у нас нету, до городу далеко, чтоб батюшку покликать. Вот сами и управляемся. Марфута-Праведница – она всё как есть знает – без Псалтыря, по памяти почитала священные словеса. Отпела, значит.

– А кто же это покойницу оплакивает? – спросил Еремей, подлаживаясь под деревенский говор. – До того трогательно, жалостливо.

Женщине его похвала понравилась, будто её самое похвалили, и она пояснила:

– Известно кто, она же, Марфута-Праведница. Больше-то кому? Больше некому. У покойницы одна дочка, Настя, да и та Богом обижённая. Чего говорит – непонятно. И падучая болезнь у ней, у Настито. Она и не сознаёт, видать, что сиротинушкой сделалась. Вот Марфута её горе и выплакивает. Она одна Настю разумеет. И чего она хочет – знает, и чего не хочет – знает, и об чём говорит, и об чём молчит.

Старушка скороговорным шепотком продолжала свой бесконечный, со множеством извивов рассказ, а Еремей уже слушал не столько её, сколько плач Марфуты. Слушал и дивился поэтическому и актёрскому её дару, способности перевоплотиться в другого человека, плакать его слезами, страдать его горем. Это был плач не Марфуты, а Настит, это дочь оплакивала тяжкую утрату и свою горестную судьбу. Это дочь упрекала безвременно ушедшую мать, покинувшую её в полном одиночестве, оставившую без ласки и заступничества. Он старался запомнить, слухом, зрением, сердцем запечатлеть этот трагический монолог.

«Не повесть, драму склепаю», – перерешил он про себя и уже прикидывал, кто из местных актрис сумеет это сыграть.

*Ох, да не шёлковый клубок катается,
Не студёная водица разливается, –
Уж как горе-горюшко неизбывное
Надо мной чёрной тучей кружится.*

Душу ему переворачивали эти причитания, особенно надрывные “о-хо-хо” после каждого стиха.

*Чёрной тучей оно опускается,
Не видать света белого, солнца красного.
Ох, да посеяли беду – полынь горькую,
А мне жать довелось на том полюшке.*

Как ни крепился Еремей, а выдавила из него Марфута слезу. А женщины хлюпали – не успевали промокать глаза и носы концами подвязанных под подбородками платков.

*Ох, да и как же тебе, матушка родная,
Перед Богом теперича не совестно?
Ой, да на кого ж ты меня покинула,
Сиротинушку свою горемычную?*

И долго-долго потом преследовал его этот плач, по ночам грезился.

Ведь если вдуматься, говорил он себе, не Бог ведь какие поэтические находки. Извечные “студеная водица”, “солнце красное”, “свет белый”. А поди ж ты! Тут, разумеется, не в одних словах дело, а и в том, как эти слова исполнялись. Ну и в том ещё, что падали эти слова в души, настроенные на трагическую ноту.

Вот так началась у Еремея эта история с Марфой. С потрясения, с уважения к её дару. С намерения сделать вопленицу центром, магнитным полюсом своего произведения. С намерения, осуществиться которому не было суждено. Еремей сознавал, что Марфа незаурядная натура. Но по мере того, как узнавал её, мерк в его сознании возникший было образ поэтического самородка, народной сказительницы. Очень скоро понял он, что Праведница далеко не праведница, что она хитра, льстива, корыстна. Марфа превратила свои способности, потребность людей в сочувствии, сострадании в доходный промысел, обложив всё село данью. А такая она в его замысел не вписывалась.

Какая “такая”? А вот какая.

Марфа всё про всех знает. На селе, правда, и не утаишь ничего, люди живут открыто. Но у Марфуты своя информационная служба, хорошо – и до чего просто! – поставленная.

– От Бога, всё от Бога, – елейно говорит она, когда бабы удивляются её осведомлённости об их хлопотах, радостях и бедах.

Может, Бог и благоволит к ней за усердные её молитвы. Только он, чтобы держать её в курсе всех событий, должен был бы все свои прочие обязанности забросить или раздуть небесный аппарат, иначе не управиться. А в общем-то, уповая на Бога, Марфута и сама не плошает.

Прибежала к ней как-то озабоченная соседка - бабка Алдоха.

– Марфутушка, матушка! – взмолилась она. – Опять етот беспартошный на току отирался, глаз запорошил. Ость, поди-кось, заимел. Кабы беды не нажить. Ты бы глянула, матушка.

“Етот беспартошный” – младший внук Алдохи. Штаны он, конечно, носит: как-никак первоклассник. Но сорванец такой, что мать спускает их с него частенько и ремню скучать не даёт.

Марфута хитрыми масляными глазками, сквозь шёлки между веками глядит на пришелицу и ведёт умильно:

– Ты бы к фершалу, радость моя.

– Ой, ой! – изображает та удивление и обиду. – Чегой-то к фершалу? Без глазу чтоб дитё осталось? Ты ить у нас скорая подмога.

Глаза у Праведницы теплеют, шёлки делаются пошире, в них вроде и сострадание, а и насмешливые искорки тоже.

– Язычок у тебя чувствительный, – ластится бабка Алдохи. – На фершала детки только глянут – криком кричат. Обходительности у него нету, у фершала. А к тебе с полным, то ись, доверием. А фершал или там ветинар – видимость одна. Вон у Домны у Храмцовой надьсь корову вздуло. Дык что ты думаешь, помог ветинар? Как же поможет! Обездолил семью – вот и всё. А там детишки – мал мала меньше... Уж ты, матушка, глянь непутёвого. А я тебе маслица свеженького фунтик. Вчерась пахтала.

И вот насупленный, настороженный “непутёвый” с натёртым докрасна глазом сидит перед Марфутой.

– Ну-кось, погляди сюда, голубок, – говорит она ему. Говорит мягко, ласково. Не говорит, а воркует. – Звать-то тебя как?.. Петруша, значит. Петушок. Хорошее имечко, резвое.

Она осматривает глаз мальчонки, а сама как бы между прочим направляет разговор в нужное ей русло, спросив Алдоху:

– Как же так, коровушку-кормилицу недоглядели? Пастуха нешто не было?

– Сенька-то Говорухин в больницу попал, в район отвезли. Вот и уговорили Илюшку Дёмина попасти. А из него известно какой работник. Шары залил да спать завалился. А коровы – на клевера...

Бабка прервала рассказ и вздохнула. Понаблюдала за марфиными медицинскими манипуляциями и, возвращаясь к своему рассказу, горестно покачала головой:

– Сеньку жалко. Опухлость у него в животе. Может, рак. Не приведи, Господь!

Марфута перекрестилась и всё внимание пациенту:

– Колет, голубок, где? Вверх?.. А глазки у нас загляденье, цвету небесного, лазоревого... Руки опусти, опусти, ненаглядный, они нам сейчас не помощники.

Она наклоняется к мальчишке всё ближе, воркует всё слаще. Пока он сообразил, что к чему, старуха шустро и ловко запустила кончик языка под его веко. Повела им туда-сюда, мягким, шершавым, влажным. Петрушке ещё противно не успело сделаться, а она уже говорит:

– Ну, вот и всё, касатик. Не лазь больше по мякине. Уколешь глазик – мать от горюшка слезой изойдёт. Береги глазки, сердешный.

Петруха выпорхнул на улицу, только его и видели, а женщины не разойдутся, не расстанутся, пока всем на селе косточки не переполющут. Только Марфута-Праведница в обычной бабьей всякой всячине свой интерес имеет. Она не новости черпает, а неблагоприятные адреса: кто страдает, кто хворает, кто в утешении нуждается.

А как выпроводила Алдоху, отправилась Марфута по селу. Первым делом к Домне Храмцовой, у которой корова пала. Вторым делом к Говорухиным, где хозяйня тяжкая хвороба съедает. А к Илюхе Дёмину не пошла. Этому Божьей благодати не требуется. Этому ничего, окромя бутылки, не требуется. Идёт Марфа по улице, того встретит – поговорит, этого заприметит – остановится, в тот дом зайдёт – головой покачает, в этот заглянет – поохает. И везде с состраданием, с сочувствием, с пониманием.

– Не гневи Бога, касатка, – убеждала она Домну. – Пошто ропщешь? Не тебе одной тягостно. И другие страдают. Кому нынче легко? А ты терпи. Господь милостив, он твои молитвы услышит.

– Что ж он мне корову вернёт? – сокрушалась сомневающаяся в Божьей щедрости Храмцова.

– Уж как он свою милость явит, про то нам с тобой неведомо. А только сироток твоих он охранит, заступник наш. Ты верь и надейся.

Женщина – что ей было делать? – вздохнула и стала не то чтобы верить и надеяться, а просто ждать. И когда вскоре правление колхоза выделило ей стельную тёлку, Марфута расценила это не как человеческое внимание и участие, а как перст Божий.

– Люди пособили, – радовалась Домна.

– Их Господь вразумил, – поправляла Марфа.

..Так и шла Марфута от дома к дому. День был воскресный. Зашла на кладбище. У могилок, где люди были, покрестилась, поклоны поотвешивала, губами пошлёпала, ходатайствуя перед Всевышним о Царствии небесном для усопших и благодати земной для живых.

Домой вернулась ввечеру и долго разгружала из хитро прилаженной под широченной одёвкой сумы “что Бог послал”. А послал Бог десяток яиц, шмат сала, пирог с грибами, бутылку наливки, мочёных яблок, бумажки разного достоинства.

Не сказать, чтобы тутошние женщины были такими уж богомольными, чтобы они верили в нашёптывания и за-говоры, в присухи и отсухи, чем тоже практиковала Праведница, а тянулись к ней с доверием и симпатией. Потому что есть у людей, как верно заметил Аскольд Перцовский, потребность в добром слове. А Марфута щедра на доброе слово. И не поможет, а тяжесть с души снимет.

После великого плача, потрясшего Еремея, после того, как отпели и похоронили старушку, обосновалась Марфута возле Насти. Было Насте годков тридцать, не меньше, а в помощи, как дитё малое, нуждалась.

– Хоть и Божий человек, а догляд ей нужен людской, – говаривала Марфа.

И впрямь догляд она ей обеспечила. И кормила её, и обстирывала. А вскоре таинственным полущёпотом вешала бабам:

– И-и-и, милые! Давно я к Настиче приглядываюсь да прислушиваюсь. Может, думаю, только по первости словеса у ней непонятные, странные, от смысла отрешённые? Может, по темноте нашей они странные? Не благодать ли Божья на неё сходит? И вот, как подумалось мне это, так всё разуму и открылось. Вы на лик её ясный гляньте – что твоя икона. А глаза? Глубины да чистоты колодезной, спокойные да ласковые.

– Правда, правда твоя, матушка, – кивали головами старухи. Сердца у них полнились сладкой, тревожной истомой: что-то за всем этим стоит, чем ещё их подивит Марфута?

А Марфута, видя это и сознавая свою магическую власть над слушательницами, вела свой рассказ дальше, всё так же ровно, с достоинством:

– И голос у ней нутряной, будто не сама она молвит, а неведомо кто. – И перст многозначительно вверх. – Нет, думаю, неспроста это... Да-а... А ночью, родимые вы мои, то ли сон мне пригрезился, то ли видение было...

– Знамо, видение, – поверили бабки.

– Ведёт, значит, кой-то Настичу за руку, а сам весь в белом, лёгонький, ровно пушинка. Земли-то почти и не касается. Сиянье от него исходит. а за спиной крылышки, как у голубка.

– Ангел Божий! – дружно ахнули старушки и перекрестились.

Марфино лицо лоснится от удовольствия, в глазах вдохновение. Она и сама верит, что общалась с райским посланцем.

– И слышу я, касатки мои, голос небесный, – упоённо повествует она, повергая старух в окончательное смятение и восторг: – И молвит тот голос: “Пророчица Настя слово Божье речёт. Внемли и постигнешь!”

– Пророчица, – поражённо раскрыли рты бабки.

– Внемли и постигнешь, – повторяли они полупонятную, немного таинственную формулу.

– И сама я, бабоньки, оробела невозможно сказать как. Осенила себя крестным знамением, шепчу молитву Господу нашему. И тут же, любезные вы мои, сделалось мне легко и радостно. И всё-то стало видно и понятно. И всякое словечко настино, и взгляд, и поступок мне открылись. Всё она, ненаглядные вы мои, видит и знает, про каждого наперёд всё сказать может. Вот ты, к примеру, Авдотья, надьсы навевывалась. Сын чегой-то давно не отписывает, какое у него там житьё-бытьё, неизвестно. Так? Сидим, значит, мы с тобой, гутарим, а Настица чего в этот момент исделала, помнишь?.. Не помнишь! Потому как тебе не дадено сё понимать. А мне теперича всё открылось. Она ведь, Настица-то, железку об железку стук да стук и, ровно котёнок, мурлычет, вроде песни играет. Мол, в городе он, твой сын, на железной дороге, и всё у него ладно, всё справно – песни поёт..

– Ой, правда! – всплеснула руками Авдотья. – Всё как есть правда. Отписал сынок. Всё у него как надоть, всё путём. Живёт – не жалится, обходчиком на дороге этой самой, железной, работает..

– Вот, милые, какой дар Божий у Настицы, – продолжала Марфа. – Уж вы её, голубоньки, добротой вашей не обойдите, теплом да лаской не обделите.

Люди, понятное дело, откликались. Они осыпали Настю, а заодно и Марфуту своими щедротами. И разнеслась по округе весть об удивительных свойствах Насти, об её умении читать чужие мысли, предсказывать судьбы людские, изгонять беды. И потянулись в Пирятино люди. Да не одни старушки тёмные. Наслушавшись модных разговоров и начитавшись модных статей про экстрасенсов, телепатию и непознанные свойства человеческой психики, зачастили к Насте горожане, люди интеллигентные вроде бы, образованные. Куда им ещё податься со своими душевными трещинами, надломами, со своими комплексами, рефлексиями, как теперь принято говорить?

Фирма работала надёжно. Марфуте вся поднаготная местных клиентов ведома, и она толкует настины “прорицания” безошибочно. А

коли незнакомый человек приходит, она и тут не теряется, умеет узнать, с чем пожаловал, осторожными расспросами, сочувственными охами да вздохами разговорит его. Да и что за провидческий, скажите на милость, нужен дар, чтобы вести такой, к примеру, разговор:

– Скорбишь, милая? Беду твою Настяца видит, как свою избаливает. Глянь, в глазах у ней тоска какая! Не твоя ли то тоска? Видишь, слёзки сверкают? Не твои ли то слёзы?

Настя сидит у окна, подпершись ладошкой. Заходящее солнце отражается в её неподвижных глазах, и в это время в них можно прочитывать всё, что угодно. Марфуте угодно, чтобы посетительница читала тоску. И та читает. И не только читает. Осознавая, с каким пониманием она встречена и насколько верно определена её беда, женщина раздражается слезами и выплакивает всё, что чуть позже вернётся к ней же в настينو-марфутиной интерпретации и убедит её в сверхъестественных способностях экстрасенса.

Но чаще Марфута использует другой безотказно действующий приём – иносказания. Переводя настины выкрики и бормотанья, она порой такого туману напустит, такой плетень нагородит, что посетитель шалее и видит в её речениях непостижимые глубины, нырять в которые становится для него долгой отрадой.

– Внемли голосу пророчицы, – торжественно вещает Праведница. – Слышишь слово её? “Зачем наступать, где земли не видать? Становись на твердь земную”.

Услышит человек такое и размышляет: может, и впрямь не туда я наступил? Видно, сам виноват, что не ту тропу выбрал.

Или скажет Марфа:

– Не всё ветру в окна дуть, подует и с овина.

И утешится человек, поверит, что придут перемены, не одни беды ему на роду написаны.

Докатилась молва про пирятинское диво и до Аскольда Перцовского. Он поделился слухами с Еремеевым, а тот не только не удивился, а ещё и, как выяснилось, оказался знаком с экстрасенсами. Вот и пристал художник: вези да везии в Пирятино!

III.

Выехали они утром, едва рассвело. Накануне северный ветер принёс небольшой снегопад. По морозу машины прикатали дорогу,

и вести “Жигули” по скользкому насту Еремееву было непросто. Он взмок от напряжения, впившись руками в баранку, не сводя глаз с дороги и сбрасывая и без того не шибкую скорость при встречном движении. А Аскольд, развалившись на соседнем сидении и положив привязной ремень на брюхо (пристегнуться не удалось, не сходился), крутил головой во все стороны и восторгался то подсвеченными низким, едва вылезшим из-за леса солнышком сугробами, то ельником, на лапах которого угадывались изваянные из снега диковинные фигуры. А когда подъехали к Пирятино, Перцовский воздел руки к плафону и возопил:

– Вот что писать надо, кретины! А мы сидим у каминов и ждём вдохновения. Ты погляди, погляди! – толкал он в бок друга. – Диво дивное! Дымы из печек вверх, как хвосты у котов. А иней на деревьях! Кружева! Кораллы!

“Кретины” относилось и к нему самому, и к его коллегам.

– Я уже исцелился! – орал Аскольд. – Вижу свою будущую картину. Колорит не бело-голубой – это банально, примимтив! – а бело-розовый.

– Тоже было, – отозвался Еремеев.

– Молчи, чёрствый человек! Теперь тебя целить надо, душу твою будить.

Наверно, долго бы ещё шумел художник, если бы “Жигули” не остановились. Друзья вылезли из машины, и Еремей имел неосторожность вслух сказать:

– Сейчас разместимся и пойдём к Марфе поболтаем.

Вроде никого и не было, а обронённая фраза, подхваченная кем-то, а, может, не кем-то, а самим сельским морозным духом, покати-лась по селу, обрастая, как водится, всякими мыслимыми и немыслимыми подробностями. Пока определились на постой всё к тем же, знакомым Еремееву старику со старушкой, всё село уже трезвонило: приехали из города писатели или кто, Марфутой с Настей интересуются, не иначе в газете пропечатают. Марфута об этом тоже узнала, конечно, отметив для себя в первую очередь намерение приезжих прийти поболтать. Она уже ждала их и к встрече приготовилась.

– Нехорошо, милые! Не по делу пришли, а лукавства ради, – едва они переступили порог, укорила их Марфа. – С чего, думаете, Настя воду в ведре болтала? А с того, что всё она видит и всё наперёд знает. Пошто обидели Божьего человека?

Друзья сконфузились. Еремеев резко повернулся и вышел, не ска-

зав ни слова. Растерявшийся Перцовский крикнул другу вдогонку:

– Постой! Еремей, погоди!

И выбежал следом. Догнав приятеля, он услышал:

– Что я тебе говорил? Змея! Доложили, видишь ли, что поболтать шли. Какой спектакль разыграла! Нет, фельетон – и точка!

Аскольд неожиданно остановился, подумал мгновение и пошёл назад, к дому прорицательниц. Еремеев окликнул его, но тот молча отмахнулся и толкнул скрипучую дверь. Войдя, художник стащил с головы лохматую, песцового меха шапку и промямлил:

– Ладно, мать, за лукавые мысли прости.

Помялся и уже смелее заговорил:

– Ты же понимаешь, как оно бывает. Прямо и честно себе и друг другу сказать: интересно, потому и иду, вроде совестно, суеверием попахивает. А по правде говоря, интерес привёл.

Марфута сквозь узкие щёлки хитрых глаз глядела на смущённого и растерянного гостя и видела его насквозь.

– Нет, не интерес, милоч, – возразила она, – а нужда. Страдаешь, потому и пришёл. Душа у тебя тяготится. И у тебя, и у твоего сурового напарника.

– Ну да, – согласился Аскольд. – Такие мы, интеллигенты гнилые... Да я-то что! Я ничего, – неумело солгал он. – А вот Еремей... Ему подсобить нужно. Гордыня его обуяла...

– Великий грех! – сочувственно вздохнула женщина.

– А что я вернулся – удивились, верно? – спросил он. Спросил с улыбкой. Мол, ты меня насквозь видишь, и я не лыком шит. А бабка невозможно свою линию гнула:

– Чему дивиться? Знала, что придёшь. Потому как Настига затужила и такие слова молвила: “Несёт птичка чужое яичко”. Вот и прилетел ты с чужими хлопотами.

– А может, он прилетел бы?

– Нет, он сердитый, по глазам видать. Обманщицей меня почитает. Али не так?

– Разное про вас с Настей говорят, – уклонился Перцовский от прямого ответа.

– Знаю. Мол, объегоривает бабка тёмный люд.

Перцовский даже вздрогнул, настолько точно Марфа обрисовала ситуацию, и слово еремеевское “объегоривает” употребила. Бабка заметила его реакцию и не без ехидства спросила:

– Дивишься? Нечему, соколик. Настига, когда в окошко вас увида-

ла, пальчиком в него указала и с укором промолвила: “Егор, Егор...”
Поначалу я думала – она имя его называет, ан после-то уяснила, к чему такое слово.

Марфа уложила сидевшую на скамье Настю в постель, накрыла лоскутным стёганным одеялом: “Полежи, дитятко!” А нить разговора с гостем не теряла.

– Садись, родимый! – подвинула она табуретку. – Значит, тёмный народ обманываю?

Перцовскому показалось, что Настя пробормотала: “Егор, Егор”. А может, это были другие слова, а художник понял их так. Марфа же продолжала свою мысль:

– Тёмных обманываю? А ты-то, чай, не тёмный. И другие такие же. Не тёмные, а идёте.

– Идём, – вздохнул Аскольд.

Он успел оглядеться. Обычный сельский дом. Крепко слаженный умелой плотницкой рукой стол, покрытый белой льняной скатёркой, скамья под окнами вдоль стены, табуретки, деревянная кровать. Газовая плита – как в городских квартирах. Цветы на подоконниках. Картинки и фотографии на стенах, видно ещё от прежней хозяйки оставшиеся. Это всё толстяк отметил мимоходом. А вот на переднем углу взгляд его задержался. Такого обилия икон видеть ему не доводилось. Большие и малые, яркие и тусклые, украшенные вышитыми полотенцами, они громоздились чуть не до самого потолка. Перед ними теплилась висевшая на трёх фигурных цепочках лампада.

– Идём, – ещё раз сказал художник и добавил: – Бог знает, зачем.

Он уселся на табуретку, расстегнул роскошное, отороченное всё тем же песцовым мехом пальто, с неловкостью поглядел на свои боты, с которых не отряхнул снег и которые теперь пускали ручейки по крашеному полу.

– Бог-то знает, да вы, учёные, в Бога не больно верите, – уколола Марфа. – Про ворожбу да предсказания, небось, со смешком? А всё-таки идёте...

Настя легко застонала во сне. Марфа пояснила гостю:

– Ты, хоть и шумливый, а, видать, не злой. Потому Настица спокойна. А стонет – так то за приятеля твоего тревожится.

Праведница поправила у Насти одеяло и уселась на скамью, спиной к оконному свету, лицом к гостю, чтобы его видеть хорошо, а себя не очень показывать. Она опять взгляделась в гостя, будто рентгеном его просветила, и начала вещать:

– Интересу ради, говоришь? Само собой, любопытно. А только вижу – другая у тебя причина. И какая ж такая причина? А вот какая, голубь ты мой... Друг твой книжки сочиняет. А ты каким ремеслом хлеб добываешь?.. Художник, стало быть? Картины разные рисуешь? И в том беда твоя, что затвердела душа, на мысли твои не откликается. Руки делают, а душа молчит. Скажешь, не так?

“Не глупа старушка, – подумал Перцовский, – в корень зрит”.

– Вы, которые образованные, об душе, может, больше нашего страдаете. Не так что ль?

– Наверно, так, – признался художник. – У нашего брата, особливо пишущего, душа – самое болючее место. Всей нашей работы и всей жизни смысл – как её, эту душу, выразить...

– От забот земных опростать, другим людям открыть, – подсказала Праведница. – Не для себя ведь картинку рисуете и книжки придумываете, всего себя в них вкладываете.

– Да, конечно, только вот в чём беда. Как узнать, вложил я всего себя, душу свою в картину или нет? Я старался, из кожи лез, ночи не спал, измочалился до основания. А люди глянут – и хоть бы что! Лицо равнодушное, в глазах искорки нет. Это же страшно!

– Нет, милоч! Это жизнь; по-другому, вишь ли, и не будет. Про картину твою что сказать? Может, ты и старался, руки старались, голова страдала, а душа почивала. И так ведь бывает, а? Бывает?

Кивнул: бывает.

– Устала твоя душа, покоя требует. Бывает, помолится человек, на исповедь сходит – и облегчение Бог посылает. А тебе чем душу успокоить? Не знаешь.

– Скажи, мать, коли знаешь.

От ответа Марфа ушла. Умильно ворковала о том, о сём, выгадывая время, отыскивая, что бы такое страдающему интеллигенту присоветовать. И нашла-таки.

– Ты поди, горемычный, на кладбище. Покой вечный, он не одним усопшим покой. Он и живым умиротворение приносит. Земные наши горести малыми и жалкими покажутся. И придёт твоя душа в равновесие... Беседа наша долгая, чайку не испить ли нам? – предложила бабуля.

Аскольд согласился.

– Самовар ставить не будем, на газу скорей закипит. – Старуха зачерпнула эмалированным ковшом с длинной ручкой воды из ведра, налила в чайник, поставила его на плиту. И пока делала это, неумолчно рассуждала:

– Коли молчит душа – худо. А только твоя душа не молчит, не то не страдала бы. Вот у дружка твоего молчит. Чёрствый он.

“Чего она на Еремея взъелась? – подумал художник. – Опасность чуёт?”

– Ну, да Господь с ним, – всё так же ровно и ележно вела Марфа. – Про тебя сказ. Пошто люди от твоих картин в пляс не пускаются и слезу не роняют? Оттого, думаешь, что душу свою не вложил? От этого, хошь-не хошь, само собой. А ещё вот отчего. Души-то у людей разные. Вот ты, к примеру сказать, радио настраиваешь, а всё не на ту волну попадаешь. А душа – посурьёзней приёмник. Бог вещь, на что она настроится. Ты рисуешь, маешься – у тебя об одном душа болит, а я гляжу – у меня об другом. Вот и не совпали наши души, вот и нет в моих глазах искорки... Только я так понимаю, не это тебя тревожит, не это на тебе гирей виснет. С моей душой твоя не сговорила – не беда, с другой сговорится...

Вода и впрямь закипела быстро. Марфа заварила в стареньком фарфоровом чайничке набор каких-то трав, прикрыла его полотенцем и поставила настаиваться. А сама неторопливо заходила по дому, выставляя на стол чашки, блюдца, пышки, масло, банку с мёдом.

– Придвигайся, сердешный! – пригласила она гостя. – Медок липовый, духовитый, для здоровья полезительный. И шубу свою съмай, чего париться!

Аскольд сбросил пальто, раскрутил с шеи длиннющий шарф, уложил всё это на скамью и приставил свою табуретку к столу. Разливая чай с густым ароматом трав, из которых Перцовский угадал лишь мяту, хозяйка вернулась к прерванной теме.

– Да-а... Совпадут души, сговорятся – и всё в аккурате... Только, поди-кось, не эти души тебя кручинят. А те, которые на тебя критику наводят. В газетках, небось, ругаются?

И опять он кивнул: ну да!

– Вот что я тебе скажу, соколик... Ты пей, пей чаёк. В городе такого не бывает... Да, так вот, значит, что я тебе скажу. У кого душа, как ты молвишь, болючая – тот картины рисует или книжки сочиняет. А у кого жёсткая – тот на них с дубинкой, критикует, значит. Он не душой твою картину принимает, а разумом. А разум с душой завсегда ли ладят? То-то и есть, что не завсегда. Он всё с оглядкой, разум-то: как тот сказал да как этот? Да поймут ли люди? Да что наверху скажут? А об том ли нынче говорить надобно? А если нечистый ещё и зависть подмешает? Тогда совсем худо! Тогда энтот, который крити-

кует, тебя ни в жисть не постигнет. Кабы он душой на тебя, на твою картину наострил, твоей болью проникся, он бы и нашим душам помог на твою волну настроиться.

Она степенно рассуждала, отхлёбывая из блюдца коричневую горьковатую жидкость и помаленьку подслащивая её мёдом с ложечки. Аскольд отведал мёду и ошалел от его вкуса и запаха. Где-то в глубине сознания скребнула мысль: странный говор у старухи – то подчеркнуто просторечный, то вполне цивилизованный. Но склонному к чревоугодию, ему сейчас было не до психологических тонкостей. Не думая о приличиях, он наворачивал мёд полной ложкой, запивал горячим напитком и блаженствовал.

– Пышку намазал бы маслицем, касатик, – подсказала хозяйка.

“Касатик” помотал головой:

– Холестерин! Не потребляю. Врачи, знаете, не велят масло. Говорят: вредно.

– Как знаешь, родимый.

Она не надолго примолкла, наливая себе вторую чашку пахучего настоя. А художник, налегая на мёд, подумал:

“Сильна бабуля! Всё-то ты про нашего брата знаешь, будто в правлении у нас работаешь или в газете отделом критики заправляешь. Голова у тебя – ой-ой! С такой головой – гадай не прогадаешь. И язык...”

– А вот скажи, мать, – перебил он собственную мысль, – отчего великие люди рано умирают?

– Все ли? – усмехнулась она. – Ты вот живой.

– Значит, не великий, – засмеялся он.

Она посерьёзнела, задумалась, оставив чашку и опустив тяжёлые ладони на колени. Машинально сунула под платок выбившуюся прядь волос, не сильно седую. Поглядела на Настю, будто от неё ждала подсказки. Нет, она не искала ответа. Она обставляла его атрибутами раздумий, делала вид, что мается в поисках истины. А ответ у неё уже был готов.

– Оттого и помирают, – глухо вымолвила она, играя скорбь и страдание. – От души своей болючей. Чёрствая душа не страдает, а чувствительная – глядь, и разрыв!

Что на это возразишь? Чуткие люди гибнут чаще, это точно. И решил художник эту проблему сквозь божественную призму рассмотреть.

– Я иной раз думаю: а может быть, Бог от ревности да от зависти

великих людей прибирает? Создаст гения, радуется поначалу, а потом видит: человеческое творение самого небесного творца превосходит. Э-э, думает, так до греха недалеко. Авторитет подорвёт. Вот и...

– Грешно говоришь. Выше Бога не станешь, дальше Бога не глянешь.

– Так ведь по образу и подобию своему лепит.

– Не насмешничай, не гневи Господа. Это мы Творца нашего в человеческом облике представляем. А он всё и ничто, везде и нигде, в каждом из нас и во всех вместе.

“А Боженька у бабули диалектикой подпорченный”, – отметил про себя Перцовский.

И впрямь, долго длилась их беседа, не одну чашку чаю и не одно блюдо меду выкушал вальяжный гость.

– Пора и честь знать, – произнёс он наконец.

Поблагодарив Марфу за хлебосольство, за душевную беседу, пожелав здоровья Насте, он покинул дом экстрасенсов. Покинул в смятении. В свою веру чудодейка Аскольда, разумеется, не обратила, но укрепила его веру в сложность и непостижимость души. Так что не все посмеивались над пророчествами пирятинских ясновидцев. Была категория – и не малая! – которая в них нуждалась. От безделья ли, от психологических ли надломов, а может быть, от утраты каких-то личных идеалов тянулись люди к этой дивной паре, искали – и видно, находили! – отдушину для себя, для своего состояния.

IV.

А Еремеев, злой-презлой после неудачного визита к Марфе, решил побывать у местной интеллигенции, чтобы спросить, как они, клубные и библиотечные мэтры, современные просветители, мирятся с этой дикостью. Заведующей клубом на месте не оказалось, и гнев свой Еремей обрушил на библиотекаршу Антонину.

– Диву даюсь! – всплеснул он руками. – Умные люди, образованные, книги читаете, телевизор смотрите – и такая дремучесть под боком! Неужто нет управы на шарлатанку? Или нечего людям в противовес ей предложить?

– А сами вы, как я понимаю, не за противовесом приехали, – не очень любезно обрезала его прямая и резкая Антонина.

– Гадать приехал! – пуше прежнего обозлился писатель. – Не-

ужели кто-нибудь верит в эти прорицания? Вы, небось, тоже бегаєте гадать про своего суженого?

– Мне бегать не надо, – глядя ему в глаза, отчеканила Тоня. – Это моя мать.

Еремей осёкся. Такого поворота дела он не предполагал. Извинился перед девушкой и ушёл, повторяя:

– Какой конфуз! Какой конфуз!

Он вышагивал по сельской улице, мусолил свою трубку, не зная, что предпринять, как вернуть былое благорасположение Антонины, погасить нанесённую ей обиду.

Вечером, встретившись в доме симпатичных старичков, где они остановились, и обменявшись информацией о событиях минувшего дня, друзья поняли, что точки зрения у них не просто разные, а непримиримые.

– Шарлатанство, говоришь? – шипел Аскольд в ответ на громовые еремеевские рулады. – Называй как хочешь, а только я одно уразумел: все мы дубьё стоеросовое. Сухое, бесчувственное дубьё! Это не шарлатанство. Это игра, сказка!

– В детство впал? – гремел писатель. – Сказочку тебе? “Спокойной ночи, малыши!”?

– Спокойных ночей мне как раз и не хватает. Пойми ты, лысый осёл, чурбан плесневелый: нельзя человеку без сказки, без игры. Мы поэзии лишаемся!

– Эта неотёсаная колода – твоя муза? Ну, поздравляю! Не удивлюсь, если ты завтра молиться начнёшь. Теперь это модно.

– У меня душа оттаяла, понимаешь?

– И сопли потекли!

– Вульгарный, грубый, невоспитанный человек! Как я раньше тебя не разглядел!

Перцовский торопливо стал укладывать свои вещи, на бранные выкрики Еремеева не отвечал, только вздрагивал при каждом оскорбительном выпаде. Собрал свой скарб, набросил пальто, обмотал шарф вокруг шеи и заспешил по морозной заснеженной улице к автобусной остановке.

– И уходи!! – вслед ему шумел Еремей. – Тебе к психиатру надо, а не к телепату. Мозги набекрень! Нашёл Кашпировского!

Он метался из угла в угол, шумел, размахивал руками и не сразу заметил, что на пороге комнаты появились хозяйева дома, тихие и ласковые.

– Будя гроыхать-то, – утихомирил гостя старик. – Ишь раскипятился! Пойдём чайком побалуемся.

Еремей успокоился, а хозяевам объяснил:

– Как не кипятиться! Двадцать лет дружим. Мужик как мужик, и вдруг в мистику потянуло. Свихнулся на старости лет.

– Слабый он, – возразил дед. – А слабый человек, когда устаёт, духом падает.

– А Марфута-Праведница, выходит, дух ему подняла?

– Облокотиться на что-нибудь надобно. Вот он на её байки и опёрся.

– Суеверие! – стоял на своём писатель.

– Экой ты прямой, – укорила его старушка несердито. – Ровно аршин. Ты не осуждай, понять попробуй.

– Не смогу!

Не успел Еремей остыть от стычки с Перцовским, едва налил себе чаю, как произошла у него новая баталия. В разгар чаепития отворилась дверь и вместе с клубами пара впустила в дом Марфуту-Праведницу. Докатилось до неё сказанное приезжим слово “фельетон”, смекнула она, что писать приезжий собирается про неё и про Настю. Вот и заявила, да не в разведку, а сразу для генерального сражения. И оно грянуло.

– Стало быть, в газетке Настичу пропечатаешь? – приступила Марфа к делу.

– Не о ней разговор, – не стал уклоняться от боя Еремеев.

– Обо мне что ль? Во мне какой интерес? Я толмачом при Насте. Всего и делов.

– Это и интересно. Чёрная магия?

– Нет, касатик, никакого обману. Господь меня вразумил.

Хозяева дома в перепалке не участвовали, лишь время от времени бросали реплики, стараясь смягчить ситуацию. Насчёт газеты писатель не стал разубеждать Праведницу. Пришла – значит, боится, значит, если нажать, закроет свою телепатическую контору.

– Чаю попьёшь с нами? – спросила хозяйка.

– Благодарствую, – отказалась та. – Откушала недавно.

Голос у неё спокойный, даже медовый, обволакивающий – сама доброта и мягкосердечие. А в узеньких глазках тревога. Войдя и перекрестившись в передний угол, Марфута сняла старенькое пальтецо, а тёплый шерстяной платок оставила на себе, лишь сдвинув его с головы на плечи, и прислонилась к голландке, чтобы погреть спину и

руки. Зима в том году была редкостно морозная для тутошних мест.

За окном белели сумёты, шумела детвора, весь день, а теперь уже и вечер! – не слезавшая с лыж и санок. С крыши до самого окна перевернутым частоколом тянулись ребристые сосульки. Одна из них вдруг сорвалась и, словно штык, вонзилась в наметённый прошлой ночью сугроб.

– Видишь, – кивнула головой за окно вешунья. – Пошто она обломилась? Пошто другие не падают? А предписано так. У всякого происшествия свои обстоятельства.

– Эка, завернула словцо! – хмыкнул дед. – Чисто лектор из района.

Басовито пропела дверь, впуская ещё одну неожиданную гостью.

– Здесь? Так и знала, – с укоризной посмотрела на мать вошедшая Антонина. – Просила тебя, уговаривала, втолковывала...

– А ты матери что за указ! – твёрдо, но не зло отвела упрёки Марфа. – Нужный разговор у нас. Не встревай, Христа ради! Нам есть об чём погугарить.

– Ну, и я погугарю, – так же твёрдо сказала дочь, не спуская острого взгляда с матери. Она разделась, под села к столу и налила себе чаю.

– Предписано, соколик, – повторила Марфа, обращаясь к Еремееву и демонстративно игнорируя дочь. – От этого что ни то и происходит.

– Предписано, надо полагать, Всевышним? – сыронизировал Еремеев, возвращаясь к полемике.

– А то как же! – подтвердила она, не обращая внимания на тон вопроса. – Всё от Бога, родимый.

– Бога поминаешь, а сама в него не веришь, – бросила резкую, как удар, фразу дочь, и Еремей понял: если Марфута пришла дать бой ему, то Антонина матери. Он почувствовал неловкость оттого, что оказался втянутым в семейную распря. Но, подумав, сказал себе: не семейная тут распря, и не я вторгся в чужую баталию. Антонина добровольно оказалась моей союзницей. Вдвоём, подумалось ему, мы легко захватим, так сказать, стратегическую инициативу и посрамим гадальную фирму.

Но Марфу нелегко пронять. Даже на выпад дочери она отреагировала спокойно, с достоинством:

– Всяк во что-нибудь верит. У каждого свой бог. – И Еремееву: – Ты, орёл, к примеру, во что веришь?

Она избрала в разговоре с ним тон превосходства, тон снисходительности. Еремеев почувствовал, что не выходит у него ничего со “стратегией”. Бабка уверенно забирала нити разговора в свои руки. А ему не хотелось быть обороняющейся стороной, и он не стал отвечать на её вопрос. Марфа, словно не придав этому значения, ответила сама:

– Известно во что: в правду, в справедливость. Это и есть твой бог.

– Многовато богов получается, – усмехнулся писатель, подставляя чашку хозяйке, предложившей долить чаю.

– А что ни душа – то и бог. Ты, хоть и безбожник, а и у тебя своя вера. Стало быть и свой бог. В книжках разных как пишут? Бог – это не образа в красном углу и не живая икона, на небесах обитающая, а всё, во что веришь. Собери воедино, в душу свою посели – вот тебе и бог.

– И что же от Творца нашего, в таком случае, остаётся? Кому молиться?

– Вера остаётся. Человек не образам молится, живым или нарисованным, а вере своей, надеждам своим.

– Хватит вам! Ишь сцепились! – попытался урезонить спорщиков хозяин.

– погоди, отец! – остановил его Еремеев. Он горячился, его бледная лысина стала багровой, руки слегка дрожали, и оттого ложка, помешивая чай, нервно стучала по чашке. – Боженька рассыпчатый, как картошка, оказывается. А как насчёт Святого писания? Там он вроде не такой.

– А ты его читал, голубок, Святое писание? Ты же его, поди, и в глаза не видывал. С чужих слов говоришь. А ты почитай. Его с умом читать надобно.

– Почитаю, почитаю, – скороговоркой пообещал Еремеев. – Только непонятно, как же это они, в миллионах душ обитающие боженьки, взяли и свалили сосульку.

Марфа снисходительно усмехнулась:

– С виду неглупой человек, образованный, книжки сочиняешь, а простого дела не уразумел. Твой бог сосульку не свалит, а в какого я верю – тот всё может.

– Ну, полтавский бой! – оценил дед перепалку.

Никто не отреагировал на его слова. Праведница всё так же стояла у печки. Антонина сердито глотала чай. А Еремеев, отставивший,

было, свою чашку, вновь потянулся к ней, не заметив, что хозяйка долила ему кипятку, неосторожно хлебнул и обжёгся. Но не распалился ещё больше, а вроде даже остыл.

“Какого лешего спорю? – подумалось ему. – Ведь старушеницу не переродить, не перековать. А, впрочем, пусть выскажется. Любопытная у неё религия. На классическое православие не очень похожая”.

– Я своему богу молюсь, – продолжала та, – а ты своему. У каждого своя икона. Нельзя ить без иконы. Отыми у человека икону – он без веры останется. Без веры значит без души. А можно человеку без души? И по-вашему, по-безбожному, человек с душой должен быть. А уж по-нашему и разговору нету. Так что, ангел мой, у каждого своя икона. В старину в Бога верили – его иконам поклонялись. Был культ – ему молились. А разломали культ – верить во что? Шатко стало.

– Нашей веры не убудет. И стойкости тоже.

Еремеев произнёс эти слова вроде и без пафоса, но пафос был в них самих, он это почувствовал, и стало ему неловко, будто он покривил душой.

– Оно так, соколик, а и не так, – вела своё Праведница. – Веру сменить – не платье переодеть. Одному человеку и то болезно. По живой душе – ровно плугом по полю. А целому народу каково?

– Ну ты, Марфа, не в ентот бок поехала, – испугался хозяин. – Чего тебя туды понесло?

– Я к тому, – спокойно объяснила Праведница, – плопорция нарушивается. А это же завсегда страдание – одному ли человеку, всем ли вместе.

“Э, бабуля, – смекнул писатель, – ты, оказывается, себе на уме. Все эти твои “плопорции” и прочее от кокетства мнимой необразованностью. По известной формуле: мы люди тёмные, институтов не кончали. Мысль в тебе работает чётко, свободно, своеобразно”.

И, подтверждая это, усмехнулась словам матери Антонина. А Праведница, отойдя от печки и подсев к столу, перестала играть тёмную старуху и, напротив, ударила по гостю эрудицией.

– Намедни у дочки вот, в библиотеке, книжку видала, – пропела она умильно. – Мудрый человек написал. Всё, говорит, в мире, и в человеке, и в его душе как на лезвии бритвы качается. Чуть что – и нет равновесия, и тогда беда. Человеку ли, всем ли людям или душе человеческой. Ты про неё, душу-то, говоришь: мол, нету такой материи. А она, промежду прочим, тобой правит. К примеру, добрый

человек или злой. Это материя или как? Потрогать рукой можно? По-вашему, небось, потому добрый или потому злой, что атомы – или как они там прозываются? – по-разному расположены. Тогда возьмите и переставьте их – пусть злых людей не будет. С атомами этими самыми управляться научились, а недобрых людей от этого чегой-то меньше не сделалось. В книжице этой сказано: много тыщев лет тому мудрецы во всём две стороны видеть научились. Где сила – там, значит, и слабость будет. Свет без темени не бывает, радость без горя.

Дуэлянты оба, похоже, забыли, с чего спор занялся, про Настю и разговору нет. А может, бабка специально Еремея от неё отвлекает? Он на её тираду никак не отозвался. Зато это сделала Антонина, сыронизировавшая:

– Давай, давай, дави диалектикой! Самодеятельный философ!

Она сдерживалась, но раздражение всё же прорывалось у неё, и чувствовалось: взрыва не миновать. Еремеев зло подумал:

“Хитрющая старуха! Ишь, всего нахваталась понемногу и чешет”.

А Марфа продолжала:

– Людям всего в меру надобно: света и темени, тепла и холода, счастья и горяшка. Живёт человек по Божьему закону, меру соблюдает – и покой на земле. И в душе у него покой. Кто к Богу, к тому и Бог.

– Покой... Мера... – опять загорячился писатель. – А как определить эту самую меру? Меру добра и зла, счастья и горя. Какая порция благо? Один к одному? Или на тысячу счастлих одно горе?

– Бог меру указал. – Марфута встала из-за стола, не спеша перекрестилась несколько раз (хотя хлеба и не вкушала, но благодарственное слово Всевышнему послала), помогла хозяевам убрать посуду и, придвинув табуретку, села спиной к горячей печке. – Бог всего сотворил в меру. И было равновесие в мире Господнем. А человеку всё негоже, всё не по-его. Задумал он Божье творение лучше Божьего устроить. Ан, что ни сделает – всё не в лад. В одном месте отымет – в другом, где вовсе не ждёт, перекося выходит. Тут подпоркой подопрёт – там пошатнётся. Потому как всё равновесия требует. Восстал человек против Бога. Выше неба летает, ниже дна морского опускается. Землю-матушку бомбами измучил. Больно ей, земле-то, ай нет? Ещё как больно! Страдает она, волнуется, никак в равновесие не придёт. И трясёт её, будто в лихоманке. Отчего, думаешь, трясение земли?

А от этого самого. Вот так и душа. Ей тоже равновесие требуется. А нарушится мера – добра не жди.

– Что же это мы про Бога да про душу, – решил Еремеев вернуть её к истокам диспута. – Давайте про Настю.

– А про неё и гутарим, дитятко, – не смутилась Праведница. – Пошто она такая? А вот пошто. Мера у ней в душе порушена. Силится она к равновесию её привести, а не может. Кто постигнет, какая там мера порушилась, тот своей душой её выровняет.

– Ты, значит, постигла? – снова не скрыла иронии дочь.

– Господь меня вразумил, – повторила мать свою излюбленную формулу. – К людям душа у меня открытая. От ихних болестей мне больно. От чужой беды, как от своей, страдаю.

“Перегибашь, милая! – внутренне возражал ей Еремей. – Не бескорыстны твои страдания”.

А она (насквозь его видит, что ли?) сразу же ответила на его возражение:

– Об душе мои думы, не о плоти. В пословице молвится: плоти убыток – душе барыш.

– Врёш-ш-шь! – выдохнула Антонина, и ледяным ветром потянуло от этого “ш-ш-шь”. – Ты и с этим барышом не ходишь нагишом. Плоть твоя тоже не в убытке. Все-то ты врёшь! Ты души податью обложила.

Марфута с укором поглядела на дочь: дескать, негоже так с матерью. Она и на этот раз не утратила выдержки. Уж она-то своего равновесия не теряет.

– Я к людям с добром, и они ко мне тоже, – возразила она. – Ко всякому, кто в нужде-горюшке, душа у меня открытая. И у Настицы тоже. Вот и встретились они у людской беды, наши души, друг дружку постигли. Думаешь, отчего, ангел мой (это Еремееву), к нам с Настицей люди тянутся? Думаешь, они в нечистую силу али в сверхъестество какое верют? Им душу опростать надобно. В старые времена в каждом справном селе три непременно были: церква, кабак и кузня. И для души, и для тела, и для дела. А теперича ни тебе помолиться, ни путём выпить, ни лошадь подковать. Бывало, надо вещь сработать – к кузнецу. Он да батюшка – самые почитаемые люди были.

– Да шинкарь, – озлился Еремей.

– Шинок, оно, может, и плохо, – согласилась Марфа. – Да не об этом разговор, голубок. Об душе беседа наша. Бывало, в церкву ходили, откроют батюшке душу – и облегчение, покой. А теперь куда человеку идтить? В клуб? Там трясушка, навроде преисподней. С кем

об душе погутаишь? В сельсовет податься? Там на души план не спускают, а только на сбор молока да на самообложение. В район? Туда по своей воле не ходят, туда вызывают. Да и начальство с батюшкой не сравнишь. Батюшка за молоко, за мясо, за навоз ответа не держал. Потому душами и занимался.

Вот вам и тёмная, неразумная старуха! Писателю думалось поначалу: чего стоит её парой серьёзных вопросов поставить в тупик? А не поставил. Скорее она его поставила. Потому, наверно, что он в высоких материях витает, а она на земле стоит.

– Что мы об душе человеческой знаем? – продолжала Праведница любимую тему. – Да толком ничего. Читала я одна в журнальчике вот об чём. Ну, помирает человек. Учёный, к примеру, или, как ты, писатель. Тело его в прах обратится. А куда девается талант, всякие умные мысли, сочинительская мастеровитость? Антелект, по-вашему. Это ж не материя, это дар Божий! В прах не обратится. Куда всему этому добру деться? А вот куда. Когда плоть прахом станет, антелект, а по-простому сказать – душа, без оболочки останется и выйдет наружу. И станет она витать промежду нас до той поры, пока в другую плоть не вселится.

– Переселение душ? – изумился Еремеев. – И тогда эта другая плоть, обретшая чужую душу, вопит: “Я – Наполеон!” или “Я – Пушкин!” А потом в лечебницу для умалишённых. Так?

Она его язвительность снова мимо ушей пропустила.

– Чтобы другой Наполеон был или другой Пушкин, надо чтобы душа тютелька в тютельку такую же плоть встрела. Тогда будет равновесие, соответствие. Ежели нет соответствия, тогда в сумасшедший дом. Не в ту, стало быть, плоть душа притулилась.

– Душа какая-то блудная получается.

– Блудные девки бывают. А душа до поры до времени под Божеским надзором бодрствует, своего момента дожидается... Вот говорят: предчувствия. Или там ваша интуиция. А то ещё – внушение. Глупым своим умом я так понимаю: это с вашей наукой не больно вяжется. Рази ж это материя?

– Свойство материи, – уточнил он.

– Какой материи? – стала выпытывать Марфута. – Рук, ног, глаз, ушей? Скажешь – нервной системы. Ладно. Только откудава ей знать, этой самой системе, чему быть, что произстечь должно? Материя ваша лишь про то знает, что было, что есть. А предчувствует душа. Так ай нет?

Вот так и шла беседа. Марфута её направляла, как ей хотелось, вела разговор степенно, не меняя тональности. Еремей опять начал кипятиться, как хозяйский самовар, а она была ровна и мягка, и по-прежнему снисходительность – к нему, к его бестолковости, к усвоенным со школьной скамьи истинам – ощущалась в её словах. Почувствовал он, что проигрывает “полтавский бой” по всем статьям, и неизвестно, чем бы он закончился, если бы не Антонина. Одна её фраза изменила и ход дискуссии, и облик, манеру держаться “самодетельного философа”.

– Настю решено в специальный интернат определить, в дом инвалидов, – сказала она как бы между прочим.

Весть эта застала Марфу врасплох, и что с ней стало – передать невозможно. Лицо её налилось кровью, побагровело, потом посинело. Узкие глазки, источавшие благолепие, умиротворённость, распахнулись и метнули молнии, а из открывшегося рта исторгся и гром. Она вскочила, повалив табуретку. Началось извержение Везувия.

– Какой такой интернат? – без всякого еля, с одним только металлом в голосе спросила Марфа. – По какому такому праву?

– По ходатайству сельской администрации, – спокойно объяснила дочь, вытирая перемытые чашки.

“Плоти убыток – душе барыш, – вспомнил Еремей кредо старухи и подумал: на барыш на любой согласна, а убыток вон какую бурю в тебе породил. Лишиться такого дохода! И про Бога забыла и про равновесие”.

– Без моего согласу? И без настиного? Не выйдет! По судам за-таскаю!

Антонина управилась с чашками и, словно не замечая крика матери, стала неспешно одеваться, чтобы уйти. Оделась и уже от самой двери обожгла мать гневным взглядом:

– Ходишь по домам, будто я тебя прокормить, одеть-обуть неспособна. Каково мне людям в глаза глядеть?

– Я сама по себе! – выплеснулось у распалившейся Праведницы.

– Не перестанешь людей обирать – закрыт мой дом для тебя. Так и знай!

Антонина ушла с нескрываемой болью в глазах. Сколько же выстрадала, сколько же натерпелась эта гордая девушка, если бросила в лицо матери такие слова!

Марфа шумела долго и мощно, потрясала кулаками, брызгала слюной, грозила всем, в первую очередь приезшему, всяческими ка-

рами (“В Москву писать стану!”). Еремей, самому себе удивляясь, сидел молча и на её грохот не отзывался. Хозяева присмирели и глядели на Марфуту с любопытством и испугом. Обозвав гостя очень нехорошими, совсем не Божескими словами, телепатка накинула на себя пальто и выскочила в морозный вечер.

“Если бы не этот взрыв, – подумалось Еремееву, – она бы, наверно, не забыла перекреститься. Хотя и впрямь, не верит она в Бога, хитро играет”.

– Ладно, чего там, не сердчай на неё, – неловко попытался успокоить его дед. – У злой Натальи все люди канальи.

V.

Так кончилась история пирятинских экстрасенсов. От дискуссии с Марфутой-Праведницей у Еремеева остался неприятный осадок. Вроде бы исход сражения был в его пользу, противник не просто отступил, а бежал с поля боя, однако удовлетворения писатель не испытывал. Не он управлял ходом баталии, а она. Не он блеснул мастерством полемики, эрудицией, а Марфа. И не он нанёс решающий удар, а Антонина. Как же шаблонно мы мыслим, – сделал он вывод. – Как плохо знаем религию. И не умеем порой отличить истинно верующего, достойного уважения, от лицемера.

Впрочем, у Еремея Еремеева всё же был повод не только для досады, но и для удовлетворения. Ведь нелепая телепатическая фирма приказала долго жить. Увижу Аскольда, думал он, уж поиздеваюсь над ним. Еремееву казалось, что друг его остыл, одумался и сам посмеётся над своей попыткой найти исцеление духа, творческий импульс у хитрой шарлатанки. Оказалось, однако, что Перцовский (и что совсем удивительно, не он один) смеяться над собой не собирался, что он болезненно переживал утрату того, что почитал умиротворением. И лишившись его, обратил свою обиду на виновника краха пирятинского концерна – на своего бывшего друга. Он уклонялся от встреч с ним, не звонил и не заходил, а на еремеевские звонки жена Аскольда неизменно отвечала: “Нет дома”. Случайно столкнувшись с Еремеем в театре, Аскольд не ответил улыбкой на его приветливую улыбку, не принял протянутую руку. Еремеев остановился у колонны театрального фойе, растерянный, недоумевающий, не знающий, как поступить: обидеться на выходку друга или не придавать ей значе-

ния? Он склонился ко второму варианту и про себя ругнул Перцовского:

– Пузо и поза!

Он махнул бы рукой на чрезмерную импульсивность Перцовского, но тут услышал, как проходивший мимо приятель (их общий с Аскольдом приятель, интеллигентнейший, между прочим, человек, маститый актёр) изрёк с аффектацией:

– По мордасам бы таких! По мордасам!..

“Что же это такое? – вконец растерялся Еремеев. – Ведь дикость же! Наваждение какое-то! Что они обретали в общении с жуликоватой старухой и дебильной Настей?”

Он был настолько расстроен, даже потрясён всем этим, что стал избегать многих своих знакомых. А когда это не удавалось, с тревогой смотрел им в глаза, вдруг скажут:

– По мордасам!..

СОДЕРЖАНИЕ

И сказал человек... <i>Повесть</i>	5
Крестник. <i>Повесть</i>	55
Рассказы бывалых людей	
Трубка	72
Грешная земля	77
Известная личность	83
Цу мир	88
Затмение	96
Чернильница	98
Ерошка	104
Ноль и фунт	107
Лебединая песня	109
Найда	110
Голова	113
Эпоха Пашки Кустова. <i>Повесть</i>	115
Божья коровка. <i>Повесть</i>	231

Анатолий Алексеевич Лунин

ГРЕШНАЯ ЗЕМЛЯ
Сборник повестей и рассказов

Формат 60x841/16
Гарнитура Times New Roman
Печать цифровая
Тираж 300 экз.
Издательство "Калининградский ПЕН-центр"

1р.

